

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

ВОПРОСЫ
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

6

НОЯБРЬ–ДЕКАБРЬ

"Н А У К А"

МОСКВА - 2002

СО Д Е Р Ж А Н И Е

А.А. З а л и з н я к (Москва), П.Д. М а л ы г и н (Тверь), В.Л. Я н и н (Москва). Берестяные грамоты из новгородских и новоторжских раскопок 2001 г.	3
О.Н. С е л и в е р с т о в а. Когнитивная семантика на фоне общего развития лингвистической науки	12
Л.П. К р ы с и н (Москва). Лексическое заимствование и калькирование в русском языке последних десятилетий	27
Е.В. У р ы с о н (Москва). Союз <i>ХОТЯ</i> сквозь призму семантических примитивов	35
М.М. М а к о в с к и й (Москва). Семиотика языческих культов (Мифопоэтические этюды)	55
Р.К. П о т а п о в а (Москва). Произносительная вариативность немецкой речи	82
М.И. И с а е в (Москва). Этнолингвистические проблемы в СССР и на постсоветском пространстве	101
А.П. Р о м а н е н к о (Саратов). Советская словесная культура: отечественная история ее изучения	118

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

О.А. Р а д ч е н к о (Москва). Понятие языковой картины мира в немецкой философии языка XX века	140
---	-----

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Р е ц е н з и и

О.Ф. Ж о л о б о в (Казань). Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.): В десяти томах. Т. VI: (<i>овадь – покласти</i>)	161
А.А. В е р е т е н н и к о в (Москва). <i>Ю.А. Рубинчик</i> . Грамматика современного персидского литературного языка	166

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки	169
Указатель статей, опубликованных в журнале "Вопросы языкознания" в 2002 г.	173

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Ю.Д. Апресян, И.М. Богуславский, А.В. Бондарко, В.А. Виноградов (зам. главного редактора),
В.Г. Гак, В.З. Демьянков, В.А. Дыбо, В.М. Живов, А.Ф. Журавлев, Е.А. Земская,
Вяч.Вс. Иванов, Н.Н. Казанский, Ю.Н. Караулов, А.Е. Кибрик (зам. главного редактора),
М.М. Маковский (отв. секретарь), *А.М. Молдован, Т.М. Николаева* (главный редактор),
В.А. Плунгян, Е.В. Рахилина

Зав. отделами: *М.М. Маковский, Г.В. Строчкова, М.М. Коробова*

Зав. редакцией *Н.В. Ганнус*

А д р е с р е д а к ц и и: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2
Институт русского языка им. В.В. Виноградова, редакция журнала "Вопросы языкознания"

Тел. 201-25-16

© 2002 г. А. А. ЗАЛИЗНЯК, П. Д. МАЛЫГИН, В. Л. ЯНИН

**БЕРЕСТЯНЫЕ ГРАМОТЫ ИЗ НОВГОРОДСКИХ
И НОВОТОРЖСКИХ РАСКОПОК 2001 г.**

Раскопки 2001 года в Великом Новгороде и в Торжке (Новом Торге) привели, как всегда, к пополнению коллекции средневековых берестяных документов. Особенностью же этого полевого сезона стало обнаружение текстов принципиально нового, нежели прежде, содержания. Подтвердилось, что береста способна донести до нас не только бытовые заботы предков, но и образцы литературного творчества, о чем до сих пор мы только мечтали. Среди приводимых ниже грамот таковы новоторжская № 17 и новгородская № 916.

НОВГОРОД

Работы в Новгороде в первый год третьего тысячелетия начались с освоения нового участка Троицкого раскопа. Вручную были вскрыты поверхностные слои XVII–XX веков и новый участок был доведен до уровня XVI столетия. Однако методика вскрытия влажных, постоянно заливаемых дождями и почвенными водами культурных напластований, делает необходимой прокладку по периметру раскопа траншей-водосборников, позволяющих вести нормальное вскрытие основной площади изучаемого участка. Дно таких траншей достигло уровня XIII века, и обнаруженные на этой глубине находки оказываются, таким образом, как бы посланными из будущего полевого сезона. К числу таких находок на Троицком-14 раскопе (руководитель работ А. М. Степанов) принадлежат, в частности, и две из трех новгородских берестяных грамот, публикуемых ниже.

Грамота № 916. Троицкий раскоп. По внестратиграфической оценке — 2 пол. XIII в. Усадьба, на которой обнаружена эта грамота, расположена на древней Рядятиной улице Людина конца; по данным писцовых книг XVI века она традиционно принадлежала клирикам расположенной рядом Троицкой церкви, существовавшей с XII столетия [Майков 1911: 179].

Это целый документ из пяти строк:

(с)[и] глѣть есиѣ[о] (ко) дѣвць маріе : цто дѣло се ежь тѣ
 бѣ вижю нѣдѣвмью и дивлюса и ѡмомь ѡжасаѣ
 юса : таї ѡ мнѣ бѣди скоро ибѣ ѡ цркѣви и ѡ ерѣи
 ако гнѣю та приахо хѣлѣ ми приньсла еси за цѣсть
 срамѣтѣ за вѣсьлье скорѣь за нѣ хвалитиса

Так же как и найденная несколькими днями раньше новоторжская грамота № 17, о которой см. ниже, это не бытовой и не деловой текст, а литературный — в данном случае литургический. Источник — Часы в Навечерие Рождества Христова,

час 1-й, тропари перед чтением паремии, тропарь на "Славу", глас 8. Современный текст здесь таков:

Сия глаголет Иосиф к Деве: Марие, что дело сие, ежсе в тебе зрю? Недоумею и удивляюся, и умом ужасаюся, отай от мене буди вскоре. Марие, что дело сие, ежсе в тебе вижу? За честь срамоту, за веселье скорбь, вместо ежсе хвалитися, укоризну мне принесла еси. К тому не терплю уже поношений человеческих: ибо от иерей из церкви Господни непорочну тя приях, и что видимое?

Евангелие от Матфея очень кратко излагает представленный в приведенном тексте сюжет. Обрученный с Девой Марией Иосиф обнаружил, что она ждет ребенка и решил тайно, без огласки отправить ее прочь. Однако явившийся ему ангел возвестил о том, что она "имеет во чреве от Духа Святого". Сцена упреков Иосифа в каноническом тексте Евангелия отсутствует, но она содержится в тропаре "на Славу", который исполняется перед чтением паремии в навечерие Рождества Христова¹.

Вероятно, в грамоте № 916 текст тропаря записан по памяти и именно этим объясняются имеющиеся в нем искажения; но не исключено, что искажения имелись уже в том письменном тексте, с которого списывал или который заучил наизусть наш писец. Несомненная описка — *срамѣтъ* вместо *срамотѣ* (с предвосхищением ѣ). По-видимому, *дѣвць* — тоже описка (вместо *дѣвиць*); менее вероятно, что писавший подменил в тексте слово *дѣвица* народным словом *дѣвка*: тогда он скорее всего написал бы *дѣвкъ*, а не *дѣвць*. В ряде других случаев (*тъбѣ* вместо *во тѣбѣ*, *ибы* вместо *ибо*, *зань* вместо *заньжѣ*) можно предполагать как простую описку, так и то, что писавший плохо понимал соответствующее место и переосмыслил его по-своему (как 'тебя вижу', 'и было', 'потому что').

Во второй половине отрывка писавший допустил в тексте ряд перестановок и пропусков, в результате чего несколько пострадал исходный смысл. В частности, *Господню* стало эпитетом не для церкви, а для Марии; вместо семантически безупречных оппозиций 'за честь срамоту', 'за веселье скорбь' возникли менее прозрачные 'хулу за честь', 'срам за веселье' и даже синтаксически неправильное *скорбь зань хвалитиса*.

Можно предполагать, таким образом, что сам писавший осмыслил весь текст приблизительно так: 'Сие говорит Иосиф девице: «Мария! Что это за дело, что я тебя [такою] вижу? Недоумеваю и дивлюсь и умом ужаюсь! Тайно (без огласки) прочь от меня немедленно! И было [так]: от церкви и от иереев как Господню я тебя принял (*или*: А ты была от церкви и от иереев, как Господню я тебя принял). Ты [же] хулу мне принесла за честь, срам за веселье, скорбь вместо (?) того, чтобы [мне] хвалиться»'.

Язык — церковнославянский; но в записи отражено новгородское цоканье (*цто*, *цѣсть*). В Д. ед. *дѣвць*, если это вместо *дѣвиць*, употреблено диалектное окончание (<-ѣ).

Следует заметить, что самой ранней русской рукописью, в которой воспроизведен текст тропаря "на Славу", является "Студийский устав" конца XII века². Как видно из приписок, она была предназначена для библиотеки новгородского Благовещенского монастыря, находящегося в ближайших окрестностях Людина конца. Монастырь основан в 1170 году архиепископом Илией и его братом, будущим архиепископом Гавриилом. В дальнейшем он стал главным людинским монастырем.

¹ Авторы публикации сердечно благодарят М.В.Рождественскую, указавшую источник этого текста.

² Устав студийский церковный и монастырский. Кон. XII в. ГИМ, Син. 330, л. 111об. (Библиография см.: [Сводный каталог 1984: 159–161, № 138; Пентковский 2001: 306].

Первая приписка (об основании монастыря и строительстве в нем каменной церкви в 1179 г.) внесена еще при жизни Илии, следующие, выполненные одним почерком, повествуют о смерти Илии в 1186 г. и Гавриила в 1193 г. Последняя его приписка призывает милость Господню монастырю и его братии [Столярова 2000: 562–568].

Именно в росписях Благовещенского монастыря (они исполнены в 1189 году), в сюите Богородичного цикла, сохранилась фреска, передающая сюжет "Упреков Иосифа и плача Марии". Исследовательница этих росписей Т. Ю. Царевская так описывает интересующую нас композицию: «Иосиф с "упрекающим" движением поднятой руки изображен стоящим слева; плачущая Мария, со скорбным жестом руки, горестно прижатой к щеке, помещена справа. Статический характер фигур, а также значительная цезура между говорящими, придают жестам особое эмоциональное звучание» [Царевская 1999: 55]. Этот сюжет достаточно широко распространен в средневековой храмовой живописи средиземноморских стран, но на Руси аналогий ему нет (возможно, правда, что подобная несохранившаяся композиция имела в Богородичном цикле фресок псковского Мирожского монастыря).

Остается добавить, что Илия до своего избрания на архиепископскую кафедру был священником церкви Власия на древней Волосовой улице [ПСРЛ III: 125, 180, 215], а этот храм расположен в непосредственной близости к месту находки берестяной грамоты № 916. Не был ли сюжет тропаря "на Славу" одним из излюбленных Илией? И не это ли обстоятельство связывает воедино Людлин конец, архиепископа Илию, благовещенскую фреску и запись тропаря "на Славу" в берестяной грамоте № 916?

Грамота № 917. Найдена в процессе археологического контроля за земляными работами на территории бывшего дома В.С.Передольского на Нутной улице. По внестратиграфической оценке, XIV— I пол. XV в. Целый документ из двух строк — запись на обрезанном куске толстой бересты:

сидоре
калики

Это владельческий ярлычок с именем Сидора Калики.

В форме *Сидоре* следует видеть не И. ед. от самого имени (поскольку в этом случае была бы необъяснима форма *Калики*), а притяжательное прилагательное 'Сидорово' (или 'Сидоров' — род в данном случае устанавливается неоднозначно). *Калики* — Р. ед. от *Калика* (или *Калѣка*), с окончанием *-и*, восходящим скорее к *-ѣ*, чем к *-ы*. Конструкция с притяжательным прилагательным в первом члене и родительным падежом во втором для этого времени совершенно правильна.

Прозвище *Калика* (*Калѣка*) хорошо известно по знаменитому новгородскому архиепископу 1331–1352 гг. Василию Калике.

Грамота № 918. Троицкий раскоп. По предварительной оценке, кон. XIII — XIV в. Целый документ из двух строк — запись на донце берестяного туюска:

посаднике окс
интии

Это владельческий ярлычок с именем посадника Оксинтия (Оксентия). Поскольку в списках новгородских посадников такого имени нет, можно предполагать, что в данном случае мы имеем дело с одним из двинских посадников.

Начиная с 1999 года активизация археологических исследований в Торжке (начальник экспедиции — П. Д. Малыгин) привела к тому, что сегодня этот город занял третье место (после Новгорода и Старой Руссы) по числу найденных в нем берестяных грамот.

В 2001 г. исследования проводились на Воздвиженском 4 раскопе (начальники раскопа Г.Е.Дубровин и Н.А.Сарафанова), на левобережном неукрепленном посаде Торжка на площади 216 кв. м. В пределы вскрытого участка частично вошли четыре усадьбы XII — начала XIII в. (Б, В, Д и Е), погибшие во время разорения города монголо-татарами в 1238 г. Средневековые напластования, не превышающие по толщине 1,5 м, залегают здесь по склону коренного берега р. Тверцы и тянутся вдоль реки на 1 км [Малыгин 1989]. Две грамоты происходят с усадьбы Б, одна — с усадьбы В.

Грамота № 17. Найдена 25 июля 2001 г. на усадьбе Б Воздвиженского 4 раскопа. Принадлежит к числу самых больших берестяных документов: ее длина 55,5 см, ширина 9 см. Несмотря на свои огромные размеры, береста лежала не свернутой в рулон, а в горизонтальном положении со сложенными краями.

Стратиграфическая дата: 1171–1195 гг. Внестратиграфическая оценка — при учете только палеографии и графики: 1160–1220 гг. (с небольшим предпочтением к первой половине интервала); при учете еще и языка: 1200–1220 гг. (таким образом, язык выглядит чуть моложе, чем палеография).

Это целый документ из семи строк:

мацешини же дети се соуте гордосте : непокорение : прекословее : пре-
зоресво : хоула : клевета : зломыслие : глево : вражда пемнесво : игры не-
приазнины и всакаа злобе : а кало есте клевета хоула · гнево осожение
прекословее : сваро : бои : зависте : вражда злопоминание : непокорение
злосердее : заии помысли : смехотворение : и вса игры бесовескыа : та же
пакы запоисво : резоминание : грабление : разбои : татба · дшегоубление
потвори поклепо отрава блонди прелюбодеяние царотворение

Описки: *клевета, глево* (вместо *клевета, гнево*).

Необычность грамоты состоит в том, что, в отличие от подавляющего большинства берестяных документов, это не письмо и не деловая запись, а литературный текст. Перед нами извлечение из литературного произведения, а именно "Слова о премудрости" знаменитого писателя и проповедника XII века Кирилла Туровского (или по крайней мере приписываемого ему [Калайдович 1821: 90–91; Буслаев 1861: 691]; Кирилл Туровский использовал в свою очередь одно из слов Иоанна Златоуста [Сл. XI–XVII, 9: 50]).

Перевод: 'Мачехины же дети — это гордыня, непокорность, перечень, высокомерие, хула, клевета, злоумышление, гнев, вражда, пьянство, сатанинские игрища и всякое зло. А грязь — это клевета, хула, гнев, осуждение, перечень, ссора, драка, зависть, вражда, злопамятство, непокорность, злобность, злые помыслы, забавы со смехом и все игрища бесовские; также упивание, ростовщичество, грабеж, разбой, воровство, убийство, напускание порчи, поклеп, отравление, блуд, прелюбодеяние, колдовство'.

Приводим для сравнения фрагмент "Слова о премудрости" Кирилла Туровского по изданию [Калайдович 1821: 89–91] (разделение на абзацы — условное, только для удобства сравнения с новоторжской грамотой № 17).

Отгнахомъ отъ себе мать, а мачеху прїяхомъ, ейже имя величанье,

дѣти же ея суть: гордость, непокореніе, прекословье, презорство, хула, клевета, зломысль, гнѣвъ, вражда, пьянство, игры неприязнины и всякая злоба.

Да аще хочещи матери ся лишити, а мачеху любити и ея дѣти; то съ тѣми обрящещи собѣ гордаго дьявола, вязащаго въ тмѣ кромѣшнѣй и въ огни негасимѣмъ, идѣже и ты будещи привязанъ съ нимъ. Аще не отженеши отъ себе мачехы и ея дѣтій, то не примещи матери съ дѣтми ея, то будетъ ти послѣдняя горша первыхъ. Ты же ми рци: како могу прїяти мать, а Отца разгнѣвувъ, а порты Хрестьяныя искалявъ? азъ же тя, брате, научю: порты искаляныя измый, и тогда ты приметь Отець, и начнетъ тя любити паче первыхъ любви. Порты же суть: крещеніе, вѣра;

а калъ: клевета, хула, осуженье, гнѣвъ, прекословье, сваръ, бой, зависть, вражда, злупоминанье, непокореніе, злосердіе, зліи помысли, смѣхотвореніе, и всяка игры бѣсовскыя; также пакы: запойство, рѣзоиманье, грабленье, разбой, татба, душегубство, потвори, поклепъ, вѣлхвованія, чародѣянія, прелюбодѣянья, и всяка злоба;

Как можно видеть, списывая "Слово о премудрости", наш переписчик решил выбросить весь отрезок между двумя списками грехов, в частности, пассаж про "порты" ('одежду'), где упоминаются некоторые добродетели. Его явно интересовали только перечни грехов. Соответственно, из трех аллегорий — мачехины дети, одежды и грязь ("кал") на этих одеждах — он оставил только первую и третью (из-за чего возникли бросающиеся в глаза повторы в списках грехов). Вполне возможно, что его цель состояла в том, чтобы с помощью Кирилла Туровского получить текст, который непосредственно помогал бы ему готовиться к исповеди и покаянию (или готовить паству, если это был священник).

Обратим внимание на то, что большинство тех людей, к которым была обращена эта проповедь, погибло при осаде Торжка татарами Батыя в мартовский день 1238 года, когда героической обороной Торжка был спасен от военного разорения Новгород [Янин 1982].

Новоторжская грамота № 17 — первый случай, когда до нас дошел записанный на бересте полностью сохранившийся собственно литературный текст заметной длины. Из ранее найденных берестяных грамот, если не считать заговоров и короткого изречения, написанного на ободке туеса (грамота № 10), с ней может быть сопоставлен только найденный двумя годами ранее в Новгороде берестяной фрагмент № 893 — по-видимому, остаток большой грамоты, содержавшей нравоучительные афоризмы (например *Абыно же промышленя въ домоу, рано встани, а поздно ляги* 'Если же ведаешь домом, то рано встань, а поздно ляг'). находка новоторжской грамоты № 17 решительно подтвердила предположение о том, что в древней Руси на бересте иногда записывались и литературные тексты. В частности, теперь уже есть все основания полагать, что с этой грамотой был сходен по общему характеру содержания и даже по внешнему виду тот первоначальный документ, от которого до нас дошел фрагмент № 893.

Естественно предполагать, что в отличие от писем и записок, посвященных текущим делам, берестяные документы этой категории сохранялись дольше и тщательнее. Как новоторжская грамота № 17, так и новгородская № 893 написаны на очень длинных (55 и 62 см) берестяных листах, которые, насколько можно судить, хранились не в виде рулонов, а в развернутом состоянии. Чтобы удержать упругие листы в таком состоянии, их, по-видимому, необходимо было при хранении покрывать сверху дощечкой. Разумеется, таким способом можно было хранить и не одиночный берестяной лист, а несколько листов (возможно, даже целую кипу).

Прямой аналогией здесь могут служить комплекты записей на бересте или на пальмовых листьях, изготовлявшиеся в средневековой Индии. Так, серия пальмовых листов обрезалась в виде сильно вытянутых прямоугольников единого размера (иногда со слегка овальными краями), причем в двух строго определенных точках прямоугольника прорезались небольшие круглые отверстия. Эта серия заключалась между двумя досками того же размера, нижняя из которых имела шпеньки, проходившие сквозь отверстия листов (верхняя доска могла быть украшена резным орнаментом). Образцы таких комплектов можно видеть, в частности, в Далемском музее в Берлине. Сходным образом могли оформляться и записи на бересте. В частности, в рукописях V–VII вв. на бересте, найденных в 1931 г. в Гильгите (Кашмир), листы, размером 30×8 см, "складывались стопкой, один на другой, и зажимались между двух дощечек, по размеру равных листу рукописи. Листы из бересты, как правило, не скреплялись, каждый можно было вынуть из пачки. (...) Чтобы не повредить лист из бересты, отверстие не делали, но место, где это отверстие следовало делать, обводили кружочком и оставляли без текста" [Воробьева-Десятовская 1988: 37].

Правда, никаких прямых свидетельств того, что грамота № 893 и/или новоторжская № 17 есть часть более длинного текста, написанного на нескольких листах, нет; в частности, в обеих грамотах последняя строка кончается намного левее правого края листа. Но следует заметить, что и в индийских комплектах ясно видна тенденция к тому, чтобы каждый лист был оформлен как некое законченное письменное произведение (например, каждый лист несет ровно одну миниатюру и относящийся именно к ней текст). Можно предполагать, что в культурах, использовавших подобные комплекты листов, такие не сшитые между собой листы воспринимались как нечто аналогичное не страницам книги, а скорее картам в некоей колоде или открыткам в альбоме; отсюда требование законченности каждого отдельного листа.

Текст грамоты № 17 записан по бытовой орфографии, причем применен совершенно последовательный ее вариант: все *ъ* заменены на *о*, все *ь* и все *ѣ* заменены на *е*. Грамота являет собой, таким образом, чрезвычайно чистый и выразительный пример того, как церковно-литературный текст, проникая в бытовую среду, переписывается по бытовой орфографии. До находки этой грамоты столь бесспорных примеров такого рода еще не было. В пергаменных или бумажных рукописях мы никогда не встретим подобного сочинения, написанного целиком по бытовой орфографии (возможны только единичные отклонения в сторону такой орфографии). Таким образом, оригинал, с которого списывал наш переписчик (или по крайней мере его предшественник в цепи копирования), был написан по-книжному. Мы знаем теперь, что, списывая для домашнего употребления подобный нравоучительный текст, древнерусский грамотей считал допустимым и даже уместным не копировать книжную орфографию, а писать "по-домашнему". (Важно еще, что почерк здесь очень тверд и устойчив — он исключает всякую мысль о том, что дело тут в неумелости писца.)

В грамоте последовательно отражено позднерусское состояние; буква *е* на месте срединного слабого *ь* присутствует только перед суффиксами *-ск-ьи* и *-св-о* (из *-ств-о*).

Язык — церковнославянский; но в записи отражено цоканье (*мацешити, царотворение*). Запись конечного *-ие* неустойчива: наряду с правильным церковнославянским *-ие* трижды встретилось русское *-ее* (= <*-еѣ*>).

С диалектологической точки зрения представляет большой интерес написание *-сво* вместо *-ство* (три раза, т. е. описка исключена). Здесь явно отразилось упроще-

ние *ст* в *с*. Это явление хорошо известно в современных говорах — как в конечной позиции (например, *мос, шесь* вместо *мост, шесть*), так и в сочетании *ств* (например, *богасво, вешво, дурачво, есва, есво, знакомсво, княжесъво, мальсво, мусъво, о бчесво, одинасъво, одиносъво, окурасъво, очесво, пасва, пасво* и т. п. — см. эти статьи в СРНГ). Явление характерно для севернорусских говоров и западной части средне-русских.

В морфологии и морфонологии никаких отклонений от церковнославянских норм нет.

Грамота № 18. Найдена на усадьбе Б Воздвиженского 4 раскопа. Стратиграфическая дата: 1161–1171 гг. Это письмо из пяти строк, утратившее правую часть:

(гр)амота ѿ рожнѣгѣ • къ м[ѣ]... (...)
присъли • поль • гривнѣ мо... ..
дъне не присълещи ли • а ... (...)
въ сол[ѣ т]и есмь дъ... (...)
повѣжь

В конце 2-й строки после *мо* видна левая часть *ю* или *и*, в конце 3-й строки после *а* — левая часть *п*, *з*, *б* или *в*.

Имя адресата — возможно, *Мѣстата* или какое-то более длинное с тем же началом (скажем, *Мѣстатъка*). Первые две фразы письма явно построены по часто встречающейся в берестяных грамотах схеме: "пришли деньги, которые ты мне должен; если же не пришлешь, то ..." (следует та или иная угроза). Можно предполагать, в частности, что первая фраза читалась так: *присъли поль гривнѣ мо[ю] (до Петрова) дъне* (конечно, день мог быть и иным; но именно Петров день чаще всего служил предельным сроком для расчетов с долгами). Конец второй фразы менее ясен. Поскольку утраченная правая часть грамоты, по-видимому, была не очень велика, угроза должна была быть краткой; ср., например, в грамоте № 915: *присъли коуны; оже ли не присълещи, то ти въ полы*. Угроза *а [ѣ] (ѣ) полы* 'то [это станет займом] в половину (т. е. под 50% роста)' могла стоять и в настоящей грамоте.

Последняя фраза письма скорее всего означала примерно следующее: 'Если же я тебе что-то должен за соль, то сообщи' (т. е. автор хочет выяснить, не потому ли адресат не возвращает долг, что, по его мнению, автор сам ему должен за соль). С учетом вероятной величины утрат можно предположить, например: (*али*) *въ сол[ѣ] ти есмь дъ(лъжьне чимъ а) повѣжь*. Но детали конъектур могут быть и иными (например, вместо *али* мог стоять какой-то другой условный союз, слова *чимъ* могло и не быть и т. п.). *Въ соль* — здесь 'за соль'.

Интересно не встречавшееся прежде имя *Рожнѣга* (неизвестно, мужское или женское); по-видимому, это такое же производное от *рожьнь*, как и *Рож(ѣ)нѣтъ* (в грамотах № 336 и 915), но с другим суффиксом. Менее вероятно, что это женский вариант к имени *Рожнѣгъ* (ср. грамоту № 119), с труднообъяснимым *жн* вместо *зн*.

Грамота № 19. Найдена на усадьбе В Воздвиженского 4 раскопа. Стратиграфическая дата: нач. XII в. — 1148 г. Внестратиграфическая оценка дает несколько более позднюю дату: 2 пол. XII в. Это конечные три строки письма:

... | любо сѣмо присъли • а • твои (прип)ѣ
льваетъ • а • же • оу • сторовѣ • а • сѣд(ѣж)ѣ
емъ на товаръ

В конце первой строки лакуна размером в три буквы, в конце второй — размером в две буквы. Конъектура *приплываает* практически надежна: она единственная, дающая разумный смысл. Для конъектуры *съд(е)жемь* 'снимем', 'сложим' возможны также варианты *съд(ѣ)жемь* и *съд(ѣ)емь* (с тем же значением); но иных правдоподобных решений не усматривается.

Во фразе *а твои приплываает* опущенное существительное (муж. рода) — скорее всего слово со значением 'судно' (подходят слова *насадъ* и *корабль*); но мыслимо также слово со значением 'товар' (вообще или какой-то конкретный). Если эта реконструкция верна, перед нами фрагмент письма о движении торговых судов (видимо, по Тверце, которую в договорных грамотах XIV–XV вв. иногда называли "Новоторжским путем"). В начальной части письма автор, вероятно, давал какое-то распоряжение относительно своего судна (или товара). Он требовал либо выполнить это распоряжение, либо прислать его судно (или товар) к нему. Далее он сообщал, что судно адресата (или с его товаром) уже приближается к месту назначения и в случае его благополучного прибытия груз будет сложен *на товарь*. Слово *товарь* здесь выступает либо в значении 'обоз', 'подводы', либо в значении 'стан', 'лагерь' (т. е. в данном случае некое место временного хранения) (см. [Срезн.]). Примечательно, что даже когда судно прошло почти весь свой путь, автор письма все еще не считает его прибытие гарантированным.

Перевод: '... либо сюда пришли. А твой приплывает. Если уцелеет, то сгрузим на подводы (*или*: на стан)'

В грамоте отразилась диалектная древненовгородская основа *сторов-* 'жив-здорв', 'цел', 'благополучен' (см. [ДНД, §§ 2.48, 5.14]). Она выступает здесь в составе нигде ранее не засвидетельствованного глагола *усторовѣти* 'уцелеть'. Это слово показывает, между прочим, что термин *сторовъ* мог применяться не только к людям, но и к вещам. Словообразовательная модель — та же, что в *уцѣлѣти* от *цѣль*; далее ср. *устояти*, *уцѣдѣти*, *утърпѣти*, *удържати* и т. п.

Для предполагаемого в данном тексте слова *съдѣти* 'снять', 'сложить' ср. у Даля [IV: 168] *сдѣтъ* (кафтан, рубаху) 'снять', 'скинуть', 'сорвать'. Ср. также известные из древних памятников глаголы с *-дѣти* в первичных значениях, прямо связанных с древним *дѣ-* 'класть': *придѣти* 'приложить', *одѣти* 'обложить', *задѣти* 'взвалить' и др. (см. [Срезн.]). У этих глаголов древняя форма презенса была *-дежеть*, поздняя — *-дѣнеть*; кроме того, в том же значении (но в несовершенном виде) выступал презенс *-дѣють*. Какой из этих вариантов представлен в данной грамоте, из-за лакуны неясно.

С морфологической точки зрения чрезвычайно важно, что в грамоте прямо противопоставлены презенс с *-ть* в простом предложении (*приплываает*) и презенс без *-ть* в условном придаточном (*аже оусторовѣе*). Уже давно замечено, что в новгородских грамотах (берестяных и пергаменных) имеется некоторая статистическая зависимость между выбором окончания без *-ть* или с *-ть* и типом предложения: самый высокий процент примеров без *-ть* отмечен в предложениях, выражающих условие (вводимых специальным условным союзом или просто союзом *а*) или цель, т. е. там, где глагол передает не осуществляемое, а лишь предполагаемое действие. В ранних берестяных грамотах в этом классе предложений словоформы 3 ед. первого спряжения имеют окончание *-е* (а не *-еть*) почти всегда, например: *ати боуде война* 527, *аци ти присъле къ тѣбѣ* 794, *оже князь поиде* 332а, *а боуде сторовъ князь* 852, *оте побоуде сыно у мене* 705. В словоформах с другими окончаниями этот эффект менее регулярен. (Менее регулярен он также в поздних грамотах.) Новоторжская грамота № 19 — это первый пример прямого семантически обусловленного противопоставления двух моделей презенса в рамках текста из двух фраз: *а твои приплываает*; *аже оусторовѣе, а съд(е)жемь на товарь*.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Буслаев Ф.* 1861 — Историческая хрестоматия церковнославянского и древнерусского языков. М., 1861.
- Воробьева-Десятовская М. И.* 1988 — Рукописная книга в культуре Индии // Культура народов Востока. Материалы и исследования. Рукописная книга в культуре народов Востока (очерки). Книга вторая. М., 1988.
- Даль — В. И. Даль.* Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I–IV. М., 1955.
- ДНД — А. А. Зализняк.* Древненовгородский диалект. М., 1995.
- Калайдович К.* 1821 — Памятники российской словесности XII века. М., 1821.
- Майков В. В.* 1911 — Книга писцовая по Новгороду Великому конца XVI в. СПб., 1911.
- Мальгин П. Д.* 1989 — Культурный слой средневекового Торжка // КСИА. Вып. 195. М., 1989.
- Петтковский А. М.* 2001 — Типикон патриарха Алексея Студита в Византии и на Руси. М., 2001.
- ПСРЛ III* — Полное собрание русских летописей. Т. III. СПб., 1841.
- Сводный каталог 1984* — Сводный каталог славяно-русских книг, хранящихся в СССР. XI–XIII вв. М., 1984.
- Сл. XI–XVII, 9* — Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 9. М., 1982.
- Срезн. — И. И. Срезневский.* Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. I–III. СПб., 1893–1903.
- СРНГ* — Словарь русских народных говоров. Вып. 1–. М.; Л., 1965–.
- Столярова Л. В.* 2000 — Записи исторического содержания на Студийском уставе конца XII в. // Полное собрание русских летописей. Т. III. М., 2000.
- Царевская Т. Ю.* 1999 — Фрески церкви Благовещения на Мячине ("Аркахаж"). Новгород, 1999.
- Яшич В. Л.* 1982 — К хронологии и топографии ордынского похода на Новгород в 1238 году // Исследования по истории и историографии феодализма. К 100-летию со дня рождения академика Б. Д. Грекова. М., 1982.

Археологические исследования в Новгороде проводились при финансовой поддержке РГНФ (проект № 01-01-18047е).

© 2002 г. О.Н. СЕЛИВЕРСТОВА

**КОГНИТИВНАЯ СЕМАНТИКА НА ФОНЕ ОБЩЕГО РАЗВИТИЯ
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ НАУКИ***

* * *

Этот обзор – последняя статья Ольги Николаевны Селиверстовой (1934–2001), она уже не увидела ее в окончательной редакции.

Ольга Николаевна работала в Отделе германистики Института языкознания РАН и преподавала – как англист – теоретические курсы в РГГУ на кафедре иностранных языков факультета теоретической и прикладной лингвистики и в Московском государственном лингвистическом университете. Однако ее лингвистические интересы были, как известно, гораздо шире германистики: Ольга Николаевна занималась исследованием местоимений, предикатов, предлогов и наречий, посессивности, аспекта, актуальным членением, ее всегда глубоко занимали проблемы теоретической семантики, причем самого разного свойства. Она автор нескольких фундаментальных монографий: о компонентном анализе, об экзистенциальности и посессивности, о контрастивной семантике, о пространственных предлогах (в соавторстве с Т.Н. Маляр) и др. Многие задачи она ставила одной из первых [ср., например, ее знаменитую раннюю работу о семантике неопределенных местоимений – статью "Опыт семантического анализа слов типа *все* и *кто-нибудь*" (ВЯ. 1964. № 4), которая до сих пор остается одной из самых цитируемых статей на эту тему], и взгляд ее на эти проблемы был всегда нестандартным. В частности, Ольга Николаевна неизменно придавала большое значение экспериментальной работе, которая бы давала подтверждение теоретическим результатам семантических описаний. Ольга Николаевна любила говорить, что образцом для лингвистики должна быть такая наука, как физика; в эпоху всеобщей ориентации сначала на математику (особенно математическую логику), а затем – возвращаясь к традиционным гуманитарным "соседям" лингвистики, это была отчетливо самостоятельная позиция. Сама она называла свой подход "экспериментальной семантикой" и, как кажется, хорошо чувствовала обособленность своих исследований от лингвистических мейнстримов.

Ольга Николаевна действительно всегда была непохожа на других – но искала точки соприкосновения с другими, и в последнее время обращалась в этих поисках к новому направлению в западной лингвистике – когнитивной семантике. Эту ее статью нельзя в полной мере считать обзором: скорее, это заочный диалог Ольги Николаевны с когнитивистами – их точку зрения представляют цитаты из статей и книг (прежде всего, ведущих теоретиков когнитивизма – Р. Лангакера, Дж. Лакова, Л. Талми), а автор обзора придирчиво взвешивает все эти суждения на собственных весах, сравнивает с тем, во что сама верит, и соглашается, и спорит, и предлагает новые аргументы...

* * *

1. "Когнитивное" направление возникло в Америке в 70-х – 80-х годах и вскоре получило положительные отклики во многих странах и, в частности, в России.

В большинстве первых обзоров главная задача заключалась в том, чтобы познакомить читателя с основными положениями и терминологией "когнитивной" линг-

* Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 99-06-82-001.

вистики, не давая им внешней оценки. Наряду с этим делались попытки определить место "когнитивных" исследований в общем развитии лингвистической науки и/или показать их сходства и отличия от некоторых других лингвистических течений. Общая оценка места данного направления в лингвистической науке иногда была почти диаметрально противоположной. Так, В.Б. Касевич, в целом положительно оценивая данное направление, в то же время утверждает, что оно не является новым ни по предмету исследования, ни по методу [Касевич 1998]. Напротив, в ряде других работ подчеркивается оригинальность и новизна общего подхода, например [Кубрякова 1994; 2002].

В данной статье также будут сопоставляться наиболее общие положения "когнитивизма" с соответствующими положениями других лингвистических направлений. В фокус рассмотрения попадут и частные особенности, во многом определяющие сформирование общего подхода американской лингвистики.

Если не считать открытий нового предмета исследования, смена "парадигм" (во всяком случае в точных науках), как правило, происходит в результате разработки более тонких методов, которые позволяют получить новые данные, оказывающиеся в противоречии с существующими теориями. В отличие от этого, весьма частые смены парадигм в лингвистике XX века в значительной степени (не всегда, конечно) были вызваны не получением новых данных о языке, а сознательным или бессознательным стремлением упростить объект исследования с тем, чтобы к нему были приложимы более точные методы. Наиболее, может быть, ясно эта тенденция проявилась в американской лингвистике. Так, отказ от ментализма, который сначала привел к течению "бихейвиоризма", в сильной степени стимулировался тем, что, как думали некоторые лингвисты того времени (в частности, Л. Блюмфильд), ментальные конструкты недоступны объективному исследованию. Затем бихейвиоризм сменился другими течениями, среди которых важное место занимал дескриптивизм, который также можно рассматривать как попытку "обойти" изучение тех ментальных структур, которые соответствуют "означаемому" языкового знака. Наконец, в период времени, непосредственно предшествующий появлению когнитивизма, значение стало отождествляться с условиями истинности употребления языкового знака (см. об этом [Кубрякова 1994; 2002]). В это же время в рамках синтаксических исследований ведущей становится теория порождающей грамматики, в которой формальная синтаксическая структура отрывалась от своего "означаемого". Такое понимание языкового значения и построения синтаксического уровня приводило к возможности применения формальных методов описания, но, как свидетельствуют многие языковые данные, не соответствует реальному построению языка (см., например, об этом [Кубрякова 1994; 2002]). Поэтому возникшая отрицательная реакция на сложившееся в американской лингвистике положение дел представляется закономерной. Ее представителями стали создатели "когнитивного" направления, одним из которых был Р. Лангакер. В своей статье "An overview of cognitive grammar", которая подводит итог первого периода существования данного направления и одновременно определяет общетеоретические посылки, лежащие в его основе, Лангакер первым рассматривает следующие три тезиса.

Во-первых, грамматика не является порождающей системой. "Грамматика просто обеспечивает говорящих инвентарем символических средств. Говорящие же используют эти средства для создания и оценки правильности языковых выражений вследствие своей способности к категоризации и установлению смысловых связей" [Langacker 1988: 5].

Во-вторых, в рамках когнитивной теории утверждается, что грамматические единицы по своей природе "соответствуют символам и не имеют существования, не зависимо от семантики и фонологических структур" [Там же: 5].

В-третьих, в отличие от широко распространенного в американской лингвистике понимания значения как условий истинности употребления языкового знака, Лангакер отождествляет значение с "готовым" концептом и с самим процессом концеп-

туализации. Он пишет: "В еретической концепции когнитивной грамматики значение отождествляется с концептуализацией (понимаемой весьма широко), которая должна быть эксплицирована в терминах когнитивной обработки" [Langacker 1988: 5] и дальше: «Когнитивная грамматика учитывает "субъективный" взгляд на значение. Семантическое содержание (value) языкового выражения определяется не только присущими объекту или ситуации, которые оно описывает, свойствами, но и, прежде всего, способом их представления» [Там же: 6–7].

Хотя можно спорить о тех или иных нюансах формулировок, все три приведенных Лангакером тезиса разделяются многими представителями мирового сообщества лингвистов других стран (и, в частности, России) и воспринимаются совсем не как еретические, а скорее как традиционные, хотя и не обязательно общепринятые. Напомню, например, отождествление означаемого языкового знака с концептом в теории Ф. де Соссюра, трактовку значения в психологической школе конца XIX – начала XX века (Штейнталь, А.А. Потебня), понимание значения Л.В. Щербой (значение = "наивное понятие"), А.И. Смирницким и многими другими лингвистами.

Вместе с тем, "бунт" американских когнитивистов, который еще раз показывает, что попытки оттеснить значение на задний план или "забыть" его ментальную природу неизбежно приводят к искажению самого предмета исследования, важен не только для американской лингвистики: и в общемировой лингвистике наблюдаются колебания, касающиеся как понимания природы значения (прежде всего – значение как концепт ↔ значение как денотативный класс), так и принятия положений генеративной грамматики. Кроме того, американские когнитивисты стимулировали дальнейшее развитие концептуальной семантики и тем, что ввели много новых интересных результатов, и тем, что, пересматривая ряд общетеоретических положений, вызвали споры, которые способствуют более глубокому пониманию сущности явлений. Такие спорные интерпретации и положения и будут рассмотрены ниже.

2. Хотя понимание значения как "концепта" ("наивного понятия") именно в том смысле, как этот термин трактуется Р. Лангакером, разделяется сейчас многими лингвистами, включая и автора данной статьи¹, существуют весьма большие расхождения в представлении о том, как этот "концепт" построен и как он соотносится с другими типами "знаний", имеющимися в сознании человека.

Р. Лангакер выдвигает положение о неоправданности отделения языковой семантики от прагматических характеристик и общих знаний о мире. Он пишет, что такое отделение можно провести, но при этом встает вопрос о том, "будет ли содержание этой выделенной части иметь независимую значимость и заслуживать серьезного интереса" [Langacker 1988: 17]. Представляется, что отказ от разграничения семантики и прагматики, семантики и общих энциклопедических знаний резко отрицательно сказался бы на успешном развитии рассматриваемой области исследований.

Важность отграничения "языкового концепта" (значения) от общих знаний о мире проиллюстрирую на примере, используемом самим Лангакером, но с противоположной целью. Рассматривая предложение *The ball is under the table*, Лангакер обращает внимание на то, что это предложение в обычном случае будет пониматься как сообщающее о положении мяча на той поверхности, на которой стоят ножки стола (рис. 1а). Однако из значения самого предлога *under* совсем не следует, что имеет место именно такое пространственное соотношение между столом и мячом. Значению этого предлога соответствуют и многие другие фигуры, например, *b*), *c*), *d*).

¹ В моих работах при этом часто подчеркивалось, что в акте речи языковой концепт предстает как та информация, которая через языковой знак передается о его денотате (при этом отделяется информация, передаваемая через контекст или общее знание о мире), см. например [Селиверстова 1976].

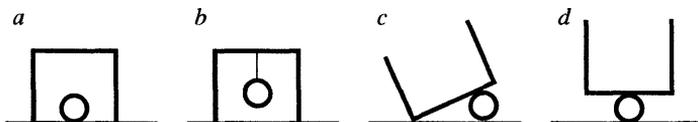


Рис. 1

Из этого наблюдения Р. Лангакер делает вывод о том, что значение предлога тесно переплетено с общими знаниями о мире (в данном случае о "конвенциональном" положении стола), что позволяет понять приведенное предложение, как соответствующее рис. 1а), а не б), с), d). Лангакер несомненно прав, говоря о том, что понимание языковых высказываний в значительной степени зависит и от общих знаний о мире. Однако отсюда не следует, что эти знания не отделены от той информации, которая передается через значения языковых знаков. Так, если бы значение предлога *under* в сознании говорящих на английском языке сливалось бы с знаниями об обычном положении предметов в пространстве (в данном случае столов), они не могли бы понять, почему все-таки данный предлог соответствует и ситуациям рисунков б), с), d), которые могут возникнуть, например, в контексте сказки? Таким образом, приведенный пример подтверждает представление о разделенности в нашем сознании языкового значения и общих знаний о мире. Из сказанного, конечно, не следует, что не могут существовать случаи, когда граница между этими типами знаний оказывается в той или иной степени размыта.

Что же касается семантики и прагматики, то здесь прежде всего важно отметить, что сам термин *прагматика* употребляется и в лингвистике, и в философии в весьма разных, а иногда и прямо противоположных смыслах [Степанов 1998: 377–380]; см. также [СЛТ 1966]. Если под прагматикой понимать прежде всего коммуникативную цель использования в речи языкового знака в данном значении, то различие между самим языковым концептом и тем, зачем он вводится в речевое высказывание, представляется очевидным. Например, слова *близко* / *далеко* несут информацию о величине расстояния между X-ом и Y-ом: X – это тот, чье пространственное положение устанавливается, а Y – тот, по отношению к кому определяется положение X-а. X при этом можно назвать референтом, а Y – релятумом. Введение такой информации связывается с весьма разными коммуникативными целями: указать на расстояние а) как на основание, сделавшее возможным / невозможным осуществление некоторого "действия" Y-ом (*Я стоял совсем близко от него и видел, что он записывал каждое ваше слово*); б) как на нарушение некой "нормы" (*Они сидели слишком близко*); в) как на источник эмоционального переживания Y-а (*Она впервые сидела так близко от меня*) и т.д. Интересно отметить, что ни в русском, ни в английском языках слова со значением расстояния, кроме некоторых особых условий, не употребляются просто для того, чтобы определить пространственное положение X-а (*Где дети?* – **Они играют близко от дома*; ср. *около дома*) [Маляр, Селиверстова 1998: 47–51, 233–255]. Отмеченный запрет можно объяснить когнитивной (психологической) установкой – определять пространственное положение объекта через указание на то пространство, в которое этот объект входит, а не через указание на расстояние от другого объекта.

Подобные когнитивные установки часто относят к сфере прагматики. Их также называют прагматическими принципами, влияющими на осмысление и представление денотативных ситуаций. Так, например, А. Герсковиц, которую также можно считать представителем когнитивизма, но которая, в отличие от Р. Лангакера, не снимает различия между прагматикой и семантикой, рассматривает четыре основных прагматических принципа: попадание в фокус внимания (*salience*), типичность, релевантность и толерантность [Herskovits 1988: 284–290].

По-видимому, А. Герсковиц, различая языковое значение и прагматику, в то же время полагает, что действие перечисленных принципов приводит к видоизменению самого значения, что в какой-то степени сближает ее позицию с позицией Р. Лангакера. Однако если последовательно разграничивать языковой концепт (значение) и саму денотативную ситуацию (этот вопрос будет подробнее рассматриваться ниже), то скорее действие перечисленных когнитивных принципов влияет не на значение, а на "обработку" денотативной ситуации, предшествующей выбору языкового знака. Так, в предложении *Книга лежит на столе*, описывающем такую ситуацию, когда книга непосредственно лежит на скатерти или на другой книге (принцип толерантности), происходит, как представляется, не изменение самой семантики предлога *на*, а игнорирование (отбрасывание) несущественных характеристик денотативной ситуации. Правда, перечисленные принципы, по-видимому, могут приводить в действие механизмы метонимических или метафорических переносов и уже через них изменять значение. Примеры подобного типа приводит и А. Герсковиц. Так, она полагает, что метонимический перенос, позволяющий употреблять слово *water* ('вода') не для обозначения всей толщи воды (например, в реке), а только ее поверхностного слоя, происходит под воздействием попадания этого слоя в фокус внимания (*salience*) и "типичности" нахождения описываемого объекта под этим слоем. Так, о человеке обычно говорят *to swim under the water* (русск. *плыть под водой*), а о рыбах, напротив, *to swim in the water* (ср. русск. *плавать в воде*).

Таким образом, представляется, что "прагматические принципы", которые можно определить еще как когнитивные установки, если и влияют на значение языковых знаков, то лишь опосредованно. В других же случаях они воздействуют скорее на когнитивную "обработку" самой денотативной ситуации.

3. Определяя своеобразие когнитивной лингвистики, нельзя не остановиться на вопросе о методах исследования. Представляется, что правы те лингвисты, которые полагают, что особого когнитивного метода нет [Демьянков 1994; Паршин 1991]. Можно согласиться с Л.А. Паршиным, который считает, что основным исследовательским методом для них, как и для многих других лингвистов, является лингвистический эксперимент (см. об этом ниже). Обращение к данным психологии при аргументации выдвигаемых положений также не является принципиально новым. Свообразие американских когнитивистов скорее определяется выбором угла зрения, под которым дается описание. В фокусе их внимания чаще всего оказываются процессы формирования языковых значений или процессы, связанные с их реализацией в акте речи, а не описание "готовых" семантических концептов. Этот подход стимулировал прежде всего исследование путей преобразования, лежащих в основе объединения семантической цепочки, составляющей значения полисемантической языковой единицы, см., например [Brugman, Lakoff 1988], а также процессов создания идиом, например [Lakoff 1987]. Обе эти задачи уже давно ставятся в лингвистике (см., например, работы Д.Н. Шмелева, Ю.Д. Апресяна разных лет), но находятся еще в начале своего разрешения. Важный этап в этом процессе составляют, как представляется, работы когнитивистов.

Менее значимым является стремление когнитивистов построить исследование под углом зрения описания процессов осмысления денотата, которые и позволяют подвести его под значение рассматриваемого лингвистом слова. Такой путь подачи материала характерен для некоторых работ Р. Лангакера (см., например, описание слова *island* 'остров' в [Langacker 1988: 70–71]). При этом осуществляемые в акте денотации процессы фактически просто выводятся из знания значения и, таким образом, их перечисление ничего не добавляет к описанию².

² Конечно, в дальнейшем будут устанавливаться те когнитивные процессы, которые происходят в акте построения речи, но принципиально новые данные здесь могут быть получены в рамках нейрофизиологических исследований.

Стремление Р. Лангакера построить описание под углом зрения акта соотношения языкового знака с его денотатом проявляется и в отождествлении понятия значения и понятия предикации. Такое отождествление имеет объективное основание. Когда говорящий обозначает описываемый объект с помощью языкового знака, он действительно приписывает этому объекту тот набор свойств, который составляет содержание значения. Тем не менее столь широкое употребление термина *предикация* представляется не совсем удачным, так как снимает различие между собственно синтаксическим явлением и понятием "номинации". Кроме того, в рамках теории коммуникативной организации высказывания представляется важным проводить различие между номинацией, которая происходит как бы до акта построения высказывания (описываемый объект при этом уже представлен в том наборе свойств, которые ему приписывает языковой знак и комплекс "знак и его обозначаемое" предстают как единое целое) и номинацией, которая происходит в момент построения высказывания. Только в последнем случае оправданно говорить о "скрытой" предикации, отраженной в семантической структуре самого высказывания (см. об этом [Селиверстова 1990]).

Примером коммуникативно нечленимой связи между денотатом и знаком, обозначающим его, может служить отношение между существительным *чемпион* и человеком, выступающим в этой функции в предложении: *Чемпион поднялся на пьедестал*. Номинация же в акте построения высказывания может быть проиллюстрирована на соотношении именной группы *молодая красивая девушка* и ее денотата в предложении *Молодая красивая девушка сидела в углу вагона и читала книгу*.

Таким образом, при слишком широком употреблении термина *предикация* не учитываются весьма существенные различия.

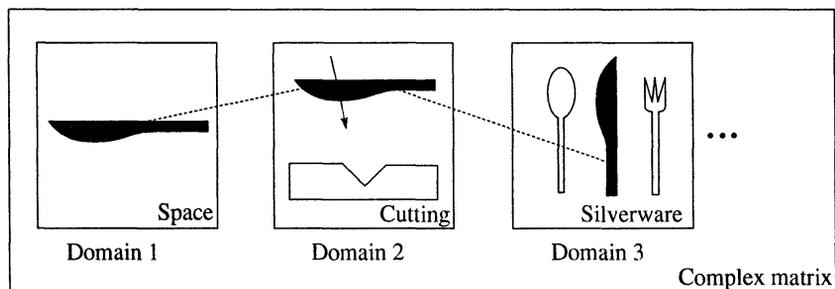
Процессуальный подход перенесен Р. Лангакером и на рассмотрение построения общей семантической системы языка. В соответствии с его гипотезой в основе семантической системы лежат некоторые базовые области (basic domains), которые не сводятся к более простым. Среди базовых областей он выделяет восприятие времени (experience of time), способность концептуализировать конфигурации в двух- и трехмерном пространстве, а также области, ассоциирующиеся с различными органами чувств: цветовое пространство (т.е. набор различных цветовых ощущений), способность воспринимать различную высоту звука и т.д. Полного перечня базовых областей не дается. Подчеркивается только их общий характер (несводимость к более простым) и высказывается гипотеза о том, что наше построение ментального мира начинается с "регистрации" опыта, получаемого в рамках этих основных базовых областей, от которого мы затем переходим к более высоким уровням концептуальной организации посредством особых внутренне присущих когнитивных операций [Langacker 1988: 55].

Проблема выделения исходных, "базовых" областей имеет несомненный научный интерес и в той или иной форме ставится и в других лингвистических работах, см., например, понятие семантических примитивов Анны Вежбицкой [Вежбицкая 1996].

Гипотеза когнитивистов, в соответствии с которой базовые области создаются по преимуществу (или исключительно?) нашей способностью ощущать звуки, свет, время и т.д., вероятно, во многом оправдана. Действительно, регистрация зрительных, тактильных и других ощущений лежит в основе многих языковых концептов. Вместе с тем, представляется, что далеко не все языковые концепты строятся в результате преобразований опыта подобного типа. Например, большая часть языковых единиц, выражающих категорию посессивности, да и само понятие посессивности как целое, не имеет его в своей основе (об этом см., например [Селиверстова 1990]). Существование подобных семантических категорий свидетельствует о том, что сложные по своему содержанию концепты могут изначально формироваться на более высоких уровнях когниции, чем уровень восприятия и ощущений. В связи со сказанным следует также отметить, что по гипотезе психологической школы конца XIX – начала XX века (Штейнталь, Потенция и др.), которая, как представляется, сейчас

имеет многие подтверждения, языковые значения вообще формируются в результате очень существенной переработки исходного "опыта" (см. понятие апперцепции у А.А. Потемби [Потембня 1999]) на более высоких когнитивных уровнях. Вследствие этого даже те языковые значения, которые связаны с перцепцией, не отражают непосредственно визуальный или тактильный опыт, а определенным образом его интерпретируют. Таким образом, если признавать отличие языковых систем от других когнитивных явлений (Р. Лангакер предлагает снять это разграничение), то языковые значения не восходят прямо к данным перцептивного опыта, хотя, конечно, и могут быть с ними связаны.

Далее, рассмотренная выше трактовка Р. Лангакера семантических связей языковых концептов учитывает только преобразование более простых концептов в более сложные, но, например, по его мнению, понятие треугольника, которое возникает в результате мысленных операций, объединяющих понятие, не дает ключа для понимания построения языковых систем, которые складываются из целого ряда подсистем, имеющих свою иерархичность. Существование этой "другой" иерархичности проявляется и во внутренней структуре отдельного значения, что никак не отражается в описании, предлагаемом Лангакером. Рассмотрю описание слова *knife* 'нож', приводимое Лангакером для иллюстрации своего подхода. Семантические связи этого слова описываются с помощью матрицы, представленной на рис. 2 (многоточие в приведенной схеме означает, что есть и другие понятийные области, с которыми связано значение слова *knife*).



Knife

Рис. 2

Выбор матричной формы описания обусловлен желанием подчеркнуть те разнообразные понятийные области, на которых строится значение слова *knife*. Это описание противопоставлено представлению о том, что значение – это набор примитивов, выступающий в качестве пучка различительных признаков. Можно полностью согласиться с Лангакером, считаяющим, что составные элементы значений чаще всего не соответствуют примитивам.

Однако отсюда никак не следует ненужность компонентного анализа, необходимость использования которого определяется тем, что принцип системности играет весьма важную роль в организации языка. В неявной форме Лангакер фактически также прибегает к этому методу, когда выделяет области, к которым восходит значение слова *knife*. При этом, однако, принятая им форма представления значения позволяет ему не уделять внимания поискам точного содержания семантических компонентов. Так, не говоря о том, что сам термин *пространство* понимается неодинаково (чаще всего, понятие "пространство" определяется по выполняемой им функции – включать в себя, локализовать другие объекты), его место в семантической структуре слова может быть разным. В работах же американских когнитивистов выражение "имеющий отношение к пространству" (*pertaining to space*) используется очень широко. В рассматриваемом случае оно, по-видимому, означает, что денотат слова *knife*

имсет размер по длине, ширине, толщине и, следовательно, а) занимает какое-то место в пространстве и/или б) сам может выступать в качестве места. Использование в описании таких нечетких метапонятий представляется крайне неудачным, так как главная проблема семантики заключается именно в раскрытии содержания тех концептов, которые составляют значение или являются его частью. Решению этой задачи никак не способствуют указания типа "retaining to space", в которых снимаются различия, существующие в языке. В данном случае это различие между понятием размерности и понятием пространства. Так, понятие "предмет" несомненно связано с наличием размеров, но не с функцией быть пространством. Например: *не режь этим ножом*, где какое-то отношение к пространству может лишь имплицироваться, но не входит в само содержание значения. Пространственную же функцию предмету придает лишь контекст: *на ноже сидела муха*.

Кроме того, в предлагаемом Р. Лангакером описании не учитывается иерархичность внутренней организации значения: все понятийные области в матрице относятся к одному уровню. В компонентном же анализе составные части значения распределяются по разным уровням. В рассмотренном примере – это 'предмет'; далее: предмет, принадлежащий к числу столовых приборов (или другой вариант: кухонных "инструментов") и т.д. Именно выделение компонентов в рамках анализа семантических систем или подсистем и не позволяет сводить значение к простому "пучку" различительных признаков, а требует раскрытия их внутреннего синтаксиса. Подчеркивая значимость использования компонентного анализа, я не хочу сказать, что он во всех работах применяется удачно: компонентный анализ существует в нескольких разных формах, причем некоторые из них дают весьма упрощенные описания. Кроме того, компонентный анализ не всегда соединяется с верификационными процедурами, использование которых необходимо при любом типе исследований. И, наконец, в разных микросистемах принцип иерархичности и связанный с ним принцип организации значения через набор интегральных и дифференциальных признаков могут быть более или менее воплощены. Вследствие этого компонентный анализ может играть разную роль в исследовании, но полностью практически никогда не может быть отброшен. Его применение, в частности, исключительно важно при изучении синонимических групп (см. об этом ниже).

4. Отмеченный выше отказ от компонентного анализа, за которым стоит недоучет достижений структурализма, служит, как представляется, одной из причин обедненности семантического описания, которое характерно для многих работ американских когнитивистов. Другая причина неполноты описания, с моей точки зрения, связана с влиянием предшествующих традиций: вопреки общетеоретической установке исследователи, фактически, часто описывают свойства денотативной ситуации (денотата), а не то, как она представлена языковым знаком. Такому видению объекта исследования способствует и переоценка значимости перцепции. Эта переоценка приводит к тому, что выделяются по преимуществу концепты, непосредственно отражающие наблюдаемые свойства денотата. Так, в исключительно детальной и посвоему блестящей работе К. Бругман и Дж. Лакоффа [Brugman, Lakoff 1988], посвященной слову *over*, устанавливаются в основном денотативные типы, а не значения этого слова (сказанное в первую очередь относится к исходным пространственным значениям этого слова). Именно традицией идти от денотата можно объяснить то, что К. Бругман и Дж. Лакофф связывают одни и те же "пространственные картинки" (imagery schemes) и со словом *over*, и со словом *above*. Эта последняя лексема используется для описания стативного значения *over*. В приводимой ими "картинке" (рис. 3) учитывается только положение траектора (trajector) (т.е. объекта, пространственное положение которого устанавливается; в другой терминологии – это референт) выше того объекта (land-mark), по отношению к которому устанавливается положение траектора (в другой терминологии – land-mark – это ориентир, релятум). Как показали исследования Т.Н. Маляр [Маляр 1995] и К. Ковентри [Coventry 1998], семантика слов *over* и *above* различается и по характеру концептуализации простран-

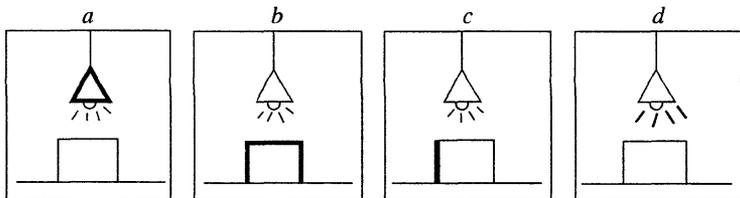


Рис. 3

ства, и по связанным с этой концептуализацией функциональным признакам. В терминологии Т.Н. Маляр предлог *over* задает понятие "области"³, т.е. пространственного сегмента, а) непосредственно примыкающего к ориентиру, в рассматриваемом случае, сверху (т.е. верхняя сторона ориентира является нижней стороной примыкающего к нему пространства); и б) воспринимаемого как "приписанного" ориентиру ("его" пространства). В отличие от этого слово *above* задает плоскость или линию, параллельную ориентиру, но расположенную выше его и отделенную от него и пространственно, и по типу отношения к нему – это отделенный от ориентира пространственный сегмент, не "его" пространство. Таким образом, здесь в отличие от [Brugman, Lakoff 1988], кроме траектора (обозначим его знаком X) и ориентира (обозначим его знаком Y) вводится пространственный сегмент (S), который и является местом нахождения X-а. Этот пространственный сегмент S по-разному представлен словами *over* и *above*, см. рис. 4.

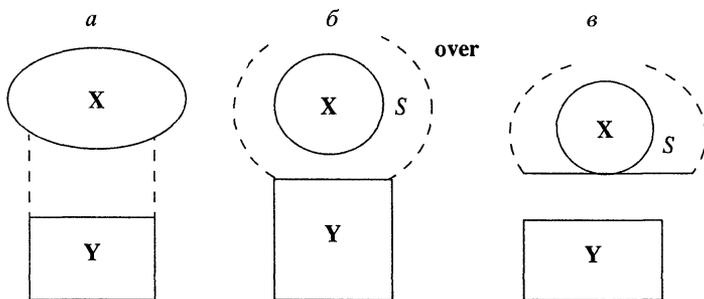


Рис. 4

Вариант а) соответствует изображению семантики *over* и *above* в [Brugman, Lakoff 1988].

Вариант б) и в) приблизительно соответствуют описанию семантики *over* и *above* в [Маляр 1995].

Разные характеристики пространственного сегмента S коррелируют и с разными функциональными признаками, выражаемыми словами *over* и *above*. Так, например, функция "экранирования" Y-а от падающих на него сверху потоков энергии или частиц и т.п. должна связываться с положением X-а в "области" Y-а, а не в пространственном сегменте, отделенном от Y-а, независимым от него. Отсюда можно сказать: *She held an umbrella over her head* (**above her head*). Напротив, положение подноса, который несет над собой официант, должно описываться через предлог *above*, хотя "денотативно" его пространственная позиция может точно совпадать с

³ Это понятие было первоначально введено при описании предлогов "горизонтальной оси" – *у, около, возле, by* [Маляр, Селиверстова 1993].

положением зонта. Подобных различий по разнообразным функциям очень много (наиболее детально они рассмотрены в указанной работе К. Ковентри). Отмечу только, что все они согласуются с описанным выше различием в пространственной концептуализации.

Из приведенного сопоставления видно, что в работе К. Бругман и Дж. Лакоффа дана обедненная описания приведенного значения предлога *over*. Такая неполнота выявления семантических концептов представляется довольно характерной чертой исследований американских когнитивистов. Отмечу, например, работу А. Герсковиц [Herskovits 1988]. В этой работе пространственным предлогам приписывается некоторое "идеальное значение", описываемое только через набор относительно простых геометрических понятий. Сама А. Герсковиц допускает, что представленное таким образом значение не отражает ту сложную информацию, которая выражается пространственными предлогами, но считает, что в речи происходят определенные отклонения от "идеального" значения и его пополнения, обусловленные контекстом употребления. При этом не выделяются достаточно четкие критерии, которые позволили бы установить, имеет ли место добавление к языковому значению контекстной информации или же все-таки происходит изменение самого значения, а также приводит ли наличие определенного несоответствия между "идеальным значением" и денотативной ситуацией к изменению значения или речь идет о некоторой закономерности построения речи, например, связанной с тем, что говорящий игнорирует несущественные отклонения денотативной ситуации от информации, передаваемой о ней языковым знаком. Здесь имеются в виду случаи типа *книга лежит на столе*, когда она непосредственно лежит на скатерти. Таким образом, в работе предлагается весьма спорное решение проблемы соотношения значения и контекста (данная проблема, как представляется, вообще является одной из центральных для современной семантики), а также принимается упрощенное понимание исходного пространственного значения.

Представление об обедненности собственно языковых лингвистических концептов иногда принимается даже как самоочевидное и кладется в основу других теоретических положений (см. об этом выше).

Характерная для американской лингвистики традиция идти от денотата проявляется, как мне представляется, и в преувеличении роли прототипа в семантике. Можно полностью согласиться с тем, что прототипическое значение часто лежит в основе организации полисемии, хотя, как я думаю, это не единственный тип многозначности. Понятие прототипа здесь в сущности соответствует старому понятию "исходного, или основного" значения. Представление о прототипической организации, однако, распространяется когнитивистами и на структуру отдельного значения. Возможность такого или, точнее, близкого к нему построения значения отмечалась и в других лингвистических направлениях. Так, в исследованиях по функциональной грамматике А.В. Бондарко [Бондарко 1990] большинство категориальных значений представлено как складывающееся из набора вариантов, одни из которых являются центральными, а другие – периферийными. Именно так описана и категория посессивности в работах автора данной статьи, например [Селиверстова 1990]. В этой работе, однако, высказывается предположение, что за всеми выделяемыми вариантами все-таки стоит некоторый инвариантный, хотя и очень нечеткий концепт [Там же: 19–27]. Таким образом, я разделяю взгляды когнитивистов о существовании значений, распадающихся на варианты, объединенные по принципу семейного сходства.

Однако место, занимаемое семантическими структурами такого типа, представляется мне в работах когнитивистов сильно преувеличенным. Как убедительно показано А. Вежбицкой [Вежбицкая 1996: 201–202], представление о том, что понятие прототипа более точно соответствует структуре значения, часто вызвано просто неправильным толкованием значения. Добавлю к этому, что сами эти неправильные толкования чаще всего определяются тем, что рассматриваются фактически потенциальные денотаты, а не сами концепты. Так, например, как справедливо отмечает

А. Вежбицкая, даже если говорящий, поздравляя кого-то с успехом, совсем не испытывает при этом радости, то это не значит, что изменяется значение самого слова *поздравлять*: оно в любом случае выполняет функции выражения "положительного" отношения говорящего к случившемуся. Что же при этом реально ощущает говорящий характеризует лишь саму денотативную ситуацию.

5. Еще одной характерной чертой американских когнитивистов является поиск общих концептов, проходящих через разные пласты языка, а также важнейших процедур концептуализации, которые могут оказаться показательными для форм и способов протекания процесса мышления. Так, Л. Талми [Talmy 1983; 1988] выделяет целый ряд понятий, которые позволяют увидеть общее в различных категориях глагола и имени. Например, понятие плексии объединяет значение числа существительных и глаголов.

Весьма широко в лингвистике стали использоваться такие понятия как "фигура" и "фон", "профиль", "база", "тражектор" и "лендмаркер", "фрейм", которые были либо вообще впервые введены когнитивистами, либо получили в их работах широкое применение. При всей значимости поисков общих понятий, которые бы пронизывали систему языка, успехи, достигнутые когнитивистами, в этой области представляются несколько преувеличенными. С моей точки зрения, содержание многих введенных метапонятий весьма расплывчато, и они часто вводятся практически без определения. Использование таких метапонятий похоже на измерение температуры с помощью градусника с почти стершимися делениями и неизвестной шкалой (Цельсий и Фаренгейт). Проиллюстрирую сказанное на примере понятий "профиль" / "база", которые использует Р. Лангакером [Langacker 1988].

"Профиль" и "база". "База" языкового значения в понимании Лангакера – это те понятийные области (domains), с которыми соотносится данное значение. Как уже говорилось выше, понятийные области языкового значения Лангакер предлагает представить в виде матрицы. Процесс же профилирования – это собственно выделение какой-то части базы. Лангакер не устанавливает такого отдельного психологического явления, которое непосредственно соответствовало бы профилированию. Он пишет, что данный процесс включает в себя и явления, связанные с выделением фигуры из фона и с установлением как фокуса внимания, так и уровня активизации [Langacker 1988: 59]. Говоря о профиле как о результате проведенного процесса, Лангакер характеризует его следующим образом: профиль включает в себя "те части базы, которые данная предикация (т.е. собственно языковой знак в данном значении. – О.С.) обозначает" [Langacker 1988: 59], причем дезигнация здесь не понимается как отношение между языковым выражением и миром, а как соотношение между общей концептуализацией и определенными ее частями. Понимаемый описанным образом процесс наложения профиля на базу является, по мнению Лангакера, определяющим (special) для установления содержания любой языковой "предикации" (т.е. значения. – О.С.). Введение понятия Лангакер далее иллюстрирует на ряде примеров, многие из которых, как мне представляется, вряд ли оправданно объединять. Первым из них является слово *гипотенуза*, в значении которого отражено представление своего денотата именно как определенной части треугольника и вне соотношения с понятием "треугольник" оно бы обозначало просто косую линию. Совсем к иному типу, с моей точки зрения, относится другой, также иллюстрирующий понятие "профиль". В него входит набор словосочетаний, соотносенных фактически с одной и той же денотативной ситуацией: а) *The lamp above the table* 'Лампа над столом'; б) *The table below the lamp* 'Стол под лампой'; в) *The leg of the table below the lamp* 'Ножка стола под лампой' (имеется в виду ножка стола, не отделенная от самого стола); г) *The light of the lamp above the table* 'Свет лампы над столом'. По мнению Лангакера, приведенные словосочетания "противостоят друг другу по своей семантике, но не вследствие различия в концептуальном содержании – мы допускаем здесь наличие единой базы, включающей в себя концептуализацию лампы (отсюда представление о

свете), стола (отсюда представление о наличии ножек), и локативного отношения между ними" [Там же: 61]. Чтение этого приведенного пояснения вызывает недоумение: ведь выше значение было определено именно как концепт и, следовательно, семантическое различие должно предполагать концептуальное различие. Можно, конечно, согласиться с тем, что концепты, выражаемые словами *table* и *lamp*, не изменяются в приведенных примерах, но значения (концепты) предлогов *above/below* прямо противоположны. Если отталкиваться в анализе не от рассмотрения заданной денотативной ситуации, а от значения самих языковых знаков, то очевидно, что словосочетания *the leg of the table* и *the light of the lamp* семантически (и, следовательно, концептуально) не тождественны словам *the table* и *the lamp* соответственно. Если же сопоставить рассматриваемый пример со словами типа *гипотенуза*, *локоть* и т.п., то принципиальное различие заключается в том, что здесь какое бы слово не было выбрано в качестве "головного" (*head*), оно не характеризует свой денотат как часть некоторого целого. Отношение же денотата "головного" слова к другим элементам общей ситуации задается лишь через другие компоненты словосочетания и саму грамматическую конструкцию. Поэтому сходство между словами типа *гипотенуза* и словосочетаниями типа *лампа над столом* можно увидеть только в том случае, если исследователя интересует лишь суммарная информация о денотате "головного" элемента словосочетания независимо от того, как она представлена в самих значениях. Замечу еще, что теория коммуникативной организации высказывания ("функциональной перспективы") дает более простой и ясный подход к описанию различия в организации информации и, следовательно, в способе представления денотативной ситуации при изменении порядка слов.

6. Если давняя традиция не ставить в фокусе исследования "означаемое" языкового знака все еще отрицательно, как я думаю, сказывается на развитии американской когнитивистики, то другая общая тенденция, а именно стремление сделать лингвистику "точной" наукой, а как следствие этого постоянная проверка предсказательной силы описания, является важнейшим фактором, стимулирующим ее развитие. Правда, сама по себе тенденция превратить лингвистику в точную науку в свое время способствовала отказу от ментализма как от чего-то, как тогда казалось, недоступного экспериментальной проверке, но одновременно сам по себе критерий предсказательности и помогает отбросить неправильные теоретические предпосылки. Так, например, в работах когнитивистов (см. прежде всего [Herskowitz 1988]) была блестяще показана недостаточность модели "простых" (пространственных) отношений, которая использовалась в компьютерной лингвистике, для объяснения функционирования в речи пространственных предлогов и наречий.

Необходимость опираться на принцип предсказуемости описания при работе над современными языками также осознается в европейской и, в частности, русской лингвистике (см. знаменитую работу Л.В. Щербы "О тройном аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании"). Однако широта внедрения этого принципа в практику семантических исследований представляется мне гораздо меньшей.

Формы применения эксперимента, проверяющие предсказательность полученного описания, естественно, зависят от того, что рассматривается в качестве объекта исследования. При принятом в американской лингвистике отождествлении значения с условиями истинности устанавливалось, правильно ли предсказывает предлагаемое описание эти условия. В когнитивных работах, несмотря на то, что изменилось понимание значения, сохранилось представление о том, что семантическое описание должно устанавливать все особенности употребления, и тот факт, что описание значения не предсказывает их полностью, заставил когнитивистов ослабить требование предсказательности. Так, Р. Лангакер пишет: "ожидать полную предсказуемость в большинстве случаев нереалистично: многое носит приблизительный характер (*much is a matter of degree*), и роль условий очень существенная" [Langacker 1988: 4].

Сказанное безусловно справедливо по отношению к возможностям употребления языковой единицы, но если значение языковой единицы – это концепт, т.е. явление

принципиально отличное от денотативной отнесенности и, больше того, если признать справедливым прозрения лингвистов психологической школы конца XIX и начала XX веков о том, что эти концепты соответствуют не уровню восприятия, а сформировались на более высоком уровне обработки и переработки (переосмысления) получаемой извне информации (см. об этом выше), то почему вообще ожидать от описания значения такой предсказуемости. Существование разных явлений, взаимодействующих в актах формирования и понимания речи, заставляет, как представляется, отдельно говорить о разных аспектах предсказательности. Во-первых, о способности семантического описания предсказывать само значение, т.е. то, как будет представлен денотат, если он будет обозначен описываемым языковым знаком (причем здесь учитывается только "вклад" самого знака, а не общего контекста, в котором он использован, или общих знаний о мире). Во-вторых, – о том, в какой степени само значение предопределяет денотативную отнесенность и вообще условия употребления языкового знака. В-третьих, – насколько полно предлагаемое семантическое описание учитывает все те факторы, которые наряду с значением влияют на возможности функционирования языкового знака в речи и, в частности, на его понимание.

В отношении самого значения, как я думаю, можно ожидать и требовать полную предсказательность. Понятно, что при доказательстве правильности постулируемой гипотезы относительно значения той или иной языковой единицы исследователь не может не обращаться к контекстным условиям ее употребления и к возможности ее соотношения с различными типами денотатов, но для этого достаточно отобрать так называемые "диагностирующие" контексты и денотативные ситуации. Свое понимание данной проблемы я рассмотрела в [Селиверстова 1980].

Говоря о предсказуемости семантического описания, нужно в то же время иметь в виду, что в самом значении могут быть заключены довольно неопределенные представления. Так, предложение *Иди прямо* совсем не означает, что нужно обязательно идти строго по прямой линии. Оно показывает лишь, что "результатирующее" движение должно приблизительно соответствовать прямой, что не исключает возможность временных небольших отклонений. Как я думаю, нет никакого основания считать, что допустимость подобных отклонений свидетельствует об искажении в речи "идеального" точного значения. Скорее есть основания говорить, что "точное" описание значения должно отразить содержащиеся в нем "приблизительные" представления.

Даже при отсутствии неопределенности в самом значении, степень выводимости из него обязательных и необходимых свойств денотатов в сильной степени зависит от ряда других характеристик отдельных значений. Так, очень обобщенный и абстрактный характер многих языковых концептов часто не позволяет полностью определять условия истинности употребления языковой единицы. Сюда, например, относятся большинство оценочных слов (*хороший, добрый, красивый, хорошенький* и т.п.), которые не содержат в своем значении строгих критериев, позволяющих определить, какие объекты соответствуют данным оценкам, а какие – нет. Далее, многие семантические представления, фактически связанные с количественными характеристиками, в языке определены лишь качественно. Отсюда естествен довольно большой разброс в субъективных представлениях о том, какое, например, именно расстояние связывается у разных говорящих с понятием близости, даже при заданном типе ситуации. Так, при том же самом расстоянии места жительства от метро оценка его как близкого или не близкого может расходиться у разных респондентов.

Подобно этому, хотя носители русского и английского языков осознают, что рассмотренное выше понятие "области", входящее в семантику предлогов *over, у, около, возле (стоять у шкафа)* предполагает наличие внешней границы, дальше которой оно не распространяется, место, где проходит эта граница, можно определить лишь приблизительно.

Неполная выводимость из значения языковой единицы его экстенционала определяется также, как справедливо отмечал Р. Лангакер, существованием конвенциональных употреблений. При этом, однако, неверно было бы считать, что они аб-

солютно произвольны. Поэтому важно выделить предпосылки их возникновения. Возможно, главный источник появления конвенциональных употреблений связан с существованием денотатов и денотативных ситуаций, которые по своим объективным свойствам допускают разное осмысление. Так, например, если место нахождения (Y) некоторого объекта (X) характеризуется наличием впадин и выпуклостей (горы, холмы и т.п.), то появляется потенциальная возможность "увидеть" ситуацию, с одной стороны, как нахождение X-а на поверхности Y-а и, следовательно, описать ее через предлоги типа *na, sur, on*, а с другой стороны – как нахождение внутри объемного слоя, создаваемого чередованием впадин и выпуклостей и, следовательно, описывать ситуацию через предлоги *в, dans, in*. При возникновении подобных "двусмысленных" ситуаций могут иногда допускаться разные способы их представления, но во многих случаях устанавливается единое для носителей данного языка конвенциональное представление ситуации. Например, русск. *в горах*, но: *на холмах; на Урале, на Кавказе*, англ. *in the mountains, in the hills*.

Существование конвенциональных осмыслений "двусмысленных" денотативных ситуаций свидетельствует о необходимости выделять особый уровень концептуализации, который предшествует ее обозначению через языковой знак [Селиверстова 1975: 11]. Среди когнитивистов данный уровень описания выделяется только Л. Талми. Он употребляет здесь термин "культурный предвыбор" [Talmy 1983].

Кроме перечисленных причин, определяющих неполную выводимость "правильной" денотативной отнесенности из семантического содержания значения, отмечу еще возможность расхождений в индивидуальном осмыслении мира отдельными говорящими. Например, слова Иешуа в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита" о том, что все люди добры, как бы противоречащие наблюдаемым фактам, определяются видением природы человека как исходно светлой, которая может лишь в той или иной степени исказиться внешними влияниями.

Таким образом, семантическое описание должно адекватно представлять само значение языкового знака, но не имеет полной предсказательной силы по отношению к условиям его функционирования. Особенности в денотативной отнесенности и сочетаемости, не выводимые прямо из значения, но присущие всем носителям языка, должны просто задаваться списком или через определенные модели сочетаемости. При этом, однако, существенно выявление причин появления конвенциональных употреблений, связанных, в частности, с интерпретацией "двусмысленных" ситуаций. Выделение таких ситуаций позволяет предсказать условия, в которых эти конвенциональные употребления могут возникнуть.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Баранов А.Н., Добровольский Д.О. 1996 – Постулаты когнитивной семантики. ИАН СЛЯ. Т. 55. 1996. № 6.
- Бондарко А.В. 1990 – Темпоральность // Теория функциональной грамматики: Темпоральность. Модальность. Л., 1990.
- Вежбицкая А. 1996 – Прототипы и инварианты. Язык. Культура. Познание. М., 1996.
- Виноградов В.В. 1986 – Русский язык. М., 1986.
- Демьянков В.З. 1994 – Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретирующего подхода // ВЯ. 1994. № 4.
- Кисевич В.Б. 1998 – О когнитивной лингвистике // Общее языкознание и теория грамматики. СПб., 1998.
- Кубрякова Е.С. 1994 – Начальные этапы становления когнитивизма: лингвистика–психология–когнитивная наука // ВЯ. 1994. № 4.
- Кубрякова Е.С. 2002 – Когнитивная лингвистика и проблемы композиционной семантики в среде словообразования // ИАН. СЛЯ. Т. 61. 2002. № 1.
- Маляр Т.Н., Селиверстова О.Н. 1993 – Понятие "пространства" и расстояния в семантике некоторых русских и английских предлогов и наречий // Типологические и сравнительные методы в славянском языкознании. М., 1993.

- Маляр Т.Н.* 1995 – О семантике предлога *over* // Концептуализация и когнитивное моделирование мира. Сб. научных трудов МГЛУ. № 430. М., 1995.
- Маляр Т.Н., Селиверстова О.Н.* 1998 – Пространственно-дистанционные предлоги и наречия в современном русском и английском языках. Мюнхен, 1998.
- Паришин Л.А.* 1991 – Предисловие // *Л. Талми.* "Отношение грамматики к познанию" // Вестник МГУ. Сер. 9. 1991. № 1.
- Потебня А.Н.* 1999 – Мысль и язык. М., 1999.
- Рахилина Е.В.* 2000 – О тенденциях в развитии когнитивной семантики – ИАН СЛЯ. Т. 59. 2000. № 3.
- Селиверстова О.Н.* 1975 – Компонентный анализ многозначных слов. М., 1975.
- Селиверстова О.Н.* 1976 – Об объекте лингвистической семантики и адекватности ее описания // Принципы и методы семантических исследований. М., 1976.
- Селиверстова О.Н.* 1980 – Некоторые типы семантических гипотез и их верификация // Гипотеза в современной лингвистике / Под ред. Ю.С. Степанова. М., 1980.
- Селиверстова О.Н.* 1990 – Контрастивная синтаксическая семантика. М., 1990.
- СЛТ 1966 – О.С. Ахманова. Словарь лингвистических терминов. М., 1966.
- Степанов Ю.С.* 1998 – Язык и метод. М., 1998.
- Brugman Cl., Lakoff J.* 1988 – Cognitive topology and lexical networks // *Lexical ambiguity resolution / W. Cottrell, M. Tanenhaus (Ed.).* Small St., 1988.
- Coventry K.R.* 1998 – Geometry, function, and the comprehension *over, under, above* and *below* // *Proceedings of the cognitive science society / M.A. Gernbacker, S.J. Derry (Ed.).* Mahwah (New Jersey); London, 1998.
- Herskovits A.* 1988 – Spatial expressions and the plasticity of meaning // *Topics in cognitive linguistics / B. Rudzka-Ostyn (Ed.).* Leiden, 1988.
- Lakoff J.* 1987 – *Women, fire, and dangerous things.* Chicago, 1987.
- Langacker R.W.* 1988 – A overview of cognitive grammar // *Topics in cognitive linguistics / B. Rudzka-Ostyn (Ed.).* Leiden, 1988.
- Talmy L.* 1983 – How language structures space // *Spatial orientation. Theory, research and application.* New York, 1983.
- Talmy L.* 1988 – The relation of grammar to cognition // *Topics in cognitive linguistics / B. Rudzka-Ostyn (Ed.).* Leiden, 1988.

© 2002 г. Л.П. КРЫСИН

**ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗАИМСТВОВАНИЕ
И КАЛЬКИРОВАНИЕ
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ***

I

С середины 80-х годов прошлого столетия наблюдается заметная интенсификация процесса заимствования и активизация употребления в речи ранее заимствованных слов и терминов. Этот процесс был неоднократно (и продолжает оставаться) объектом внимания в работах русистов (см., например [Брейтер 1997; Костомаров 1996; Феоклистова 1999] и др.), в том числе и в моих собственных [Крысин 1995; 1996].

Не повторяя содержания уже опубликованных работ, хочу все же кратко сформулировать причины и условия интенсификации процесса заимствования и подчеркнуть некоторые характерные его черты на современном этапе развития русского языка.

Прежде всего надо заметить, что внешнее влияние на язык почти никогда не оставляет общество равнодушным и нередко воспринимается носителями языка-реципиента (во всяком случае, частью из них) болезненно и нервно. Иноязычное слово может ассоциироваться с чем-то идеологически, духовно или культурно чуждым, даже враждебным и уж несомненно засоряющим язык, – как это было, например, в конце 40-х годов XX века во время борьбы с "низкопоклонством перед Западом" (подробнее об этом см. [Крысин 1968: 138–141]). Но бывают в истории общества и другие времена, когда преобладает более терпимое отношение к внешним влияниям и, в частности, к заимствованию новых иноязычных слов. Таким временем можно считать 80–90-е годы XX столетия, когда возникли такие политические, экономические и культурные условия, которые определили предрасположенность российского общества к принятию новой и к широкому употреблению ранее существовавшей, но специальной иноязычной лексики.

Вот некоторые из этих условий: осознание значительной частью населения России своей страны как части цивилизованного мира; преобладание в идеологии и официальной пропаганде объединительных тенденций над тенденциями, отражавшими противопоставление советского общества и советского образа жизни западным, буржуазным образцам; переоценка социальных и нравственных ценностей и смещение акцентов с классовых и партийных приоритетов на общечеловеческие; наконец, открытая ориентация на Запад в области экономики, политической структуры государства, в сферах культуры, спорта, торговли, моды, музыки и др. Все эти процессы и тенденции, характерные для русского общества второй половины 80-х – начала 90-х годов, несомненно, послужили важным стимулом, который облегчил активизацию употребления иноязычной лексики.

* Статья написана в рамках проекта "Русский язык на рубеже веков: активные процессы", получившего финансовую поддержку Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 01-06-80234). В основу статьи лег доклад, прочитанный автором на заседании ученого совета Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН 18 июня 2002 г.

Это легко проиллюстрировать сменой названий в структурах власти. В начале 90-х годов Верховный совет стал устойчиво (а не только в качестве журналистской перифразы) именоваться *парламентом*, совет министров – *кабинетом министров*, его председатель – *премьер-министром* (или просто *премьером*), а его заместители – *вице-преьерами*. В городах появились *мэры*, *вице-мэры*, *префекты*, *супрефекты*. Советы уступили место *администрациям*. Главы администраций обзавелись своими *пресс-секретарями* и *пресс-атташе*, которые регулярно выступают на *пресс-конференциях*, рассылают *пресс-релизы*, организуют *брифинги* и *эксклюзивные интервью* своих *шефов*...

Распад Советского Союза означал, в частности, и разрушение большей части преград, стоявших на пути к общению с западным миром. Активизировались деловые, научные, торговые, культурные связи, расцвел зарубежный туризм; обычным делом стала длительная работа наших специалистов в учреждениях других стран, функционирование на территории России совместных – русско-иностранных – предприятий. Очевидным образом это означало интенсификацию **общения** носителей русского языка с людьми, которые пользуются другими языками, что является важным условием не только для непосредственного заимствования лексики из этих языков, но и для приобщения носителей русского языка к интернациональным (а чаще – созданным на базе английского языка) терминологическим системам – например, в таких областях, как вычислительная техника, экономика, финансы, коммерция, спорт, мода, журналистика и др.

Так в русской речи, сначала в профессиональной среде, а затем и за ее пределами, появились термины, относящиеся к компьютерной технике: само слово *компьютер*, а также *дисплей*, *файл*, *интерфейс*, *принтер*, *сайт*, *чат* и мн. др., названия видов спорта (новых или по-новому именуемых): *виндсёрфинг*, *скейтборд*, *армрестлинг*, *кикбоксинг*, *фристайл*, *дайвинг* (подводное плавание с аквалангом) и др. Англицизмы пробивают брешь и в старых системах наименований: так, добавочное время при игре в футбол или в хоккей все чаще именуется *овертайм*, игра, в результате которой команда, потерпевшая поражение, выбывает из дальнейших соревнований, – *плей-офф*, и даже традиционное *боец* в кикбоксинге заменяется англицизмом *файтер*.

У всех на слуху многочисленные экономические и финансовые термины типа *бартер*, *брокер*, *ваучер*, *дилер*, *дистрибьютор*, *инвестиция*, *маркетинг*, *монетаризм*, *фьючерсные кредиты* и т.п. Многие из них заимствованы давно, но были в ходу преимущественно среди специалистов. Однако по мере того, как явления, обозначаемые этими терминами, становятся остро актуальными для всего общества, узкоспециальная терминология выходит за пределы профессиональной среды и начинает употребляться в прессе, в радио- и телепередачах, в публичной речи политиков и бизнесменов.

Активное заимствование новой и расширение сферы употребления ранее заимствованной иноязычной лексики происходит и в менее специализированных областях человеческой деятельности. Достаточно напомнить такие широко используемые сейчас слова, как *имидж*, *презентация*, *номинация*, *спонсор*, *видео*, *шоу* (и их производные: *видеоклип*, *видеотехника*, *видеокассета*, *видеосалон*; *шоу-бизнес*, *ток-шоу*, *шоумен*), *триллер*, *хит*, *дискотека*, *диск-жокей* и множество других.

Среди причин, которые способствуют столь массовому и относительно легкому проникновению иноязычных неологизмов в наш язык, определенное место занимают причины социально-психологические. Многие носители языка считают иностранное слово более **п р е с т и ж н ы м** по сравнению с соответствующим словом родного языка: *презентация* выглядит более респектабельно, чем привычное русское *представление*, *эксклюзивный* – лучше, чем *исключительный*, *топ-модели* – шикарнее, чем *лучшие* модели, хотя, надо сказать, здесь намечается некоторое смысловое размежевание "своего" и "чужого" слов: *презентация* – это **т о р ж е с т в е н н о е** пред-

ставление фильма, книги и т.п.; *эксклюзивным* чаще всего бывает *интервью* или *право* на что-либо, хотя наблюдается и расширение лексической сочетаемости подобных слов.

Ощущаемый многими большой социальный престиж иноязычного слова, по сравнению с исконным, иногда вызывает явление, которое может быть названо **повышение в ранге**: слово, которое в языке-источнике именуется обычным, "рядовой" объект, в заимствующем языке прилагается к объекту, в том или ином смысле более значительному, более престижному. Так, во французском языке слово *boutique* значит 'лавочка, небольшой магазин', а будучи заимствовано (возможно, через посредство английского) нашими модельерами и коммерсантами, оно приобретает значение 'магазин модной одежды': *Одежда от Юдашкина продается в бутиках Москвы и Петербурга*. Примерно то же происходит с английским словом *shop*: в русском языке название *шоп* приложимо не ко всякому магазину, а лишь к такому, который торгует престижными товарами, преимущественно западного производства (обычный продмаг никто *шопом* не назовет). Английское *hospice* 'приют, богадельня' превращается в *хоспис* – дорогостоящую больницу для безнадежных больных с максимумом комфорта, облегчающего процесс умирания. И даже итальянское *puttana*, оказавшись в русском языке, обозначает не всякую проститутку (как в итальянском), а главным образом валютную.

При выявлении причин лексического заимствования и активного использования в русской речи тех или иных иноязычных слов нельзя сбрасывать со счетов и фактор **моды**. То или иное слово нередко становится модным, часто и навязчиво употребляемым (как это было, например, со словом *консенсус* в начале 90-х годов). Определенные события международного характера могут стимулировать употребление какого-либо слова или группы слов. Так, например, во время розыгрыша кубка мира по футболу летом 2002 года наблюдался всплеск употребительности иноязычного неологизма-существительного *мондиаль* (ср. англ. *mondial* и франц. *mondiale* – то и другое в значении 'мировой, всемирный') – с неустойчивой родовой отнесенностью и расхождениями в фонетико-орфографическом облике: ср. *предыдущая мондиаль* (ТВ. 16 июня 2002) – *...официальный мяч мондиалья-2002* (МК. 17 июня 2002). В это же время на страницах газет, в особенности спортивных, о футболистах Бразилии, которые становились чемпионами мира четыре раза, писали как о *тетракампеонах* (слово заимствовано, по-видимому, из португальского, где оно восходит к греч. *tetra* 'четыре' и порт. *campeon* 'чемпион'); ср. в интервью с бывшим спартаковцем Ю. Севидовым: "Проще говоря, *тетракампеоны* выступили в роли учителей одной из лучших команд Европы, которой смело можно назвать сборную с Туманного Альбиона" – и дальше, в реплике журналиста-интервьюера: "Похоже, вы выводите *тетракампеонов* в фавориты" (Новая газета. 2002. № 44).

В самом процессе лексического заимствования следует отметить тенденцию к интернационализации как словаря, так и способов образования слов. Расширение интернационального лексического фонда идет путем заимствования иноязычной лексики и создания новых слов на основе интернациональных морфем. Интернационализация лексики различных языков достигла сейчас такого уровня, при котором многие слова, а также корневые и аффиксальные морфемы оказываются общими для разных языковых систем. По происхождению они либо восходят к греческому и латинскому источникам (ср. *анти-*, *-ация*, *видео-*, *космо-*, *-метр*, *супер-* и др.), либо являются заимствованиями из современных живых языков, преимущественно из английского: ср. *тайм-*, *шоу-*, *-инг*, *-мен*, *секс-*, *-гейт* (*уотергейт*, *ирангейт*, *кремльгейт* и под.), *-мейкер* (*имиджмейкер*, *клипмейкер*, *нюсмейкер* и под.) и др. Интернационализируется не только словарный состав, но и способы объединения морфем в цельнооформленное слово: ср., например, вполне сопоставимую активность именных суффиксов *-or/-er* в английском и *-(m)opl/-(m)ep* в русском, глагольных *-ieren*,

-isieren в немецком и -ировать, -изировать в русском, суффиксов прилагательных -able в английском и французском и -абельн(ый) в русском.

В связи с увеличением числа новых заимствований усложняются семантические отношения между близкими по значению исконными (или ранее заимствованными) и новыми иноязычными лексемами. В частности, весьма характерны специализирующие, уточняющие номинации: *римейк* в значении 'переделка' (термин кино), *менеджер – спонсор – продюсер – промоутер; магазин – лавка – шоп* (= торгует в основном заграничными товарами) – *бутик* ('магазин модной одежды'); *запись* (звука, музыки, речи) – *фонограмма* (главным образом, на эстраде) – *саундтрек* (в кино); *ярлык – этикетка – лейбл – бренд* и т.п. Происходит дифференциация значений иноязычного и исконного или ранее заимствованного, распределение членов таких рядов по сферам деятельности или сферам общения: *дорога – шоссе* ('дорога с твердым покрытием') – *автострада* ('дорога с твердым покрытием без поперечных наземных переездов и переходов') – *автобан* ('дорога с твердым покрытием без поперечных наземных переездов и переходов для скоростного движения автомобилей') – *хайвей* ('дорога с твердым покрытием без поперечных наземных переездов и переходов для скоростного одностороннего движения автомобилей'); *убийца – киллер* (профессиональный убийца); *профессионал – профи* (только в спорте), *фанатик – фанат* (в футболе) – *фан* (преимущественно в музыкальной жизни); *лицо – фейс* (шутливо, в определенных контекстах – ср. молодежные обороты типа *фейсом не вышел, фейсом об тейбл*) и т.п.

Наплыв иноязычной лексики в русский язык, естественно, должен получить (и получает) нормативную оценку: не вредит ли такое обилие "чужой" лексики самобытности языка? насколько уместны те или иные слова и термины в определенных условиях речевой коммуникации? насколько "законны" требования подыскивать русские синонимы к иностранным словам (не нарушается ли тем самым естественный ход языковой эволюции)? и т.д. Однако все эти вопросы – предмет специального рассмотрения, и в данной статье они не обсуждаются. Впрочем, от негативной оценки одного из наблюдаемых сейчас явлений в области иноязычного заимствования не могу удержаться: я имею в виду употребление некоторыми группами говорящих – в основном, представителями молодежи – английских по происхождению междометий: *вау, опс* и под. Как кажется, разного рода "коммуникативная мелочь" – союзы, частицы, предикативные наречия и в особенности междометия – составляют наиболее специфичную и консервативную часть каждого национального языка и с трудом пропускают в свой круг "чужаков", поэтому иноязычные междометия, по-видимому, не имеют шансов закрепиться в общем употреблении¹.

II

При изучении иноязычного влияния на русский язык теме "кальки" и процессам калькирования традиционно уделяется меньшее внимание, чем лексическим заимствованиям. Этому есть по крайней мере два объяснения: во-первых, калек в языке (не только современном, но и, например, русском языке XIX века) несравнимо меньше, чем заимствований. Во-вторых, кальки трудно выявить: неясны критерии, по которым то или иное слово или словосочетание следует признать результатом иноязычного влияния, а не продуктом процессов, происходящих в русском языке в соответствии с

¹ Ср. противоположное мнение, высказанное одним из рецензентов словаря [Крысин 1998]: упрекая составителя словаря в том, что он не включил в словник «такие частотные в современном русском речевом обиходе междометия, которые явно пришлись по вкусу, – *вау* (англ. *wow* – первоначально: возглас восхищения в театре), *опс* = *упс* (англ. *oops* = *hoop* = *whoop*), *бла-бла-бла* (англ. *bla-bla-bla*), *шит* (англ. *shit* "дерьмо")» – рецензент полагает, что «данные междометия прочно и надолго "обосновались" в русском языке» [Зеленин 2002: 139].

его собственными закономерностями развития. Например, часто обсуждаемый сейчас русистами жаргонизм *крутой*, *круто* (*крутой парень*, *это круто!*) обычно квалифицируется как калька английских *cool* или *tough* (см., например [Крысин 1996: 161; Ермакова, Земская, Розина 1999: 87]). Но что мешает нам считать это значение слов *крутой*, *круто* результатом саморазвития их семантики? Ср. сочетания типа *крутые меры*, *крутой характер* и т.п.: от того значения слова *крутой*, которое реализуется в подобных сочетаниях (оно формулируется в [СОШ–1997] как ‘суровый, строгий’), – один и вполне органичный шаг к значению, которое в этом же словаре толкуется – впрочем, не совсем точно – как ‘решительный и быстрый, а также вообще оставляющий сильное впечатление’. Выражение *зелёный свет* в контекстах типа *дать зелёный свет каким-либо начинаниям, новшествам* в точности соответствует переносному значению английского оборота *green light*. Стало быть, это калька? Но вполне возможно, что это – перенос значения “внутри” русского языка: от прямого, “автодорожного” значения словосочетания *зелёный свет* – к переносному.

Однако во многих случаях, как кажется, кальки все же поддаются идентификации – как по чисто лингвистическим, так и по эстралингвистическим основаниям. Тем самым задача выявления и изучения калькированных языковых единиц остается не только актуальной, но и вполне решаемой.

Каковы же эти основания?

Во-первых, кальки отличаются тем, что в них реализуются какие-то нехарактерные, неорганичные для данного языка черты – либо в формальной, либо в содержательной стороне слова, словосочетания. Например, для русского словообразования конца XIX – начала XX в. было вполне нормально соединение приставки *сверх-* с прилагательными (*сверхъестественный*, *сверхскоростной* и т.п.) и нехарактерно соединение с существительными, как это имеет место в кальке *сверхчеловек* – с нем. *Übermensch*. В сочетании *синий чулок*, которое является калькой с английского оборота *bluestocking*, употребление прилагательного *синий* никак не мотивировано ни прямым, ни переносными значениями этого прилагательного.

Во-вторых, при определении кальки важно обращение к внеязыковой действительности: если само обозначаемое данным словом или словосочетанием явление пришло к нам извне, то можно с большой вероятностью предположить, что и его наименование – либо “материальная” иноязычная единица (то есть лексическое или фразеологическое заимствование), либо калька. Например, словосочетание *сезонный билет* – скорее всего, калька, поскольку эта реалья была заимствована нами из стран Западной Европы, и ее название в точности соответствует английскому обороту *season ticket* (по-русски то же самое обозначается как *месячный билет* или *проездной билет*). Слово *самообслуживание* (в словосочетании *магазин самообслуживания*) следует считать словообразовательной калькой английского *selfservice*, так как сама реалья – магазины самообслуживания – была заимствована нами, по-видимому, или непосредственно из США, или из стран европейского Запада (где она тоже – из США).

Если сравнивать современный этап развития русского языка с предшествующими этапами, то надо отметить различие в типах калек. В XIX – начале XX в. преобладали кальки словообразовательные типа: *сверхчеловек* (нем. *Übermensch*), *себестоимость* (нем. *Selbstkosten*), *скоросшиватель* (нем. *Schnellhefter*), *работодатель* (нем. *Arbeitsgeber*), *небоскрёб* (англ. *skyscraper*) и т.п. (см. об этом: [Флекенштейн 1963; Грановская 1981: 226 и сл.]); основным их источником был немецкий язык. Отмечены также сравнительно немногочисленные семантические кальки – типа *гвоздь* (в сочетаниях *гвоздь выставки*, *гвоздь театрального сезона* и под. – под влиянием французского *clou*), *платформа* ‘программа, совокупность принципов политической партии’ – под влиянием нем. *Plathform* в том же значении, и нек. др. [Грановская 1981: 294–295].

В русском языке наших дней преобладают кальки семантические и сочетаемостные, а главным их источником является английский язык (преимущественно в его американском варианте). При этом основными сферами появления калек являются сферы дипломатии, политики, спорта, моды и нек. др., а распространяют их, внедряют в широкое употребление средства массовой информации.

Приведем примеры калек, появившихся в последние два-три десятилетия.

Семантические кальки:

- **высокий** в знач. 'лучший, элитный' (ср. франц. *haut*) – первоначально только в сочетании *высокая мода* (франц. *haute couture*), а затем появляются другие сочетания со словом *высокий* в этом значении: *высокие технологии* (ср. англ. *high technology*) и даже *высокая стоматология* (в тексте рекламы);
- **теневой** в значении 'незаконный', а также 'не стоящий у власти'²: *теневая экономика, теневой бизнес, теневой кабинет (министров)* (< англ. *shadow economy, shadow business, shadow cabinet*);
- **формат** в знач. 'характер, вид, форма' (*Встреча прошла в обновленном формате; Новый формат передачи телевизионных новостей*) – под влиянием англ. *format* в том же значении (в русских словарях слово *формат* толкуется только как 'размер печатного издания, тетради, листа' – см., напр. [СОШ–1997]);
- **конференция** в знач. 'спортивный союз, спортивная ассоциация' (*Хоккейная команда из западной конференции*) – под влиянием англ. *conference*, которое в американском варианте английского языка имеет именно такое значение (наряду с другими). Возможно иноязычное влияние также в возникновении спортивного термина *легионер* 'игрок в составе футбольной, хоккейной и т.п. команды, приглашенный из команды другой страны' – по-видимому, как "незаконное" производное от *league* 'лига' (поскольку в словах *лига* и *легионер* – этимологически, семантически и фонетически разные корни), но возникло это производное значение у русского слова *легионер*, а не у англ. *legionary*, которое таким значением не обладает;
- **ястреб** в знач. 'сторонник жёсткой, обычно реакционной политики' – под влиянием этого же значения у англ. *hawk*; у русского слова *ястреб* в его прямом значении отсутствуют коннотации, на основании которых могло бы возникнуть это переносное значение (ср. наличие отрицательной коннотации у слова той же тематической группы *стервятник*);
- **монстр** наряду с традиционным отрицательно-оценочным значением 'чудовище, урод' (в этом значении слово заимствовано из французского языка) приобрело значение положительно-оценочное 'нечто чрезвычайно значительное, выдающееся' (напр., *монстры кинобизнеса*), уже зафиксированное в словарях (см. [Крысин 1998]), – несомненное влияние семантики английского слова *monster*;
- **продвинутый** в значении 'находящийся на более высоком уровне, чем раньше; более совершенный' (*продвинутый этап работы, продвинутый курс обучения*) – калька с англ. *advanced*;
- по-видимому, под влиянием английского языка появился некий семантический сдвиг у глагола *шокировать*, которое было заимствовано в XIX в. из французского языка и традиционно употребляется в значении 'приводить (привести) в смущение нарушением правил приличия, общепринятых норм' [СОШ–1997]; теперь же нередко этот глагол употребляется как синоним глаголов *поражать, потрясать* (ср. соответствующее значение у англ. глагола *to shock*, также, по-видимому, заимствованного из французского);

² Здесь и далее при толковании значений английских прототипов используются данные "Нового большого англо-русского словаря" [НБАРС] и "Англо-русского словаря американского сленга" [АРСАС].

- *зелёные* – о долларах (ср. англ. жаргонное *green* в этом же значении); впрочем, возможен и самостоятельный метафорический перенос значения у прилагательного *зеленый* – по цвету американских долларов; ср. основанную на том же признаке жаргонную метафору *капуста* – ‘деньги’, первоначально об американских долларах.

Сочетаемость калек:

- *горячая линия* (в системах связи; калка с англ. *hot line*);
- *горячая точка* (о территории, где ведутся военные действия; калка с англ. *hot spot*);
- *утечка мозгов* (< англ. *brain drain*);
- *промывание мозгов* (< англ. *brainwashing*);
- *отмывать деньги* (< англ. *to launder money*)³;
- *шоковая терапия* (< англ. *shock therapy*);
- более ранние: *холодная война* (< англ. *cold war*), *денежный мешок* (< англ. *moneybag*), *делать деньги* (< англ. *to make money*), *заниматься любовью* (< англ. *to make love*)⁴ и т.п. (см. работу [Феоклистова 1999], где дан перечень и классификация лексико-фразеологических калек с английского, появившихся в последние десятилетия XX века).

Можно отметить также иноязычное (английское) влияние в употреблении форм множественного числа от некоторых существительных, которые традиционно употреблялись в единственном числе: *вооружения* (*гонка вооружений* – ср. англ. *arms race*), *мирные инициативы* (ср. англ. *peace initiatives*) и нек. др.

Некоторые группы лексики особенно активны в формировании устойчивых сочетаний, которые по происхождению являются калками. Одна из таких групп – прилагательные со значением цвета.

Почти все прилагательные цвета имеют переносные значения, и часть этих значений – результат иноязычного влияния. Так, словосочетание *черный рынок* – калка с немецкого *Schwarzmarkt*; *черный список*, *черный шар* (при голосовании)⁵, *черный юмор* – калки с англ. *black list*, *black ball*, *black humour* (впрочем, в последнем случае возможно также влияние французского оборота *humour noir*). Ныне устаревший газетный штамп *черное золото* (= нефть) – тоже, скорее всего, журналистская калка с английского *black gold*. Устойчивые сочетания *белая книга* и *красная книга* – калки соответственно английских оборотов *white book*, *red book* (откуда пришли и обозначаемые этими оборотами реалии). Словосочетанию *желтая пресса* соответствует английское *yellow press*, словосочетание *серый кардинал* – калка с англ. *grey eminence*; это же определение фигурирует в более специфическом и не часто употребляемом словосочетании *серый импорт* в значении ‘полулегальный импорт’ (ср. англ. *grey import*).

Весьма продуктивное при образовании словосочетаний с переносным смыслом английское прилагательное *blue* послужило основой для калек *голубая кровь*, *синий чулок* (ср. англ. *blue blood*, *bluestocking*). Однако другим сочетаниям с этим прилагательным в русском языке соответствуют словосочетания с прилагательным *белый*

³ Буквально: с т и р а т ь деньги; по одной из версий, в американском английском это выражение возникло потому, что деньги, полученные незаконным путем, в США впервые начали легализовать через систему прачечных.

⁴ Ср. эмоциональную оценку этого словосочетания носителем русского языка: «...глухие к языку "озвучиватели" сериалов стали вколачивать калку с английского "пойдем займемся любовью", что для русской речи абсолютно невозможно. Любовь чувствуют, переживают, но ею нельзя заниматься» (А. Минкин. Звезды дяди Вани. – МК. 22 марта 2002).

⁵ Когда такая демократическая процедура, как голосование, получила распространение и в России, никаких ш а р о в как инструментов голосования не было – голосовали бюллетенями.

(напр., английскому *blue bear* соответствует русское *белый медведь*, *blue ticket* – *белый билет*, *blue devils* – *белая горячка*).

Таковы некоторые наблюдения над кальками последних десятилетий. Естественно, эти наблюдения будут продолжены в рамках коллективной работы "Русский язык на рубеже веков: активные процессы".

В заключение следует сказать, что иноязычное влияние на русский язык в изучаемый период более многообразно и интенсивно, чем в предшествующие десятилетия XX века. Оно требует углубленного и детального изучения, учитывающего как сравнительно легко обнаруживаемые лексические заимствования, так и разные формы с к р ы т о г о влияния других языков на русский – не только в лексике, но и, например, в словообразовании, синтаксисе, в просодическом рисунке высказываний и в их коммуникативной организации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- АРСАС – Англо-русский словарь американского сленга / Перевод и составление Т. Ротенберг и В. Иванова. М., 1994.
- Брейтер М.А.* 1997 – Англицизмы в русском языке. М., 1997.
- Грановская Л.М.* 1981 – Развитие лексики русского литературного языка в 70-е годы XIX – начале XX века // Лексика русского литературного языка XIX – начала XX века. М., 1981.
- Ермакова О.П., Земская Е.А., Розина Р.И.* 1999 – Слова, с которыми мы все встречались. Толковый словарь русского общего жаргона. М., 1999.
- Зеленин А.В.* 2002 – ВЯ. 2002. № 1 – Рец.: Л.П. Крысин. Толковый словарь иноязычных слов.
- Костомаров В.Г.* 1996 – Русский язык в иноязычном потоке // Русский язык за рубежом. 1996. № 2.
- Крысин Л.П.* 1968 – Иноязычные слова в современном русском языке. М., 1968.
- Крысин Л.П.* 1995 – Языковое заимствование: взаимодействие внутренних и внешних факторов (на материале русского языка современности) // Русистика сегодня. 1995. № 1.
- Крысин Л.П.* 1996 – Иноязычное слово в контексте современной общественной жизни // Русский язык конца XX столетия (1985–1995) / Отв. ред. Е.А. Земская. М., 1996.
- Крысин Л.П.* 1998 – Толковый словарь иноязычных слов. М., 1998.
- НБАРС – Новый большой англо-русский словарь. Т. 1 / Под общим руководством Э.М. Медниковой и Ю.Д. Апресяна. Тт. 2–3 / Под ред. Ю.Д. Апресяна. М., 1993–1994.
- СОШ–1997 – Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1997.
- Феоκлистова В.М.* 1999 – Иноязычные заимствования в русском литературном языке 70–90-х гг. XX века. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Тверь, 1999.
- Флехенштейн К.Ф.* 1963 – Кальки по немецкой модели в современном русском литературном языке. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1963.

© 2002 г. Е.В. УРЫСОН

СОЮЗ ХОТЯ СКВОЗЬ ПРИЗМУ СЕМАНТИЧЕСКИХ ПРИМИТИВОВ*

ВВЕДЕНИЕ

0.1. Объект исследования. Предлагаемая работа посвящена союзу *хотя* – основному (наряду с *хоть* и *несмотря на то что*) уступительному союзу русского языка. Этот союз многократно рассматривался в грамматике как средство оформления уступительных придаточных предложений. Мы сосредоточимся на семантике союза *хотя*, а кроме того, обсудим значение его синонима *несмотря на то что*.

Союз *хотя* полисемичен. Приведем примеры.

(1) *Хотя на улице было много детей (Q), Ваню повели гулять (P).*

(2) *Мальчики говорили шепотом (P), хотя в квартире никого не было (Q).*

Во фразах (1)–(2) союз *хотя* выступает в своем центральном, уступительном, значении, т.е. в них представлена лексема *хотя* 1¹. Принято говорить, что придаточное Q, вводимое этим союзом, выражает некоторое препятствие для осуществления ситуации, описываемой главным предложением P. Так, большое количество детей на улице – это препятствие для Ваниной прогулки.

В следующих примерах союз *хотя* имеет, очевидно, другое значение, т.е. в них представлена лексема *хотя* 2, ср.:

(3) *Хотя мальчики говорили шепотом (Q), в квартире никого не было (P);*

(4) *Хороши такие летние туманные дни (P), хотя охотники их не любят (Q)* (И.С. Тургенев).

Во фразах (3)–(4) ситуация Q, описываемая придаточным, отнюдь не является препятствием для осуществления ситуации P. Здесь соотношение между P и Q обратное: препятствие образует ситуация, описываемая главным предложением P, ср. пример (3) с примером (2). Принято говорить, что во фразах типа (3)–(4) союз *хотя* имеет противительное значение и близок союзу *но*.

В следующих примерах представлена, очевидно, еще одна лексема слова *хотя*, ср.:

(5) *Дед жил тогда с нами на даче (P). Хотя ты был тогда маленьким и, конечно, этого не помнишь (Q);*

(6) *Петровы переехали и своего нового адреса не оставили (P). Хотя спросите у соседей напротив, может быть, они больше знают (Q).*

В данных примерах ни ситуация P не может интерпретироваться как препятствие для ситуации Q, ни, наоборот, ситуация Q не может быть препятствием для P.

Данная лексема *хотя* 3 обладает ярко выраженной синтаксической спецификой. Предложение Q, вводимое ею, может располагаться только после предложения P,

* Автор благодарит Е.Э. Бабаеву и Р.И. Розину за конструктивные замечания по первому варианту статьи. Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 0204-00-306А) и РФФИ (проект № 00-15-98866).

¹ В соответствии со словоупотреблением Московской семантической школы мы называем лексемой слово в его данном значении.

причем, как правило, отделяется от него достаточно большой паузой (на письме предложения Р и Q разделяются точкой). Тем самым, лексема *хотя* 3 занимает промежуточное положение между обычным союзом и фразовой частицей.

Более детальный анализ может показать, что союз *хотя* обладает еще какими-то значениями. Так, в следующих примерах представлена, по-видимому, особая лексема союза *хотя*, ср.:

(6а) *Она умная, хотя очень злая;*

(6б) *Пьера поразила скромность маленького, хотя и чистенького домика* (Л. Толстой).

Но слово *хотя* может функционировать не только как союз, но и как усилительная частица. Ср. примеры из [МАС 1985–1990]:

(7а) *Ну, что же? – продолжает Кошка, – / Пропой, дружок, хотя немножко* (И.А. Крылов);

(7б) *Мы не знаем даже, прочел ли Батюшков хотя одно стихотворение Пушкина* (В.Г. Белинский).

Усилительная частица *хотя* стилистически отмечена как устаревшая – в современном языке в подобных случаях употребляется *хотя бы* или *хоть*. Ср.: *Нужно выучить хотя бы (хоть) одно стихотворение Пушкина*. Что касается союза *хотя*, то он стилистически нейтрален.

Объект нашей работы – союз *хотя* в его центральном значении, ср. примеры (1)–(2). Остальные лексемы этого союза, а также частица *хотя*, представленная в примерах типа (7), пока остаются за рамками нашего исследования.

0.2. Основные проблемы описания уступительного значения. Хорошо известно, что грамматический термин "уступительное значение (предложение)" коренным образом отличается от, казалось бы, аналогичных терминов типа "целевое значение (предложение)", "причинное значение (предложение)", "временное значение" и т.п. Действительно, слово "причинный" указывает на значение 'причина', слово "целевой" – на значение 'цель', "временной" – на значение 'время' и т.п. Тем самым, охарактеризовав некоторое предложение или слово как, скажем, целевое, исследователь утверждает, что в его семантику входит значение цели.

Термин "уступительный", очевидно, тоже указывает на некое значение. Но данное слово не называет это значение напрямую, а является лишь его общепринятой меткой, неким условным ярлыком. Когда говорят, что какое-то слово или предложение выражает значение уступительности, то само это значение остается неэксплицированным. Что же это за значение? Может быть, значение уступки? Но говоря так, мы употребляем слово *уступка* не как общепринятое русское слово, а как сокращенный вариант термина "уступительность". Для того чтобы выяснить, какие компоненты значения русского слова *уступка* выражаются в так называемых уступительных предложениях типа (1)–(2), требуется далеко не тривиальный анализ.

По-видимому, проблемы описания семантики уступительности, в частности союза *хотя*, в определенной степени связаны с условностью, "непрозрачностью" самого данного термина. Очертим главные из этих проблем, а для этого обратимся к некоторым работам, посвященным уступительному значению.

В работе А.В. Богомоловой [Богомолова 1955] справедливо отмечается, что уступительное придаточное описывает препятствие для ситуации, представляемой в главном предложении. Но коль скоро эта ситуация все-таки осуществилась, значит, есть некая причина, превосходящая данное препятствие. Ср. пример (из М. Горького): *И хотя он был красив* (Q) [препятствие действию], *она оттолкнула его* (P) [действие], *потому что боялась отца* (R) [причина, превосходящая препятствие]. Тем самым, выделяются следующие три компонента уступительного значения: "действие" (выражается главным предложением, т.е. P), "препятствие действию" (выражается уступительным придаточным, т.е. Q), "причина, превосходящая препятствие" (выражается в широком контексте, ср. придаточное предложение R в примере выше).

Цитированная работа наводит на мысль, что уступительные союзы являются трехместными предикатами, т.е. в их толковании должно быть три переменные: одна (Q) соответствует "препятствию", выражаемому уступительным придаточным, вторая (P) – ситуация, реализовавшаяся вопреки этому препятствию и описываемой главным предложением, а третья (R) – "причине, превосходящей препятствие", которая описывается, возможно, за пределами данного сложноподчиненного предложения, в достаточно широком контексте.

Попытка выявить общую схему уступительного значения и, следовательно, описать актантную структуру соответствующих слов предпринята в работе [В. Апресян 1999]. В семантике большинства уступительных слов, в частности – в значении союза *хотя* и его синонимов *хоть*, *несмотря на то что* и т.п., компонент типа "причина, превосходящая препятствие" не выделяется. Однако он усматривается в значении некоторых уступительных частиц (например *как-никак*), которые признаются трехместными предикатами. Существенно, что у слов данного класса не постулируется единая актантная структура.

В работе [Теремова 1986] внутри уступительного значения выделяются четыре основных компонента. Три из них полностью соответствуют компонентам, выделенным А.В. Богомоловой. Четвертый компонент – это ожидаемое, но не реализовавшееся следствие 'не-Р' из ситуации, описываемой придаточным (Q). Ср. *И хотя он был красив (Q), она оттолкнула его (P)* [ожидаемое следствие – не-Р, т.е. 'она не оттолкнет его'], *потому что боялась отца (R)*.

Именно этот компонент – его часто называют "импликация" – считается основным компонентом семантики уступительности в целом ряде работ, в особенности, типологических, ср., например, [König 1988; Храковский 1998]. Этот подход развивается и в монографии М.В. Ляпон: "высказывание *Мальчик с пальчик, хотя был мал, но был очень ловок и хитер* строится на априорной истине 'если мал, значит не ловок, не хитер' (<...>, которая опровергается актуальной истиной 'мал и в то же время ловок и хитер', соответствующей реальному положению дел" [Ляпон 1986: 137]. Исходя из предлагаемых описаний, можно предложить следующее толкование протитипической уступительной конструкции типа *Хотя был дождь (Q), мы пошли гулять (P)*²: 'имеет место Р и имеет место Q; обычно если имеет место ситуация типа Q, то не имеет место ситуация типа Р'.

Сближение уступительных и условных предложений вполне традиционно, ср. [Лавров 1941; König 1988; Евтюхин 1996]. Оно основано не только на исследовательской интуиции, но и на реальных языковых фактах. Приведем один из них.

Хорошо известно (см., например [Лавров 1941]), что древнерусский союз *аще* имел разные значения, причем в одном из своих значений он являлся условным, а в другом – уступительным. Ср. *аще на ны приду^т бьемся с нимь* (Лаврентьевская летопись, 336; цит. по [Лавров 1941: 53]) 'если нападут на нас – бьемся с ними', здесь *аще* = 'если'; *доброму сему и преудобренному ш^трокоу, аще и в мирьст^тм оустроении живоушоу емоу тогда, но оба^ч Б^гъ свыше призираше на него* (Житие преподобного ... Сергия Чудотворца списано бысть от Елифания XV в.; цит. по [Лавров 1941: 117]) – 'хотя он жил тогда в миру, но Бог призирает на него свыше', здесь *аще* = 'хотя'. Разумеется, при синхронном описании современной семантики исследователь не обязан привлекать историю слов – он исходит из фактов данного состояния языка. Однако если значения 'хотя' и 'если' столь тесно связаны, что могут выражаться в пределах одного многозначного слова, то значит между ними есть семантические мосты, которые должны быть эксплицированы в описании данных союзов.

Такое описание как будто и предлагается в [Ляпон 1986; König 1988; Храковский 1998]. Мы, однако, продемонстрируем, что оно не вполне адекватно, и предложим более точное толкование лексемы *хотя* 1.

² Ср. [König 1988; Храковский 1998]; приводим с несущественным упрощением.

1. **Идея нарушения обычного порядка вещей.** Вернемся к примерам, в которых союз *хотя* выступает в своем центральном, уступительном, значении³: (1) *Хотя на улице было много детей (Q), Ваню повели гулять (P)*; (2) *Мальчики говорили шепотом (P), хотя в квартире никого не было (Q)*.

Сосредоточимся на примере (1). Союз *хотя* указывает здесь на нарушение обычного, принятого распорядка Ваниной жизни: в (1) сообщается не только то, что на улице было много детей и что Ваню повели гулять, но и то, что обычно в таких случаях Ваню не выводят. Действительно, если элиминировать из (1) союз *хотя*, то полученная фраза будет содержать лишь перечисление ситуаций и не передаст соответствующую информацию, ср.:

(8) *На улице было много детей (P), Ваню повели гулять (Q)*.

Следовательно, в семантической структуре высказывания (1) имеется следующий компонент

(1a) 'Обычно если на улице много детей, то Ваню не выводят гулять'.

Высказывание (1) осмысленно, если суждение (1a) истинно. Тем самым, компонент (1a) по определению входит в семантическую пресуппозицию высказывания (1)⁴.

Ясно, что внутри компонента (1a) содержится и какой-то фрагмент значения союза *хотя*. Этот фрагмент значения естественно представить так:

(9) 'Обычно если имеет место ситуация Q, то ситуация P не имеет место' или, в краткой форме:

10) 'Обычно если Q, то не-P'.

Во фразе (1) говорится о двух конкретных ситуациях P и Q, а в ее пресуппозиции, т.е. в компоненте (1a) ее семантической структуры, представлены обобщенные классы ситуаций: на улице бывает много детей, и в таких случаях Ваню обычно не

³ Придаточное уступительное P может находиться как в препозиции, так и в постпозиции к главному предложению, ср. примеры (1)–(2). При этом если придаточное стоит в препозиции, то в некоторых случаях главное предложение предваряется союзом *но*. Ср. *Хотя она [пивная] помещалась на одной из самых людных улиц (P), но найти ее было довольно трудно (Q)* (А.И. Куприн). Иногда союз *но* факультативен, как в приведенном примере, где его можно опустить. Ср. *Хотя она [пивная] помещалась на одной из самых людных улиц (P), найти ее было довольно трудно (Q)*. Иногда союз *но* почти обязателен, ср. *Хотя в школе она училась хорошо (P), но институт так и не закончила (Q)*. А иногда, наоборот, союз *но* перед главным предложением нежелателен, ср. не вполне гладкий пример *Хотя было больно (P), но Петя не плакал (Q)*. Тонкие синтаксические и коммуникативные факторы, влияющие на выбор позиции придаточного относительно главного, а также на наличие *но* перед главным предложением, обсуждаются в [Фужерон 1998; Николаева, Фужерон 1999]. Как отмечается в [Ляпон 1986], главное предложение может вводиться не союзом *но*, а единицей типа *однако, зато, тем не менее* и т.п. Ср. примеры из [Ляпон 1986: 140]: *Хотя люди [за обедом] собрались не слишком подходящие, ссорящиеся и ссорившиеся, однако минута была очень трогательная* (А. Блок); *Мам! придумывала и рисовала, не стесняясь законами перспективы, отношений, правдоподобия... И хотя рисунки были примитивны, зато как богато было содержание!* (Т.Л. Сухотина-Толстая); *Хотя Зверев как педагог никакого непосредственного отношения к нам теперь не имел и мы пользовались гораздо большей свободой, тем не менее мы продолжали считаться с его мнением, дорожили им и безусловно слушались его* (М.Л. Пресман). Проблематика, связанная с выбором такого слова, остается за рамками нашей работы.

⁴ Напомним определение семантической пресуппозиции высказывания (иногда ее называют "презумпцией"): "Семантический компонент P суждения S является презумпцией S, если ложность P в некоторой ситуации делает утверждение S в этой ситуации неуместным, аномальным, бессмысленным. Иначе говоря, P – презумпция S, если из уместного употребления S в некоторой ситуации следует, что P является истинным в этой ситуации" [Падучева 1985: 53]. О пресуппозиции уступительного предложения см. также [König 1988].

выводят гулять. Поэтому в выделенный фрагмент значения союза *хотя* включен компонент 'обычно'.

Очевидно, что в семантическую структуру высказывания (1) входят также компоненты, непосредственно описывающие данное положение дел:

(б) 'на улице было много детей';

(в) 'Ваню повели гулять'.

Тем самым, семантическая структура фразы (1) содержит следующие компоненты:

(11) '[пресуппозиция] обычно если имеет место ситуация Q, то ситуация P не имеет место;

в данном случае: имеет место ситуация Q, имеет место ситуация P'.

Рассмотрим теперь, что представляет собой пресуппозиция союза *хотя*.

В примере (1) "узнавание" пресуппозиции высказывания, в частности, узнавание обобщенных классов ситуаций по конкретным ситуациям P и Q, совершенно тривиально. Однако бывают и более сложные случаи.

Рассмотрим фразу (2) *Мальчики говорили шепотом* (P), *хотя в квартире никого не было* (Q). Очевидно, в этом примере союз *хотя* тоже указывает на нарушение некоторого обычного порядка вещей, и это указание входит в семантическую пресуппозицию данного высказывания. Данный компонент семантической структуры примера (2) естественно представить так:

(12) 'обычно если рядом с собеседником никого нет, кто мог бы их услышать, они не стараются говорить тихо'.

В (12) имеется в виду не конкретный субъект, как в (1а), а класс субъектов, т.е. компонент 'собеседники' имеет родовой денотативный статус. Но главное, пресуппозиция фразы (2) содержит сведения о гораздо более общих ситуациях, нежели 'в квартире никого не было' и 'мальчики говорили шепотом'. Поэтому выражение (11) естественно переформулировать в более общем виде, ср.

(1а) 'Обычно если имеет место ситуация из класса Q', то не имеет место ситуация из класса P';

в данном случае: имеет место ситуация Q из класса Q', имеет место ситуация P из класса P''.

Здесь ситуация 'в квартире никого не было' (Q) входит в класс ситуаций (Q') 'рядом с собеседниками никого нет'. Ситуация 'мальчики говорили шепотом' (P) представляет собой отрицание некоторой ситуации из класса (P') 'собеседники не стараются говорить тихо'. Проблема "узнавания" пресуппозиции высказывания (2), так же как и отнесение конкретной ситуации P или Q к ее классу (т.е. P' или Q'), относится к области понимания текста.

Заметим, что во фразе (2) не сообщается о том, почему мальчики говорили шепотом. Можно предположить, что таинственное поведение входило в правила их игры; или, возможно, дома от них требуют говорить шепотом и они к этому привыкли и т.п. Поэтому и в выражение (12) не включено указание на то, почему можно не говорить тихо, когда рядом никого нет – потому ли, что собеседники никому не мешают, или потому, что им можно не бояться подслушивания, или по каким-то иным причинам. Соответствующие сведения относятся не к семантике как таковой, а к области понимания текста.

Во фразе (2) семантическая пресуппозиция (12) является фрагментом некоего общего для всех говорящих знания⁵. [Этим, между прочим, пример (2) отличается от фразы (1), в котором семантическая пресуппозиция (1а) содержит сведения о жизни конкретного субъекта] В высказываниях с *хотя* могут выражаться и еще более

⁵ Поскольку эта пресуппозиция предполагается известной и говорящему, она, очевидно, является не только семантической, но и прагматической. Действительно, "прагматическая пресуппозиция – это суждение, которое слушающему должно быть известно, чтобы высказывание было нормативным" [Падучева 1985: 58].

абстрактные presupпозиции, представляющие собой некие "жизненные закономерности", которые лежат в основе общего для говорящих представления о нормальном, обычном порядке вещей. Это "общие принципы, с которыми говорящий вынужден считаться, хотя, будучи осознаны, они в применении к конкретной ситуации могут показаться ему странными" [Санников 1989: 160].

Приведем примеры.

(13) *Настя сидела у окна и плакала (P), хотя ей очень хотелось броситься за Костей вслед, остановить его (Q).*

Если бы presupпозиция данного высказывания формулировалась столь же "прямым" способом, как в случае (1), то она выглядела бы так: 'Обычно если Насте очень хочется броситься за Костей вслед и остановить его, она не сидит у окна и не плачет'. Однако фраза (13) вряд ли выражает этот смысл. Быть может, в presupпозиции высказывания (13) подразумеваются не конкретные субъекты (Настя и Костя), а люди, т.е. мужчины и женщины, вообще? Тогда эта presupпозиция выглядела бы так: 'Обычно если женщине хочется броситься за мужчиной вслед и остановить его, она не сидит и не плачет'. Однако такое решение тоже неприемлемо. Аналогичные проблемы возникают и при анализе следующей фразы, ср.

(14) *Хотя Васе хотелось, чтобы Катя обратила на него внимание (P), он за весь вечер не сказал ей ни одного слова (Q).*

На наш взгляд, фразы (13)–(14) выражают одну и ту же presupпозицию, которую естественно формулировать так:

(15) 'Обычно если человек хочет что-то сделать или хочет, чтобы имела место какая-то ситуация, он делает желаемое или прилагает усилия для того, чтобы желаемое имело место'⁶.

Данная "жизненная закономерность" практически совпадает с одной из "аксиом действительности", которая была обнаружена в работе [Мартемьянов, Дорофеев 1983]. Это "принцип активности", который формулируется так: "Имея желание или цель, человек стремится их осуществить или узнать средства для этого" [Там же: 48]. Существенно, что исследование [Мартемьянов, Дорофеев 1983] посвящено отнюдь не служебным словам – оно содержит анализ мира и человека на материале "Максим" Ларошфуко. Однако такое совпадение неслучайно: если какая-то закономерность ("аксиома") действительно является фрагментом общего для всех говорящих знания, то она и должна проявляться в совершенно разных текстах – от "Максим" Ларошфуко до отдельных высказываний. "Принцип активности" был подтвержден и при семантическом анализе высказываний с союзом *но* в работе [Санников 1989]. Ср. следующий пример из цитируемой работы В.З. Санникова, в котором союз *но* маркирует нарушение того же "принципа активности" и который поэтому легко перифразируется в высказывание с *хотя*:

(16) *Он очень хотел поехать в Крым, но не поехал (но ничего не сделал для этого) ↔ Хотя он очень хотел поехать в Крым, он туда не поехал (он ничего не сделал для этого).*

Аналогичную перифразировку – с заменой *хотя* на *но* – допускают и примеры (13)–(14), ср.:

(13а) *Хотя Насте очень хотелось броситься за Костей вслед, остановить его (Q), она сидела у окна и плакала (P) ↔ Насте очень хотелось броситься за Костей вслед, остановить его (Q), но она сидела у окна и плакала (P);*

⁶ Во фразе (13) поведение субъекта (Настя) расходится с этим "принципом активности", однако при этом согласуется с этическим правилом, согласно которому девушки не должны бросаться вслед за мужчинами. Как видим, употребление союза *хотя* выражает именно нарушение "принципа активности". Согласование с каким-то принципом или закономерностью выражается другими языковыми средствами, ср. *в силу этого, поэтому* и т.п.

(14а) *Хотя Васе хотелось, чтобы Катя обратила на него внимание (Q), он за весь вечер не сказал ей ни одного слова (P) ↔ Васе хотелось, чтобы Катя обратила на него внимание (Q), но за весь он вечер не сказал ей ни одного слова (P).*

В некоторых случаях пресуппозицию высказывания с *хотя* можно формулировать более чем одним способом – в более абстрактном или, наоборот, в более конкретном виде. Ср.:

(17) *Хотя Петя не прочь был учиться в университете (Q), он совсем не готовился к вступительным экзаменом (P);*

(18) *Хотя Ивана привлекала мысль жениться на дочери начальника, чтобы со временем занять его место (Q), он даже не пытался за ней ухаживать (P).*

В этих примерах естественно усматривать пресуппозицию (15), представляющую собой "принцип активности" Мартемьянова – Дорофеева. Но можно считать, что пресуппозиция здесь более конкретна, ср.:

(18а) 'Обычно если человек хочет учиться в университете, он готовится к вступительным экзаменам';

(19а) 'Обычно если человек хочет жениться на определенной девушке, он за ней ухаживает'.

Однако и (18а) и (19а) – это обычное следствие из "принципа активности" Мартемьянова – Дорофеева. Данные примеры подтверждают тот факт, что "узнавание" пресуппозиции высказывания с *хотя* часто относится к области понимания текста.

В следующем примере с *хотя* выражена другая "жизненная закономерность", ср.:

(20) *Хотя Иван приложил все силы, чтобы подняться (Q), ему это не удалось (P).*

Очевидно, что пресуппозиция этой фразы не сводится к суждению типа 'обычно если Иван прикладывает все силы, для того чтобы подняться, ему это удается'. Не выражена здесь и пресуппозиция с более общим смыслом, типа 'обычно если человек прикладывает все силы, для того чтобы подняться, ему это удастся'. На наш взгляд, пресуппозиция фразы (20) такова:

(21) 'Обычно если человек прилагает усилия для достижения чего-либо, он добивается того, к чему стремится'.

Эта "жизненная закономерность" близка одному из тех "общих принципов" Санникова, который дополняет "аксиомы действительности" Мартемьянова – Дорофеева и формулируется так: "Нормально, когда намерения осуществляются" [Санников 1989: 161]. Ср. некоторые другие примеры, выражающие ту же пресуппозицию.

(22) *Хотя Маша несколько раз ходила за хлебом (Q), она возвращалась с пустыми руками (P);*

(23) *Хотя Катя много раз пыталась поступить в институт (Q), она так никуда и не поступила (P).*

Фразы (20), (22), (23), подобно уже разбиравшимся примерам, легко трансформируются в высказывания с союзом *но*, при анализе которого В.З. Санников и сформулировал данный принцип. Ср. *Иван приложил все силы, чтобы подняться, но ему это не удалось; Маша несколько раз ходила за хлебом, но возвращалась с пустыми руками; Катя много раз пыталась поступить в институт, но так никуда и не поступила.*

Следующие фразы с *хотя* апеллируют к некоторой "сумме" аксиом действительности. Ср.:

(24) *Хотя Петя всю жизнь мечтал о дальних странах (Q), он не был нигде дальше Переделкина (P);*

(25) *Ни одно [привидение] не заглянуло к нам в окно (P), хотя я ждала их отчаянно (Q) (М. Вехова).*

Разумеется, ни одна из этих фраз не предполагает ничего вроде: 'обычно если у человека есть мечта, она сбывается'. В данном случае пресуппозиция выражает "сумму" принципов (15) и (21), ср.:

(26) 'Обычно если человек хочет, чтобы имела место какая-то ситуация, он прилагает усилия для того, чтобы желаемое имело место, и в результате добивается того, к чему стремится'.

Аналогичная пресуппозиция выражена в примере

(27) *Хотя Маша рассчитывала занять на конкурсе 1 место (Q), она не прошла даже во второй тур (P).*

Приведем примеры с *хотя*, которые иллюстрируют некоторые другие "жизненные закономерности".

(28) *Хотя он сказал, что Катя уехала (Q), мы ему не поверили (P);*

(29) *Хотя Николай всем говорил, что Даша вышла замуж (Q), это была неправда (P).*

Во фразах (28)–(29) выражена "презумпция правдивости":

(30) 'Обычно если кто-нибудь говорит, что Q, то нет оснований считать, что не-Q'.

Суждение (30) сближается с одним из "общих принципов" Санникова, который сформулирован так: "Нормально, когда утверждения оказываются правдой" [Санников 1989: 163]. По существу, перед нами переформулировка постулата истинности Грайса.

(31) *Хотя весь день шел дождь (Q), к вечеру небо расчистилось (P).*

"Жизненная закономерность", которая подразумевается в (31) и нарушение которой маркируется союзом *хотя*, формулируется так:

(32) 'Обычно если долгое время имеет место какая-то ситуация, то она сохраняется еще очень долго'.

Эта закономерность сближается с "принципом статичности" Санникова, который выражается так: "Мир, окружающий человека, устойчив к изменениям" [Санников 1989: 162].

(33) *Хотя с утра больному стало лучше (Q), к вечеру он умер (P).*

В этой фразе имеется в виду нарушение следующей закономерности:

(34) 'Обычно если какой-то процесс начинается, то он идет до конца'.

В [Санников 1989: 162] формулируется похожий принцип: "Если наметилось какое-то отклонение, то нормально движение в том же направлении".

(35) *Хотя ему предлагали есть и пить (Q), он от всего отказывался (P).*

В этом примере подразумевается следующая закономерность:

(36) 'Обычно если человека к чему-то побуждают, он это делает'.

Эта закономерность также была обнаружена В.З. Санниковым при анализе высказываний с союзом *но* и сформулирована им так: "Нормально, когда побуждения осуществляются" [Санников 1989: 163].

(37) *Хотя мне было там хорошо (Q), я решил уехать (P);*

(38) *Хотя мне было там плохо и трудно (Q), я осталась (P).*

Эти две фразы подразумевают соответственно два следующих "общих принципа":

(39) 'Обычно если человеку что-то приятно, он желает это воспринимать';

(40) 'Обычно если человеку что-то неприятно, он не желает это воспринимать'.

Суждения (39) и (40) фактически совпадают со следующими "аксиомами" Мартемьянова – Дорофеева: "Человек желает или стремится воспринимать приятное", "Человек желает или стремится не воспринимать неприятного" [Мартемьянов, Дорофеев 1983: 45].

Подобные примеры легко умножить, причем все они хорошо трансформируются в высказывания с союзом *но*. Семантическая близость союзов *хотя* и *но* обсуждалась неоднократно⁷. Подчеркнем, однако, что если высказывание с уступительным союзом

⁷ Заметим, что в работе [Левин 1970] семантика союза *но* представляется так (приводим в слегка огрубленном виде): 'обычно: P → не-Q'. По существу, эта экспликация совпадает с выражением (11), которое является фрагментом толкования союза *хотя* в рассматриваемом значении.

хотя легко перифразируется в высказывание с союзом *но*, то обратное неверно: не всякое высказывание с *но* перифразируется в высказывание с *хотя*. Ср.: *Я много раз набирал ваш номер, но у вас все время было занято* – **Хотя я много раз набирал ваш номер, у вас все время было занято*; *Петя собрался погулять, но пошел сильный дождь* – **Хотя Петя собрался погулять, пошел сильный дождь*.

Тем не менее, можно предположить, что союзы *хотя* и *но* обозначают нарушение одних и тех же "жизненных закономерностей". Выявление набора этих закономерностей и описание разных языковых средств, маркирующих их нарушение, представляет собой отдельную задачу, которая выходит далеко за рамки этой работы. Для нас сейчас важно другое. Во всех рассмотренных случаях в высказывании вида *Хотя Q, P* выражен смысл (Ia), см. выше.

2. Идея несоответствия ожиданию. Высказывание с *хотя* не обязательно подразумевает общую "жизненную закономерность" или распорядок, принятый конкретным субъектом [как в (1)]. Оно может базироваться просто на каком-то достаточно частном предположении говорящего (которое, разумеется, основано на предшествующем опыте). Ср.:

(41a) *Хотя бумага была совершенно белой (Q), Петя не мог разглядеть на ней ни одного знака (P)*;

(41б) *Хотя бумага была совершенно белой (Q), Петя ясно видел на ней все знаки (P)*.

Примеры (41a,б), подобно фразам, рассмотренным выше, описывают отклонение от чего-то, что подразумевается известным и говорящему, и адресату. Но этот подразумеваемый смысл, входящий в пресуппозицию фразы, не относится ни к "аксиомам действительности", ни даже к набору тех правил, которых придерживается данный конкретный субъект. Действительно, (41a) предполагает нечто вроде следующего: 'если бумага белая (Q), на ней хорошо видны знаки (P)'. А фраза (41б) подразумевает прямо противоположное: 'если бумага белая (Q), на ней не видны знаки (не-P)'. Получается, что одна и та же ситуация (Q) в одном случае обуславливает ситуацию P, а в другом случае – ситуацию не-P. Ясно, что общие, "жизненные" закономерности в принципе носят другой характер. Пресуппозиция в этих фразах выражает всего лишь мнение, ожидание говорящего относительно данного положения дел. Соответствующий компонент семантической структуры фраз (41a,б) мы представляем так:

(41) 'по мнению говорящего или слушающего, если бумага белая, то на ней видны знаки (на ней не видны знаки)'.

Ср. аналогичный пример:

(42) *Хотя Иван расстался с Тamarой (Q), он не торопился предлагать руку и сердце Антонине (P)*.

Здесь, так же как и в случаях, рассмотренных выше, описывается сосуществование двух, казалось бы, несовместимых ситуаций. Однако в примере (42) ситуации P и Q несовместимы не по природе вещей, а потому, что таково мнение субъекта о данных двух ситуациях. Поэтому в семантической структуре примеров (41a,б) и (42) естественно усматривать не фрагмент (Ia), а некоторую его модификацию. Ср.:

(Iб) 'по мнению говорящего или слушающего, если имеет место ситуация из класса Q', то не имеет место ситуация из класса P''.

В толковании союза *хотя* компоненты (Ia) и (Iб) связаны дизъюнктивно, ср. соответствующий фрагмент его значения:

(Iв) 'Обычно или по мнению говорящего или слушающего, если имеет место ситуация из класса Q', то не имеет место ситуация из класса P';

в данном случае: имеет место ситуация Q из класса Q', имеет место ситуация P из класса P''.

Казалось бы, перед нами толкование союза *хотя*. Но это не так. Дело в том, что компонент 'если' слишком богат для данного случая и его требуется конкретизировать.

3. Компонент 'если' в значении союза *хотя*. Возьмем какой-нибудь самый обычный пример с *если* и представим, что это пресуппозиция высказывания с *хотя*. Построим соответствующую фразу с *хотя*, исходя из примера с *если*, в частности – заменяя в нем главное предложение Р на его отрицание, а также производя некоторые другие замены, связанные, например, с референциальным статусом описываемых ситуаций. Ср.:

(43) а. *Если погода была хорошая (Q), Ваня шел на пляж (P)* – б. *Хотя погода была хорошая (Q), Ваня не пошел на пляж (P)*;

(44) а. *Если бумага была черной (Q), на ней ясно проступали все знаки (P)* – б. *Хотя бумага была черной (Q), на ней не проступил ни один знак (P)*;

(45) а. *Если Петр умрет, никому ничего не рассказав (Q), эту тайну не узнает никто (P)* – б. *Хотя Петр умер, никому ничего не рассказав (Q), эта тайна стала известна всем (P)*.

С определенной долей условности, высказывание (а) с союзом *если* выражает пресуппозицию высказывания (б) с союзом *хотя*. Это полностью соответствует описанию, предложенному выше. Такие примеры легко умножить.

Однако не всякое высказывание с *если* может служить пресуппозицией высказывания с *хотя*. Иными словами, не любой пример с *если* можно переделать во фразу с *хотя*, так чтобы исходный пример служил пресуппозицией полученного высказывания. Существенно, что эта трансформация невозможна благодаря специфике самих союзов *хотя* и *если*. Проиллюстрируем это на примере, ср.:

(46) а. *Если он опаздывал (Q), его не штрафовали (P)* – б. *Хотя он опоздал (Q), его оштрафовали (P)*.

Высказывание (46б) очень странно прагматически. Оно подразумевает крайне нестандартный смысл: опаздывать – хорошо, это обычный порядок жизни, а за нарушение этого порядка, т.е. за отсутствие опоздания, полагается штраф. Иными словами, в пресуппозицию высказывания (б) входит следующий смысл:

(46в) 'Если человек не опаздывает, его штрафуют'.

Однако исходная фраза с союзом *если* (46а) не выражает ничего подобного. В ней речь идет, скорее, об особом отношении к субъекту, но никак не о необычных, нестандартных правилах поведения. Тем самым, (46а) не выражает пресуппозицию высказывания (46б). Не выражает ее и более общее высказывание, ср.:

(46г) *Если человек опаздывает, его не штрафуют*.

В чем здесь дело?

В примере (46б) с союзом *хотя* предполагается существование каузальной связи между двумя ситуациями, т.е. такой связи, когда одна ситуация обуславливает другую. Эта каузальная связь выражается в пресуппозиции фразы, ср. (46в). Однако во фразе (46а) с союзом *если* между ситуациями Р и Q каузальной зависимости нет. Нет ее и в (46г). Именно поэтому ни (46а), ни (46г) не выражают пресуппозицию высказывания (46б).

Предложенный анализ подтверждается и следующим примером, ср.:

(47) а. *Если он обижал ее (Q), она его прощала (P)* – б. *Хотя он обидел ее (Q), она его простила (P)*.

(48) а. *Если он встречал ее (Q), она не обращала на него внимания (P)* – б. *Хотя он встретил ее (Q), она обратила на него внимание (P)*.

Фразы (б), по крайней мере произносимые с нейтральной интонацией, семантически аномальны – вряд ли можно представить какие-нибудь, даже искусственные ситуации, которые они могли бы описывать. Очевидно, что аномальность этих высказываний обусловлена единственно союзом *хотя*. Дело в том, что описываемые ситуации Р и Q исключают какую-либо каузальную зависимость одной ситуации от другой. А пресуппозиция союза *хотя* выражает именно такую зависимость между Р и Q. Это противоречие и порождает семантическую аномалию. Между тем

в примерах (47а) и (48а) союз *если* выражает как раз некаузальную связь между ситуациями.

Уступительный союз *хотя*, в отличие от условного *если*, обязательно предполагает каузальную зависимость между ситуациями. Но если это так, то выражение (1в), предлагаемое в качестве толкования союза *хотя*, неадекватно – в нем каузальная связь не эксплицирована.

Прежде чем переходить к формулировке толкования *хотя*, рассмотрим подробнее, какие типы связи между ситуациями описывает союз *если* и какие из этих типов могут предполагаться союзом *хотя*⁸.

Начнем со следующего примера:

(49) *Если Маша получит двойку (Q), ее не пустят в кино (P).*

Союз *если* служит здесь для "построения гипотезы" относительно будущего: говорящий не знает, какая ситуация будет иметь место в некоторый отрезок времени, и считает, что в этот отрезок времени может иметь место ситуация Q ('Маша получает двойку'). При этом он представляет, как развиваются события в рамках данной гипотезы, т.е. какая еще ситуация P имеет тогда место. Эта вторая ситуация P – 'Машу не пускают в кино'. Очевидно, что в рамках данной гипотезы ситуация Q является причиной ситуации P (Машу не пускают в кино, потому что она получит двойку)⁹. Такую же – причинную – связь между двумя ситуациями Q и P выражает союз *если* и в следующем примере, ср.:

(50) *Если Маша получала двойку (Q), ее не пускали в кино (P).*

Единственное различие между (49) и (50) – в гипотетичности/реальности (и, в связи с этим, в единичности/повторяемости) данного положения дел.

Причинно-следственная зависимость – самый ясный случай каузальной связи между ситуациями. Фраза с *если*, указывающая на такую причинно-следственную зависимость, вполне может выражать пресуппозицию высказывания с *хотя*. Ср.

(49а) *Хотя Маша получила двойку (Q), ее пустили в кино (P)* [пресуппозиция: если Маша получит двойку, ее не пустят в кино; или обычно если ребенок получает двойки, его не пускают в кино];

(50а) *Хотя Маша получала двойки (Q), ее пускали в кино (P)* [пресуппозиция: обычно если ребенок получает двойки, его не пускают в кино].

Следующий тип каузальной зависимости – условный: ситуация Q является условием существования ситуации P. Ср.:

(51) *Если Петя будет в Петербурге (Q), он обязательно пойдет в Эрмитаж (P);*

(52) *Если Иван делает пересадку в Париже (Q), он старается пойти в Лувр (P).*

Так же, как и в предыдущем случае, союз *если* в (51) служит для построения гипотезы относительно будущего. В (52) с помощью этого же союза описывается повторяющееся положение дел. Однако в этих примерах ситуация Q является условием (а не причиной) существования ситуации P. В данном случае фраза с *если* тоже может выражать пресуппозицию высказывания с *хотя*. Ср.:

(51а) *Хотя Петя был в Петербурге (Q), в Эрмитаж он не попал (P)* [пресуппозиция: если Петя будет в Петербурге, он попадет в Эрмитаж];

⁸ Ниже дается сжатый анализ центральной леммы союза *если*, необходимый для уяснения семантики союза *хотя*. Подробное описание союза *если* содержится в [Урысон 2001].

⁹ С нашей точки зрения причинная связь между ситуациями не предполагает, что данные ситуации обязательно реальны, т.е. имеют место, не гипотетичны. Мы не считаем также, что условная связь возможна лишь в случае гипотетичных ситуаций. Причина и условие – это два разных типа каузальной связи между ситуациями, не зависящих от реальности/гипотетичности описываемого положения дел. В этом месте наше описание расходится с интерпретацией причины и условия, принятой, например, в [Грамматика-80]. Подробнее см. [Урысон 2001].

(52a) *Хотя Иван много раз делал пересадку в Париже (Q), он не пытался пойти в Лувр (P)* [пресуппозиция: если Иван (человек) делает пересадку в Париже, он старается пойти в Лувр].

Следующий тип каузальной связи между ситуациями иллюстрируется примерами типа:

(53) *Если Петр выиграет чемпионат Европы (Q), он и на Олимпиаде будет победителем (P).*

Здесь, очевидно, ситуация Q не является ни причиной, ни условием существования ситуации P. Эти ситуации связаны опосредованно – они существуют благодаря одной и той же причине или возникают при одних и тех же условиях. В данном случае эта единая причина (или общее условие) – высокий уровень спортивного мастерства субъекта. Однако даже в случае такой – опосредованной – каузальной связи между ситуациями, фраза с *если* может выражать пресуппозицию высказывания с *хотя*. Ср.:

(53a) *Хотя Петр выиграл чемпионат Европы (Q), на Олимпиаде он не вошел даже в шестерку сильнейших (P)* [пресуппозиция: если Петр выиграет чемпионат Европы, он и на Олимпиаде будет сильнейшим; или обычно если человек выигрывает чемпионат Европы, он побеждает и на Олимпиаде].

Аналогичная, в высшей степени опосредованная каузальная связь между ситуациями предполагается и в высказываниях типа

(54a) *Если ласточки летают низко (Q), скоро будет дождь (P);*

(54б) *Хотя ласточки летали низко (Q), дождь не собирался (P).*

В (54a) ситуации Q и P – это следствия одной и той же, не вполне ясной причины, быть может, каких-то атмосферных изменений. Правда, провозно высказывание типа (54a,б), говорящий, возможно, не отдает себе отчета в том, что высота полета ласточек и изменение погоды обусловлены какой-то общей причиной. В этом отношении данное знание о мире сближается с теми "аксиомами действительности", или общими принципами, которые, будучи осознанными, кажутся говорящему странными. Но "наивная энциклопедия", подобно "аксиомам действительности", может отличаться от тех обиходных знаний, в которых говорящий отдает себе полный отчет.

В следующих примерах выражено представление о еще более опосредованной каузальной связи между двумя ситуациями, ср.:

(55a) *Если на первой странице будет слово "любовь" (Q), он позвонит сегодня вечером (P);*

(55б) *Хотя на первой странице слово "любовь" встретилось трижды (Q), он не позвонил ни в этот день, ни на следующий (P).*

На первый взгляд, здесь между ситуациями Q и P вообще нет никакой логической связи. Однако это не так. Дело в том, что данные фразы предполагают ситуацию гадания, а прототипически гадание основано на предположении, что в мире нет случайностей, поскольку одна и та же сила устраивает все ситуации. Значит, все ситуации имеют какую-то общую, универсальную причину, так что по одной какой-либо ситуации можно судить о проявлении этой общей силы и угадывать существование других ситуаций. Тем самым, фразы (55a,б) предполагают опосредованную каузальную связь между, казалось бы, совершенно независимыми ситуациями. (Заметим, что говорящий может не отдавать себе в этом отчета, подобно тому, как не отдает себе отчета и в тех "аксиомах действительности", которым подчиняется употребление высказываний с *хотя*.)

Легко убедиться, что и другие примеры с уступительным союзом *хотя* предполагают какую-то каузальную связь между ситуациями Q и P.

Итак, союз *если* обозначает целый спектр каузальных связей между ситуациями. При этом любой конкретный тип каузальной связи, выражаемый союзом *если*, может подразумеваться в высказывании с союзом *хотя*. Однако союз *если* может обозначать и некаузальную связь между ситуациями, а для *хотя* (в его центральном значении) это

исключено. Толкуя *хотя* через *если*, мы должны "зачеркнуть" соответствующий компонент значения 'если'. Этого можно достигнуть с помощью контекста.

4. Толкование уступительного союза *хотя*. Добавим в толкование эксплицитное указание на то, что ситуация Q влияет на имеющееся положение дел, – этот компонент "зачеркнет" некаузальный компонент значения 'если'. Ср.:

(Iг) 'обычно или по мнению говорящего или слушающего, ситуация из класса Q' влияет на имеющееся положение дел и препятствует существованию ситуации из класса P'; в результате если имеет место ситуация из класса Q', то не имеет место ситуация из класса P''.

Но коль скоро ситуация P все-таки существует, значит, имеет место одно из двух: а) в данном случае ситуация Q не повлияла на имеющееся положение дел; либо б) существует какой-то фактор, который преодолевает влияние ситуации Q. Однако союз *хотя*, по крайней мере в рассматриваемом употреблении, не различает эти две логические возможности. (Ниже, при описании одного более частного случая употребления *хотя*, мы еще вернемся к этому вопросу.) Действительно, фраза типа *Хотя шел дождь (Q), они пошли гулять (P)* сообщает нам лишь о факторе, который обычно мешает прогулкам, но ничего не говорит о том, почему прогулка все-таки состоялась.

Более сильный фактор, преодолевающий влияние ситуации Q, может быть упомянут в широком контексте. Ср. *Хотя шел дождь (Q), мы пошли гулять (P)* VS. *Хотя шел дождь (Q), мы пошли гулять (P), потому что она очень любила вечерние прогулки вдоль моря* (см. также раздел 0.2 этой статьи). Однако подобная информация не относится к семантике союза *хотя*. Так, в данном примере указание на причину, благодаря которой ситуация P все-таки имеет место, вводится отдельной лексемой – союзом *потому что*.

Теперь можно предложить толкование лексемы *хотя I* – центральной лексемы союза *хотя*.

(II) *Хотя Q, P* [*Хотя было сыро (Q), Ваню повели гулять (P)*] =

'[a] имеет место ситуация Q; имеет место ситуация P;

[б, пресуппозиция] обычно или по мнению говорящего или слушающего:

(i) ситуация из класса Q' влияет на имеющееся положение дел и препятствует существованию ситуации из класса P'; в результате если имеет место ситуация из класса Q', то не имеет место ситуация из класса P';

или

(ii) если имеет место ситуация из класса Q', то не имеет место ситуация из класса P'; потому что существует какая-то другая ситуация, которая влияет на имеющееся положение дел и благодаря которой существует ситуация из класса Q' и не существует ситуация из класса P''.

Легко убедиться, что это толкование приближено к уровню семантических примитивов. Действительно, в нем участвуют неопределяемые компоненты 'говорящий', 'слушающий', 'ситуация', 'иметь место', 'считать, что', 'причина'¹⁰, 'если' и 'не', очевидный компонент 'обычно', а кроме того компоненты 'положение дел' и 'влиять' (ср. 'ситуация Q влияет на положение дел'). Два последних компонента мы прокомментируем.

'Положение дел' – это совокупность ситуаций, связанных друг с другом (возможно, этот компонент является неопределяемым).

'Ситуация Q влияет на данное положение дел' = 'ситуация Q может быть или является причиной или условием того, что данное положение дел изменится' ≈ 'из-за ситуации Q положение дел изменяется или может измениться'.

¹⁰ Для облегчения восприятия компонент 'считать, что' представлен в толковании в несколько ином виде – 'по мнению'. По тем же соображениям компонент 'причина' представлен один раз в виде 'потому что', а другой раз – в виде 'благодаря'.

Мы не исключаем, что в толковании *хотя* можно убрать компонент 'ситуация из класса Q' влияет на имеющееся положение дел', оставив более конкретное указание 'ситуация из класса Q' препятствует существованию ситуации из класса P' (ср. [В. Апресян 1999]). Мы предпочитаем пока предложенное, более общее, указание. Дело в том, что представление о каком-то возможном влиянии некоторой ситуации на имеющееся положение дел, по-видимому, выражено в достаточно большом классе союзов, и более общая формулировка позволит лучше выявить системные связи в этом классе слов (ср. описание союзов *а* и *но* в [Санников 1989]).

Предложенное толкование не отражает одной важной особенности союза *хотя* – его фактивности. Действительно, союз *хотя* не совместим с гипотетичностью 'P' или 'Q'. Высказывание типа *Хотя было сыро* (Q), *Ваню повели гулять* (P) подает и 'Q' и 'P' только как факты. Для выражения уступительного значения при гипотетичности описываемых ситуаций русский язык располагает особым союзом – *хотя бы*. Ср.:

(56) *Хотя бы ты объехал весь мир* (Q), *ты все равно ее не найдешь* (P).

Однако гипотетичность совместима с уступительным значением типа 'хотя'. В работе [Николаева, Фужерон 1999] приводится пример из Картотеки Словаря русского языка XI–XVII вв. Института русского языка РАН, безусловно предполагающий гипотетичность описываемого положения дел. Ср. *Фрол Скобеев сказал ... хотя живот свой утрачу, а от Аннушки не отстану*.

Продемонстрируем теперь, что в некоторых контекстах значение союза *хотя* модифицируется, причем модификация, в отличие от основного толкования, выражает идею преодоления неблагоприятного фактора.

5. Модификация значения *хотя*. Союз *несмотря на то что*. На первый взгляд, союзы *хотя* и *несмотря на то что* различаются только стилистически: союз *хотя* нейтрален и свободно употребляется, в частности, в разговорной речи, а союз *несмотря на то что* тяготеет к книжному стилю, придает высказыванию сухой, официальный характер. Ср.:

(57а) *Хотя дети очень устали* (Q), *шли без привалов* (P);

(57б) *Несмотря на то что дети очень устали* (Q), *шли без привалов* (P).

Если так, то замена в высказывании союза *хотя* на союз *несмотря на то что* меняет лишь стилистику фразы и не влечет за собой никаких других следствий. Однако это предположение неверно: можно привести такие примеры, в которых замена *хотя* на *несмотря на то что* дает не вполне удачный результат, и причина этого – не стилистическая, а семантическая. Ср.:

(58а) *Хотя, узнав свой диагноз, я проплакала всю ночь* (Q), *я ничего не рассказали родным* (P);

(58б) *Несмотря на то что, узнав свой диагноз, я проплакала всю ночь* (Q), *я ничего не рассказала родным* (P).

(59а) *Хотя мне было очень узко и неловко в новом платье* (Q), *я скрыл это от всех* (P) (Л. Толстой);

(59б) *Несмотря на то что мне было очень узко и неловко в новом платье* (Q), *я скрыл это от всех* (P).

Семантическая аномальность примеров (б), с союзом *несмотря на то что*, легко объяснима. В данной лексеме еще вполне ощутима ее внутренняя форма. Грубо говоря, в высказываниях с союзом *несмотря на то что* есть указание на то, что субъект (он может совпадать с говорящим) не обращает внимание ("не смотрит") на ситуацию Q, т.е. в данном случае на свое внутреннее состояние. А пропозиция P указывает на то, что субъект (иногда он же – говорящий) как-то борется с этим состоянием, а значит – обращает на него внимание. Это противоречие и порождает семантическую аномальность высказываний (58б) и (59б).

Поэтому в высказываниях от первого лица, особенно если пропозиции P и Q имеют

общего субъекта, совпадающего с говорящим, нормально употребляется союз *хотя*; ср. выше примеры (58)–(59). Если высказывание – не от первого лица, то союз *несмотря на то что* вполне нормален. Поэтому следующие фразы выглядят вполне гладкими. Ср.:

(60) *Несмотря на то что Нина едва держалась на ногах от усталости (Q), она блестяще провела открытый урок (P)*;

(61) *Несмотря на то что Пете было очень больно (Q), он держался как все (P)*.

На наш взгляд, союз *хотя* в определенных контекстах указывает на то, что субъект преодолевает влияние ситуации Q. Иными словами, в определенных контекстах значение союза *хотя* подвергается следующей модификации. Ср.

(III) *Хотя Q, P [Хотя Пете было плохо (Q), он скрыл это от всех (P)] =*

‘[a] имеет место ситуация Q;

[б, пресуппозиция] обычно ситуация из класса Q' влияет на субъекта и на имеющееся положение дел и препятствует существованию ситуации из класса P'; в результате если имеет место ситуация из класса Q', то не имеет место ситуация из класса P';

[в] в данном случае субъект преодолевает это влияние;

[г] в результате имеет место ситуация P'.

Модификация значения *хотя* имеет место в том случае, если пропозиции P и Q имеют общего, причем одушевленного субъекта и в пропозиции Q (или в обеих пропозициях P и Q) речь идет о его внутреннем состоянии, о его чувствах, переживаниях и т.п.

Союз *несмотря на то что* не содержит никакого подобного указания на субъекта. Естественно поэтому, что он свободно употребляется в тех случаях, когда пропозиции P и Q имеют разных субъектов, причем они – неодушевленные, так что не может быть речи о влиянии ситуации на внутреннее состояние субъекта. Ср.:

(62) *Несмотря на то что теоретическая часть Словаря Даля несколько устарела (Q), его фактический материал сохраняет свое значение и в наши дни (P)*;

(63) *Несмотря на то что дожди шли уже третью неделю (Q), дороги были в приличном состоянии (P)*;

(64) *Несмотря на то что денег на питание отпускали все меньше и меньше (Q), обеды в интернате были по-прежнему вкусными (P)*.

Семантика союза *несмотря на то что* бедна и абстрактна. По существу, она описывается толкованием (II). Семантика *хотя* богаче – этот союз в определенных контекстах предполагает указание на внутреннее состояние субъекта, на преодоление субъектом влияющего на него фактора.

Но это значит, что в модификации толкования *хотя* есть указание не только на ситуацию P, которая влияет на данное положение дел, но и на более сильный фактор, преодолевающий это влияние. При этом и в модификации толкования этому более сильному фактору не соответствует никакая переменная: союз *хотя* ограничивается лишь указанием на его существование.

НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

При описании союза *хотя* возникает целый ряд теоретических проблем. Некоторые из них хорошо известны.

Так, союз *хотя* демонстрирует, что между собственно лексическим значением слова и "наивной энциклопедией" нет жесткой границы: значение *хотя* содержит отсылку к определенному фрагменту внеязыкового знания. Отметим, что союз *хотя* в данном отношении не уникален – этим же свойством обладает союз *но* (см. [Санников 1989]), и, может быть, другие союзы. Одна из теоретических проблем, возникающих при описании союзов, в частности, *хотя*, – это вопрос взаимоотношения "наив-

ной энциклопедии" и семантики слов и грамматических категорий. Решение этой проблемы выходит далеко за рамки предлагаемой работы¹¹.

Другая проблема, которая пока остается нерешенной, – это выявление общей схемы (инварианта) уступительного значения. В данной работе описаны лишь два уступительных союза – центральная лексема союза *хотя* и *несмотря на то что*. Между тем список слов, в которых можно усматривать семантику уступительности, достаточно велик, см., например [König 1988; В. Апресян 1999], причем некоторые из этих слов явно обладают иной (по сравнению с описанными союзами) актантной структурой. Требуется описать, каким образом та или иная актантная структура выводится из общей схемы уступительного значения.

Еще одна проблема, с которой сталкивается исследователь при описании союза *хотя*, – это отграничение уступительного значения от противительного. Тот факт, что уступительные союзы близки противительным (ср., например *хотя* и *но*), отмечается во всех работах, посвященных *хотя*. Остается непонятым, в чем состоит разница между "уступительностью" и "противительностью". Для описания сходств и различий между соответствующими классами слов, нужно эксплицировать схему не только уступительного, но и противительного значения. Пока мы можем лишь сформулировать данную задачу.

Мы сосредоточимся на проблеме, связанной с толкованием союза *хотя*, с его внутренней организацией.

Толкование союза *хотя* содержит компонент 'если'. Союз *если* в своем центральном значении (а именно оно участвует в толковании *хотя*) удовлетворяет двум главным требованиям, предъявляемым к семантическим примитивам: во-первых, он нетолкуем, и, во-вторых, выражает одно из важнейших значений в системе языка, которое входит в толкование некоторых языковых единиц¹². Рассмотрим данный компонент более внимательно.

Как было показано выше, союз 'если', участвующий в толковании *хотя*, обозначает целый спектр связей между двумя ситуациями, причем во многих случаях высказывание вида *Если Q, (то) P* выражает ту или иную каузальную зависимость между ситуациями Q и P. Ср. *Если Иван болел (Q), его работу приходилось выполнять Петру (P)* [ситуация Q – причина существования ситуации P]; *Если у Коли было достаточно времени до отлета (Q), он шел в Лувр (P)* [ситуация Q – условие существования ситуации P]; *Если ласточки летают низко (Q), скоро будет дождь (P)* [ситуации P и Q обусловлены какой-то общей причиной или возникают благодаря каким-то общим условиям]. Для выражения этого спектра каузальных зависимостей язык располагает целым рядом слов, ср. *причина, условие, обуславливать, из-за, благодаря* и т.п.

Однако союз *если* может обозначать и некую некаузальную зависимость между ситуациями. Ср. *Если Петя опаздывал (Q), его не штрафovali (P)*; *Если Ване было больно (Q), он не плакал и продолжал улыбаться (P)*; *Если к нам приедут гости (Q), мы отведем им самую лучшую комнату (P)* и т.п. При этом в естественном языке, по-видимому, нет лексической единицы, которая обозначала бы только данный тип связи между ситуациями. На этот факт обратила внимание А. Вежицкая, см., например [Вежицкая 1996].

¹¹ Отсылка к внеязыковому знанию оказывается необходимой при описании достаточно разных фрагментов языка, в частности при описании так называемой синтаксической деривации, см. [Урысон 1996].

¹² Мысль о том, что союз *если* относится к нетолкуемым словам, через которые определяются другие единицы языка, была впервые высказана, по-видимому, в [Жолковский 1964]. Союз *если* безоговорочно относит к семантическим примитивам А. Вежицкая, см., в частности [Вежицкая 1996: 225]. Детально о союзе *если* и теории семантических примитивов см. [Урысон 2001]. Попытка истолкования союза *если* недавно предпринята в работе [Санников 2001].

Именно благодаря этому факту союз *если* нетолкуем. Действительно, если мы попытаемся как-то эксплицировать значение *если*, нам придется обозначить отдельными словами (не сводимыми к *если*) типы связей между ситуациями, выражаемыми данным союзом. Но даже если мы подыщем слова для обозначения разных типов каузальной зависимости, мы никак не сможем обозначить некаузальную связь, маркируемую союзом *если*, поскольку для нее в языке нет специального слова.

Обратимся теперь к союзу *хотя*. Он толкуется через 'если', но при этом предполагает только каузальную связь между ситуациями. С точки зрения практической лексикографии это малоинтересно: достаточно ввести в толкование *хотя* указание 'ситуация Q влияет на имеющееся положение дел' – и все толкование будет однозначно пониматься как описывающее каузальную зависимость одной ситуации от другой. Это, однако, не снимает теоретических вопросов.

Получается, что компонент 'если', хотя и является семантическим примитивом, обладает достаточно сложной внутренней организацией. В нем выделяется компонент, зачеркиваемый контекстом, – это указание на некаузальную связь между ситуациями.

В целом, можно думать, что внутри 'если' выделяются определенные семантические компоненты, связанные дизъюнкцией. Их можно (совершенно условно!) представить так: "P и Q связаны каузальной зависимостью или специфической некаузальной связью". В конкретном контексте – ср. толкование *хотя* – эта дизъюнктивно-организованная структура подвергается преобразованию: в ней "зачеркивается" последний компонент дизъюнкции. В этом отношении союз 'если' вполне аналогичен обычным словам с дизъюнктивной организацией значения, описанным Ю.Д. Апресяном [Апресян 1974: 84 и сл.].

Итак, семантический примитив 'если' отнюдь не является "семантическим монолитом". В его значении выделяется, в частности, невербализуемый компонент, т.е. такой компонент, для обозначения которого в языке нет отдельной единицы. В [Урысон 2001] мы представляли его с помощью условного ярлыка "специфическая некаузальная глубинная связь ситуаций".

С точки зрения современной семантической теории в этом нет ничего необычного: в других примитивах тоже выделяются невербализуемые компоненты, более мелкие, чем любая лексема естественного языка. Этот факт был обнаружен и описан Ю.Д. Апресяном при анализе близких синонимов, один из которых является семантическим примитивом, ср. *хотеть* – *желать*, *to want* – *to wish* [Апресян 1995].

Действительно, в значении этих глаголов есть большая общая часть, однако между ними есть и определенные различия, благодаря которым каждый из синонимов имеет свой специфический семантический "ореол". Существенно, что небольшими смысловыми "штрихами" различаются и, на первый взгляд, эквивалентные семантические примитивы из разных языков, ср. *хотеть* – *to want*. Естественно считать, что в значении как примитива, так и его синонима (или эквивалента в другом языке) выделяется некая общая "ядерная" часть, а также какие-то мелкие семантические компоненты, которые и создают тонкую семантическую специфику данного слова. Невозможно, однако, истолковать глагол *хотеть* или глагол *to want* так, чтобы в толковании были представлены эти мелкие компоненты: такое описание будет заведомо сложнее элементарного смысла 'хотеть' (или 'want'), а значит – не будет удовлетворять требованиям, предъявляемым к толкованиям. Выбор 'хотеть' на роль семантического примитива в русском языке обусловлен исключительно стилистической нейтральностью данного глагола и его большей употребительностью. Тонкие семантические различия между *хотеть* и *желать* не "умещаются" в толкование и поэтому описываются отдельно, в виде дескрипции¹³. Точно так же не "умещается" в толкование и

¹³ Ср. также описание синонимических рядов, содержащих примитив: *знать* – *ведать*, *считать*, *что ...* – *думать*, *что ...* – *полагать*, *что ...* и т.п. (ср. *Я считаю < думаю, полагаю >, что это была ошибка*), данное Ю.Д. Апресяном в НОСС-1.

описание различий между *хотеть* и *to want*, т.е. различий между двумя квазиэквивалентными примитивами из разных языков.

Невербализуемые семантические компоненты, более мелкие, чем значение любой лексемы естественного языка, Ю.Д. Апресян назвал семантическими кварками [Апресян 1995].

Семантические кварки, обнаруженные Ю.Д. Апресяном, бывают разной природы и разного "размера". Одни кварки представляют собой "пересекающуюся часть квазипереводящих слов естественного языка" [Апресян 1995: 481]. Таков, например, кварк, представляющий собой общую часть значения национальных примитивов *хотеть*, *to want* и т.п. Другие кварки значительно меньше. Примером таких совсем мелких кварков могут служить выявленные Ю.Д. Апресяном нетривиальные семантические признаки, например, "стативность" [Апресян 1980]. Такой мелкий кварк "отражает определенную семантическую особенность слова, но не дублирует ее целиком" [Апресян 1995: 482]. Так, кварк "стативность" усматривается в семантике так называемых стативных предикатов, потому что они обладают "сходством реакций {...} на другие языковые единицы разных уровней (морфологического, синтаксического, семантического)" [Апресян 1995: 482]. Интуитивно ясно, что это сходство реакций стативных предикатов семантически мотивировано, а значит "мы обязаны предположить наличие в их значениях некоего общего смысла" [там же].

Вернемся теперь к семантическому примитиву 'если'.

Очевидно, что невербализуемый компонент, выделяемый в значении 'если', тоже является кварком. Однако этот кварк существенно меньше, чем те крупные кварки, которые представляют собой "пересекающуюся часть квазипереводящих слов естественного языка" [Апресян 1995: 481]. Однако данный кварк не является нетривиальным семантическим признаком, поскольку входит в "ядро" значения 'если'. Но главная особенность выделенного кварка – его статус в семантике слова.

Действительно, данный семантический кварк зачеркивается контекстом, а потому его нужно как-то эксплицитировать в значении лексемы – иначе мы не сможем описать вклад данной лексемы в семантическую структуру высказывания. Что касается других кварков, о которых шла речь выше, то они в семантической экспликации лексемы не участвуют – их выделение нужно для описания тонких различий между лексемами, особенностей сочетаемости слов и т.п.

Но ясно, что никакая экспликация, содержащая невербализуемую единицу (кварк), не будет толкованием лексемы: толкование – это по определению выражение на естественном языке, а кварк, как мы помним, меньше любого слова и невербализуем. Следовательно, для адекватного описания семантики союза *если*, в частности для описания его вклада в значение *хотя*, требуется разложение союза *если*, отличное от толкования: в этом разложении будет выделяться невербализуемая единица – кварк.

В связи с этим мы предлагаем различать два свойства лексемы – толкуемость и разложимость – и, соответственно, толкование и разложение лексемы. Разложимость – более слабое свойство. Естественно считать, что лексема семантически разложима, если в ней выделяется хотя бы один семантический компонент, при том что в целом она может быть и нетолкуема. Такой семантический компонент может быть кварком, т.е. единицей, меньшей, чем любая лексема естественного языка. Союз *если* нетолкуем, но разложим. В его разложении выделяются как минимум две единицы, связанные дизъюнкцией, причем одна из них представляет собой кварк, соответствующий указанию на специфическую некаузальную связь двух ситуаций¹⁴.

Ясно, что этот кварк нужно как-то обозначить – иначе мы не сможем указать, что он подвергается зачеркиванию. Сделать это можно только с помощью искусственного символа, условного ярлыка. Мы пришли к необходимости выделения в значении лек-

¹⁴ Заметим, что союз *если* в этом отношении не уникален, ср. анализ союза *и* в [Урысон 2000], а также описание некоторых синтаксических дериватов в [Урысон 1996].

семьи невербализуемых единиц, которые могут быть обозначены только искусственными символами.

Наш теоретический вывод противоречит одному из постулатов существующей семантической теории. Цитируем А. Вежбицкую: "если бы кто-нибудь взялся утверждать, что такое значение существует, но у нас просто нет слова для его воплощения, я бы повторила вслед за Витгенштейном, что о том, о чем невозможно говорить, следует молчать" [Вежбицкая 1996: 301–302]. Анализ союзов *хотя* и *если* демонстрирует противоположное: в значении лексической единицы могут выделяться "долексемные" семантические элементы, без экспликации которых не удается адекватно описать существенные семантические особенности слова.

Союзы *хотя* и *если* – соседи в лексической системе языка. Семантический анализ союза *хотя* позволяет выявить некоторые особенности внутренней организации семантического примитива 'если' – а именно, сложную структуру его значения, в которой вербализуемые компоненты соседствуют с невербализуемым "кварком".

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Апресян В.Ю. 1999 – Уступительность в языке и слова со значением уступки // ВЯ. 1999. № 5.
- Апресян Ю.Д. 1974 – Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М., 1974.
- Апресян Ю.Д. 1980 – Типы информации для поверхностно-семантического компонента модели "СМЫСЛ ↔ ТЕКСТ" // Wiener slawistischer Almanach. Sonderband 1. Wien, 1980.
- Апресян Ю.Д. 1995 – О языке толкований и семантических примитивах // Ю.Д. Апресян. Избранные труды. Т. 2. Интегральное описание языка и системная лексикография. М., 1995.
- Богомолова А.В. 1955 – Уступительные конструкции с союзом *хотя* (*хоть*) в современном русском литературном языке. Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Л., 1955.
- Вежбицкая А. 1996 – Язык. Культура. Познание. М., 1996.
- Грамматика-80 – Русская грамматика. Т. I–II. М., 1980.
- Евтюхин В.Б. 1996 – Группировка полей обусловленности: причина, условие, цель, следствие, уступка // Теория функциональной грамматики: Локативность. Бытийность. Поссесивность. Обусловленность. СПб., 1996.
- Жолковский А.К. 1964 – Лексика целесообразной деятельности // Машинный перевод и прикладная лингвистика. Вып. 8. Труды I Московского гос. пед. ин-та иностр. языков. М., 1964.
- Лауров Б.М. 1941 – Условные и уступительные предложения в древнерусском языке. Л., 1941.
- Левин Ю.И. 1970 – Об одной группе союзов русского языка // Машинный перевод и прикладная лингвистика. Вып. 13. Труды I Московского гос. пед. ин-та иностр. языков. М., 1970.
- Ляпон М.В. 1986 – Смысловая структура сложного предложения и текст. К типологии внутритекстовых отношений. М., 1986.
- Мартемьянов Ю.С., Дорофеев Г.В. 1983 – Опыт терминологизации общелитературной лексики: О мире тшеславия по Ф. де Ларошфуко // Вопросы кибернетики: Логика рассуждений и ее моделирование. М., 1983.
- МАС 1985–1990 – Толковый словарь русского языка в четырех томах. Тт. 1–4. М., 1985–1990.
- Николаева Т.М., Фужерон И. 1999 – Некоторые наблюдения над семантикой и статусом сложных предложений с уступительными союзами // ВЯ. 1999. № 1.
- НОСС–1 – Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Первый выпуск / Под общим руководством акад. Ю.Д. Апресяна. М., 1997.
- Падучева Е.В. 1985 – Высказывание и его соотносительность с действительностью: Референциальные аспекты семантики местоимений. М., 1985.
- Падучева Е.В. 2001 – К структуре семантического поля "восприятие" (на материале глаголов восприятия в русском языке) // ВЯ. 2001. № 4.
- Санников В.З. 1989 – Русские сочинительные конструкции: Семантика. Прагматика. Синтаксис. М., 1989.
- Санников В.З. 2001 – Семантика и прагматика союза ЕСЛИ // Русский язык в научном освещении. № 2. М., 2001.
- Теремова Р.М. 1986 – Семантика уступительности и ее выражение в современном русском языке. Л., 1986.

- Урысон Е.В. 1996 – Синтаксическая деривация и "наивная" картина мира // ВЯ. 1996. № 4.
- Урысон Е.В. 2000 – Русский союз и частица *И*: структура значения // ВЯ. 2000. № 3.
- Урысон Е.В. 2001 – Союз *ЕСЛИ* и семантические примитивы // ВЯ. 2001. № 4.
- Фужерон И. 1998 – Не заблудиться бы в трех *хотя* // ИАН СЛЯ. 1998. № 3.
- Храковский В.С. 1998 – Универсальные уступительные конструкции // ВЯ. 1998. № 1.
- König E. 1988 – Concessive connectives and concessive sentences: cross-linguistic regularities and pragmatic principles // Explaining language universals / Ed. by J.A. Hawkins. Oxford, 1988.

© 2002 г. М.М. МАКОВСКИЙ

СЕМИОТИКА ЯЗЫЧЕСКИХ КУЛЬТОВ

(МИФОПОЭТИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ)

Светлой памяти моих бесконечно дорогих родителей – Розалии Вениаминовны Маковской и Михаила Львовича Маковского – посвящается

1. КУЛЬТ ПРЕДКОВ

История язычества – это история культовых действий, каждое из которых было знаковым. История культов, в свою очередь, – это не только история становления образного восприятия мира на уровне движений, действий, звуков и чувств, но и история зарождения символических фигур и метафорических переосмыслений, – самой древней формы общественного сознания, которая не могла не отразиться на "картине мира" древнего человека, на его восприятии действительности. Диалектика мифа состоит именно в том, что человек как бы "растворяет" себя в природе, сливается с ней и овладевает силами природы лишь в воображении; вместе с тем такое овладение силами природы (пусть в фантазии) было началом истории "духа" и концом чисто животного бытия, что не могло не наложить неизгладимый след на зарождающуюся культуру, в частности на язык [Фрейденберг 2001; Толстая 1987; Will 1925–1935; Mannhardt 1904–1905; Jensen 1960; Peuckert 1951; Hermann 1958–1975].

Наиболее распространенным и массовым культом в большинстве доисторических культур был Культ Предков. Души умерших рассматривались язычниками, с одной стороны, как хранители рода, как неотъемлемые звенья в непрерывной линии рода, как тотемы, но с другой стороны, души умерших (особенно души убитых врагов) олицетворяли Зло, от которого стремились всячески избавиться: и в том, и в другом случае душам умерших давались жертвоприношения, в их честь устраивались сакральные трапезы, на которые "приглашались" души умерших. Цель таких трапез – не только "задобрить" души умерших врагов, способных нанести вред всему роду или отдельным его членам, помешать охоте, рыбалке, вызвать засуху (ср. нем. *Ahn* "предок", но хет. *inas* "болезнь", др.-инд. *énas* "Unheil"), но и связать души соплеменников с живущими людьми, позволить живущим "слиться" с душами умерших (тем более, что по поверьям древних, души умерших могли пребывать в живущих), проявить заботу о душах близких по крови людей, облегчить их существование, не "гневить" души умерших. Души умерших часто принимали вполне зримые очертания, поскольку в культовых обрядах они символизировались разнообразными масками, которые, в частности, могли изображать птицу, бабочку,

змею и др. Считалось, что именно в этих масках пребывает дух умерших. Маска в древности служила предметом поклонения, но также оберегом от злых сил и врагов, она олицетворяла борьбу между Добром и Злом; кроме того, маска имела и продуцирующую символику [Buraud 1961; Lommel 1970; Kaus 1972; Sorel 1973; Krause 1929; H. Jansen, R. Jansen 1978]. Одновременно с этим маска могла быть символом Смерти. С другой стороны, души умерших олицетворялись различными явлениями природы – снегом, дождем, бурей, а также солнцем, луной, звездами, камнями или растениями, деревьями, животными, а также минералами (тох. А *añcu* "железо"). Ритуал культа предков нередко сопровождался звуками, музыкой, символизировавшими Голос умершего: ср. и.-е. **amn-/*emn-* "rufen, schreien"; ср. с преформантами: и.-е. **su-en-* "издавать звуки"; и.-е. **k-ens-* "громко говорить"; тох. А *w-ens* "говорить"; ср. хет. *aniyaz* "сообщение" [Ackermann 1918; Preuß 1930; Krause 1931; Eckert 1948].

Обратимся к фактическому материалу. И.-е. корень **an-/*on-* (нем. *Ahn* "предок", лат. *anus* "старая женщина", прусск. *ane* "бабушка", хет. *annas* "бабушка", которые обычно считаются "детскими" или "лепетными" словами) соотносится с и.-е. **an-/*on-* "schneiden, schlagen" > "biegen, binden" (ср. греч. ἤψα "узда": и.-е. **yan-* "schneiden, schlagen", тох. А *on-*, *au-* "schneiden. schlagen"). Значение "бить" дает значение "высекать" > "высекать огонь" > "огонь" > "душа" (душа в древности понималась как огонь): ср. и.-е. **an-* "душа" (переход значений "огонь" > "душа" > "предок") можно проиллюстрировать следующими примерами: др.-сев. *svilar* "Schwäger von Schwestern", но и.-е. **suel* – "brennen"; др.-в.-нем. *basa* "Tante", но и.-е. **bhas-/*bhes-* "brennen"). С другой стороны, значение "бить, рвать" в индоевропейском могло переходить в значение "вступать в половые связи, продолжать род": ср. хет. *uen* "coïre". Вместе с тем указанное исходное значение могло соотноситься со значениями "зад-перед" (ср. др.-в.-нем. *anco* "der hintere Teil des Kopfes" хет. *annisan* "previously"), "начало–конец", "верх–низ", а также "там", "тот", "далекий–близкий", "пустой, отсутствующий" (ср. др.-в.-нем. *ana, anu* "ledig, frei"). Типологически ср.: и.-е. **kel-* "раскалывать", но латышск. *pa-kala* "задняя часть", латышск. *pa-kal* "позади"; и.-е. **(s)kend* "раскалывать", но англ. *be-hind* "позади", и.-е. **kent-* "последний"; с другой стороны, ср. литовск. *tolùs* "далекий", но и.-е. **tel-* "рвать", резать"; и.-е. **yer-* "рвать, резать", но также "высокий"; и.-е. **ker-* "рвать, резать", но также "высокий"; ср., однако, и.-е. **lek-* "рвать, резать", но исл. *lâgr* "низкий"; и.-е. **bhes-* "schlagen, abreiben, schneiden", но лат. *bassus* "низкий"; и.-е. **sek-* "разрывать, рассекать", но латышск. *sâkt* "начинать"; и.-е. **bher-* "разрывать, рассекать", но шведск. *börja* "начинать"; и.-е. **ker-* "schneiden", но авест. *karana-* "конец"; и.-е. **ghel-* "разрывать", но литовск. *galas* "конец". Указанный индоевропейский корень **an-/*on-* может расширяться: ср. и.-е. **and-* "душа", а также и.-е. **an-ek-/*en-ek-* "достигать" (ср. украинск. *онук*, русск. *внук*); ср. также элемент *-енко, -енок* в украинских и белорусских фамилиях (*Ковал-енко, Ковал-енок*: тох. А *oñk* "человек").

Можно полагать, что и.-е. **an-* "предок" (нем. *Ahn* "предок") восходит к гот. *ans* "шест" (символ целостности Космоса, олицетворение связи посюстороннего и потустороннего миров, а также символ Божества: ср. гот. *anses* "божество", др.-сев. *áss* "божество"). Следует также иметь в виду то обстоятельство, что язычники считали свое жилище центром связи посюстороннего и потустороннего миров: ср. др.-англ. *innung* "a dwelling" ("Liber Scintillarum" 11, 18), англ. *inn* "a large lodging-house".

Предок представлялся не только в виде Огня и Души, но и в виде Тени [ср. и.-е. **anos* "предок", но латышск. *ena* "тень"; ср. арм. *and* "поле" (> "потусторонний мир")]. Душа предка воплощала сверхъестественную божественную Силу (ср. др.-инд. *iná* "stark"); вместе с тем Душа предка (ср. хет. *annas* "the day of one's death"), как уже

говорилося, могла олицетворять Зло, Болезнь (ср. хет. *inan* "болезнь"), которые в процессе ритуала (ср. хет. *aniur* "ритуал", а также др.-сев. *anna, inna* "ausführen, leisten") необходимо было "связать" (хет. *anuz* "rein, bridle"). Ритуал призван был показать заботу о душе умершего со стороны живых [ср. хет. *an(ni)ya-* "care for", др.-сев. *ansa* "care for", ср. англ. диал. *to ant* "to show attention to, respect, obey"]. Свято́сть душ умерших и глубокое почтение к ним символизировались Движением, которое было неотъемлемой частью ритуала (ср. исл. *ana* "двигаться"). Огромную роль в ритуале культа предков играло его зримое воплощение в виде Маски, в виде Лица: ср. др.-инд. *anika-* "лик", "лицо", ирл. *enech* "лик, лицо" (ср. с преформантом: хет. *s-enas* "image; clay or wax figure"; др.-инд. *s-anuh* "wiseacre; epithet of Sun; high wind", ирл. *s-ion* "weather"; ср. также др.-в.-нем. *-s-ani* "magvel" в композите *self-sani*)¹. Почитание духов-тотемов или задобривание злых духов (ср. шведск., датск. *gnd* "плохой, злой") осуществлялось посредством ритуальной трапезы-жертвоприношения: ср. др.-инд. *anna-* "food". Отметим, что понятие Души предка неизменно соотносилось с понятием Времени, Вечности: ср. и.-е. **en-* "Jahr"². Вкушение пищи доставляет радость-экстаз (алб. *andë* "радость", ср. также и.-е. **uen-* "радость, удовольствие" (ср. хем. *uen* "coire") и приобщает (др.-инд. *anduh* "Fußkette") умершего к живущим. Дух умершего для почитавшего его язычника – это он сам, само его существо: ср. тох. *A āñm-* "le soi, le moi"³ [Clemen 1920; Frazer 1913–1924; Heinzmann 1965; Rohde 1894; Söderblom 1901 Im. 1992; IHD 1985; IR 1970; Nolan 1967; Hermann 1997; David–Neel 1997]. Дух умершего живет в его Имени: ср. и.-е. **en-men* "имя". При этом души умерших нередко выступали в виде Оракула (ср. нем. *ahnen* "предчувствовать").

Дух предка, относящийся к "своему" роду, для язычников олицетворял истоки рода, все истинное и божественно первозданное: ср. литовск. *unas* "истинный" и др.-инд. *yoni* "womb", а также кимрск. *anau* "гармония".

Язычники верили, что у человека есть не с к о л ь к о душ: одна душа находится в человеческом теле, а д р у г и е (в том числе и души умерших) обитают в животных, растениях, живут около домашнего очага, в лесах, в реках и болотах, в деревьях. Культ предков – это культ "другой души", "другого я", отражающий миф о вечном возвращении или миф о "приходе мертвого брата" [Элиаде 2000; Евалин 1993]. Ср. в связи с этим русск. *иной*, др.-инд. *ануа-* "другой". Культ мертвых был основан и на вере язычников в то, что "жизнь во всей ее полноте, жизнь, означающая длительность и прочность существования мира и человека, черпает свои силы в смерти и смертью очищается" [Цивьян 1990: 90]. Жизнь – это жертвоприношение Сметри, а Смерть – жертвоприношение Жизни. При этом и Жизнь, и Смерть олицетворяются Огнем – символом Души: ср. типологически: и.-е. **as-* "огонь", но авест. *aoša-* "смерть" и др.-инд. *asu-* "жизнь"; нем. *s-ter-ben* "умирать", но и.-е. **ter-/tel-* "гореть": валлийск. *tor* "матка"; др.-англ. *teors* "männliches Glied": и.-е. **ternos* "молодой": греч. *θήραπέω* "исцелять"; осет. *waryn* "рожать", но тох. *A wäl* "умирать". С другой стороны,

¹ Развитие значения "маска": и.-е. **an-* "schneiden" / "biegen" > "hüllen". Типологически ср.: и.-е. **mai-* "schneiden": но др.-инд. *mayá-* "маска"; и.-е. **kau-* "biegen"/"schneiden", но литовск. *kaukė* "маска". Понятие "прятать, скрывать" соотносится со значением "краска". Синяя краска – символ потустороннего мира (ср. хет. *antara* "синий" < и.-е. **an-* "brennen" + **tar-/ter-* "brennen"). Ср., однако, и.-е. **an-* "предок" + ирл. *torr* "матка", др.-англ. *teors* "penis" (огонь – символ продолжения рода).

² Типологически ср.: румынск. *stramozi* "предок": первый элемент этого слова восходит к лат. *extra* "beyond", а второй элемент соотносится с румынск. *moș* "предок", который в свою очередь связан с алб. *mošë* "age, old man": праалб. **matušā*: ср. алб. *mot* "time"; "weather, storm, thunderbolt"; осет. *met* "snow", литовск. *mėtas* "time: year", иранск. **matya-* "day".

³ Души умерших нередко отождествлялись с живыми людьми: ср. нем. *ähnlich* "похожий".

интересно учесть лат. *vic-tima* "жертвоприношение": ср. относительно первой части латинского слова хет. *ug/uk* "смерть" (ср. литовск. *vỹkis* "жизнь, живость", литовск. *viẽkas* "сила, жизнь", др.-сев. *vig* "борьба", русск. *век*), а относительно второй части латинского слова – тох. *A tām* "рожать"; ср. еще: и.-е. **ghel-* "brennen", но прусск. *gallan* "смерть".

Огромную роль в языческом ритуале играло Масло, которое лили в Огонь в виде жертвоприношения; Масло олицетворяло спасение Души, приближение ее к живущим: ср. нем. *Ahn* "предок" и нем. диал. *Anke* "масло": прусск. *anktan* "масло", др.-инд. *anjati* "salben". Масло отождествлялось также с Душой и с Божеством. Жидкое масло (символ мужского семени), которое язычники лили в сакральный огонь, олицетворяло не только продолжение (умножение) рода, но и "первичное семя" предка, а также самого предка.

Индоевропейский корень **an-/*en-* "душа, дух" из соображений табу часто табуировался: ср. лат. *m-ānēs* "души умерших", но др.-англ. *h-an* "камень", ирл. *m-aen* "камень", гот. *st-ains* "камень" (камень как вместилище душ; типологически ср.: гот. *ah-ma* "душа", но и.-е. **ak-men*; англ. *soul* "душа", но тох. *A sul* "гора"; латышск. *elpēt* "дышать", но и.-е. **lep-* "камень"), др.-инд. *v-ana* "дерево; облако; вода" (вместилище души), др.-англ. *sw-inn* "песня, звуки" (считалось, что Душа издает звуки), и.-е. **g-en-* "родить" (продуцирующая способность Души), др.-англ. *w-ann* "темный" (Темнота считалась фаллическим символом); и.-е. **p-en-* "пища, трапеза" (для душ умерших)⁴: во всех приведенных корнях перед нами и.-е. **an-/*en-* с различными преформантами. Дух-Предок метафорически соотносился также с Кругом – символом продолжения рода (и.-е. **anu-* "круг, кольцо") и с мировой Чашей (хет. *hānisas* "чаша") – символом трансмутации и концентрации вселенской Энергии (та же символика и у Цветка: ср. греч. *ἄνθος* "цветок"). Кроме того, Дух-Предок символизировал Очищение (ср. хет. *ans* "to wipe"; *hanes* "to clean") и Целостность (ср. лат. *omnis* "целый, весь").

Остановимся теперь на русском слове *пра-щур* "предок". Это слово можно сопоставить с русск. диал. *щур* "червь", греч. *σαύρα* "ящерица, рептилия" – символами Бога-Предка: ср. др.-инд. *sura-* "божество", др.-инд. *surya-* "солнце". Рептилии в языческом обществе играли выдающуюся роль: они приравнивались к Божеству-Предку. В этой связи В.В. Евсюков отмечает: "Главное свойство земли, имевшее в глазах древнего человека первостепенное значение, – это плодородие. Неведомая чудесная сила, ежегодно производящая злаки и растения и дающая тем самым пропитание людям и зверям, не могла не вызвать в религиозном сознании почтительнейшего к себе отношения. Появление из мертвой почвы живых ростков казалось загадкой, тайной, чем-то сверхъестественным. Параллельно с обожествлением плодоносящей почвы формировался и культ животных, считавшихся ее воплощением и символом. Все качества земли в равной степени приписывались им. Так получилось, что хтонические создания – лягушки, черепахи, змеи и им подобные – вопреки своей ничтожной роли в жизни человека, в мифологии приобрели значение совершенно особое, если не сказать выдающееся... Люди наделяли их волей, разумом, душой, чувствами, ставили выше себя, приписывали им особое могущество и сверхъестественные свойства" [Евсюков 1988: 58]⁵. Ср.: греч. *σαύρα* "ящерица", но

⁴ Ср. также: бретонск. *gw-enn* "белый". Белый цвет в древности символизировал Потусторонний мир, смерть (ср. хет. *henkan* "смерть"), а также олицетворял божественные превращения, трансмутации, переход в другое состояние и жертвоприношение.

⁵ Интересно, что язычники нередко освящали свои родовые стойбища именем Божества-Рептилии: ср. нем. *Stadt* "город", но др.-англ. *tād* "лягушка, жаба"; др.-инд. *nagaḥ* "змея", но др.-инд. *nāgarām* "город"; лат. *rubēta* "жаба", но лат. *urbs* "город"; др.-англ. *use* "лягушка", но литовск. *ūkis* "Bauernhof".

др.-инд. *sura* "божество"; др.-англ. *yce* "лягушка", но др.-сев. *yki* "wunderbares Ereignis"; латышск. *cuška* "змея", но нем. *keusch* "целомудренный"; чешск. *had* "змея", но др.-англ. *hād* "Rang, Stand, Würde", "Geschlecht, Familie, Stamm"; русск. *змея*, но цыганск. *gam* "солнце"; латышск. *tarps* "червь" (> "змея"), но литовск. *tarpti* "продвигать".

Интересно, что значение "земноводные" (змея, лягушка) лежит в основе значения "отец" (метафорическое обозначение Неба, Сверх-Эго, Божества, Солнца, Творческого начала) и "мать" (метафорическое обозначение Богини, Матери-Земли, женского производящего начала): ср. и.-е. **patēr-* "отец", которое можно соотносить с сочетанием корней, представленных др.-англ. *pād* "лягушка" [ср. сказочный сюжет о царевне-лягушке, сбрасывающей кожу: сбрасывание кожи символизировало бессмертие, вечность; ср. др.-англ. *pad* "одежда", "кожа", нем. диал. *Pfait* "одежда" > "покрытие, кожа", а также форму без преформанта: латышск. *ada* "кожа"] + бретонск. *aer* "змея". Все земноводные в древности ассоциировались с плетением: ср. и.-е. **patēr-* "отец", но русск. *пет-ля*, др.-сев. *fätill* "Band" + и.-е. **ar-* "связывать, плести" (ср. и.-е. **ar-* "гореть, переплетаться": о языках пламени). Подобным же образом и.-е. **mater-* "мать" соотносится с и.-е. **mat-* "змея" [ср. латышск. *matenīs* "black water-snake", валлийск. *mad* "reptile" (Mann: 735)] + бретонск. *aer* "змея" (ср. осет. *arv* "небо", др.-англ. *éar* "земля"). С другой стороны, можно полагать, что и.-е. **patēr-* "отец" и **m-ater* "мать" представляли собой образования с преформантом от и.-е. **āter-* "огонь" (ср. и.-е. **water-* "вода" и "огонь"). Понятие Огня (мужское начало) и Воды (женское начало) непосредственно соотносятся с понятиями плетения, сгибания (соответственно: с плетением языков пламени и с плетением вод; плетение Огня напоминало язычникам плетение Змеи, которое символизировало тесно связанные между собой Узлы жизни и Узлы Смерти, т.е. Вечность: ср. лат. *aeternus* "вечный", лат. *aeternitas* "вечность"). С и.-е. **ater-* "огонь" можно сопоставить, с одной стороны, англ. *adder* "змея, гадюка" (ср. с другим преформантом: чешск. *h-ad* "змея", др.-англ. *t-ād* "жаба") и тох. *A atār* "герой", тох. *A atāl* "человек-микроскосм", а с другой стороны, гот. *aifēi* "мать" и русск. *омец*, хет. *attas* "отец", гот. *atta* "отец" соответственно.

Индоевропейский корень **patēr-* "отец" можно, однако истолковать еще следующим образом: и.-е. **pā-* "кормить" ("оплодотворять") + иранск. **darya* "вода, жидкость, семя", букв. "оплодотворяющий жидкостью". Индоевропейский корень **mater-* "мать" можно истолковать как и.-е. **mat-* "съесть" (гот. *matjan* "съесть") + иранск. **darya-* "вода, жидкость, семя", букв. "съедающая семя" (жидкость, воду)". Слова, обозначающие Отца и Мать в индоевропейском воплощают образ Огня, выгибающегося вверх (небо) и прогибающегося вниз (земля); ср. еще: тох. *A pāts* "земля" + др.-англ. *éar* "земля"; и.-е. **potis* "сила" + и.-е. **ter-* "сила" (ирл. *trēn* "сила", др.-сев. *þrekr* "сила"): [Bornkamm, Gadamer, Assmann, Lemke, Perliit 1976].

С другой стороны, русск. *пра-щур* следует сопоставить с и.-е. **ker-* / **kur-* "гореть; огонь" (связь, переплетение языков пламени, напоминавшие кровные узы членов клана: ср. и.-е. **ker-* "binden"). В то же время значение "гореть" непосредственно связано со значением "душа". Рассматриваемый корень выступает также в фаллическом значении: ср. русск. диал. *кур* "мужской половой орган"; ср. также др.-инд. *kula* "род, клан", а также индо-арийск. *kora* "молодой, новый". Сюда же русск. *корм*, *кормить* (соитие в древности уравнивалось с глотанием, с едой). Ср. еще русск. диал. *щур* "птица" (вместилище души) [Трубачев 1959].

Рассмотрим теперь и.-е. корень **ag-* / **eg-* / **eg-*, который означает "огонь" (фаллический символ), а также "душа" (в древности огонь олицетворял душу): ср. арм. *ogi* "душа" (в том числе Душа предка). С другой стороны, тот же корень представлен в гаэльск. *ogha* "внук", а также в формах с преформантами: англ. диал. *r-eek* "род,

клан "пре-док" / "потомок"; и.-е. **m-ag-* "предок" / "потомок". Вместе с тем рассматриваемый корень выступает в русск. *sn-eg*, франц. *n-eige*, лат. *n-ix* "снег", а также в нем. *R-eg-en* "дождь", нем. *H-ag-el* "град" (олицетворение Предка метеорологическими явлениями) [Афанасьев 1994]. Интересны различные коннотации рассматриваемого корня, отраженные в словах с преформантами: ср. др.-инд. *ojas* "(сверхъестественная) сила", но исл. *r-ögg* "сверхъестественная сила", русск. диал. *sn-aga* "(сверхъестественная) сила". Ср. также: англ. *sn-ack* "пища, еда" (трапеза в честь душ предков), хет. *h-uek* "колдовство", прусск. *n-eik-aut* "wandeln", греч. *γένκος* "борьба" (борьба Жизни со Смертью), др.-инд. *r-ok-am* "лодка, корабль" (ср. без преформанта: др.-сев. *ekkja* "лодка, корабль": в древности считали, что души умерших перевозятся в потусторонний мир в лодках); ирл. *m-ag* "поле" "потусторонний мир"; тох. А *r-ake* "слово" (звуки, издаваемые душами предков); ср. еще: др.-инд. *r-ák-sati* "бережет" (почитание предков), русск. *n-ega* (блаженство душ умерших).

Души умерших предков могли также, согласно древним верованиям, обитать в животных и в деревьях; ср. слова с рассматриваемым корнем: др.-инд. *r-ek-ah* "лягушка"; нем. *B-ock* "козел", а также латышск. *k-uðks* "дерево".

Старец-Предок в древности символизировал обилие, плодородие, божественную силу, небо, божественные стихии. В честь предков-старцев устраивались сакральные игры, которые представляли собой борьбу-молитву, обращенную к предкам: ср. хет. *huhha* "старик, предок", но англ. диал. *hock, hock-day* "annual festivity or rejoicing"; алб. *plak* "старый", но др.-англ. *plega* "Kampf", англ. *play* "игра"; тох. А *mok* "старый", но лат. *tox* "обычай, нравы", греч. *μόγος* "Mühe, Anstrengung" (ср. тох. А *muk* "сила"); греч. *γέρων* "старик", но лат. *feriae* "религиозный праздник, торжество, сакральное действо". Старость метафорически сравнивалась с крепостью древесины и с силой горящего огня: ср. хет. *huhha* "старик", но латышск. *kuðks* "дерево" (ср. и.-е. **keu-* "гореть"); ирл. *crionna* "старый", но и.-е. **ker-* "дерево; куст" (ср. и.-е. **ker-* "гореть"); валлийск. *methu* "стареть", но литовск. *medis* "дерево" (ср. **medh-* "brennen").

2. КУЛЬТ ОГНЯ

Д.Н. Овсяннико-Куликовский отмечал: "Когда впервые был найден способ добывать огонь трением двух кусков дерева, то в распоряжении младенческого, полудикого человечества явился могучий рычаг для поступательного движения общественности: малютка, рожденный деревом, стал творить чудеса, – он согревал, варил пищу, освещал потемки, т.е. прогонял столь враждебный человеку мрак и пр. Тысячу услуг – крупных и мелких, – тысячу благодеяний оказывал он людям. Пылая на домашнем очаге, он собрал, сгруппировал вокруг себя людей, в наивной душе которых при виде пламени, ими же возженном, пробуждалось то чувство радости, то чувство восторга..." [Овсяннико-Куликовский 1884: 23–25]. Будучи величайшей загадкой для древнего человека, Огонь, совершенно естественно, приобрел для него статус Чуда (ср. и.-е. **ag-* "огонь", но др.-сев. *yki* "чудо"; и.-е. **prei-* "гореть", но арм. *hrašk* "чудо")⁶, а позднее и статус Божества: ср. и.-е. **su-* "гореть", но др.-инд. *sura* "божество"; и.-е. **pu-*, **pus-*, **paus-* "огонь; гореть", но и.-е. **pauson* "божество"; и.-е. **kabh-/gabh-* "гореть", но и.-е. **kabeiro-* "божество"; и.-е. **bhok-* "гореть", но русск. *бог*; и.-е. **seu-/su-* "гореть", но хет. *siwas* "божество".

Относительно восприятия дикарем-язычником появления Огня Д.Н. Овсяннико-

⁶ Ср. также и.-е. **tep-* "гореть, огонь", но др.-сев. *tifurr* "божество".

Куликовский отмечает: "Огонь выходит из дерева; стихия подвижная, эфирная, неустойчивая возникает из твердого и плотного тела, горячее выходит из холодного. Очевидно, в дереве скрыт огонь, и процесс трения только вызывает его наружу. Это, стало быть, не более, как магическая манипуляция, принуждающая скрытое в дереве божество выйти из своего убежища. Но вот он вышел, он появился – с треском и блеском; сперва он неровен, угловат и безобразен; его кормят, – он пожирает щепки, ветви, листья – пожирает и растет, и по мере возрастания незаметно превращается из неуклюжего в стройного и сильного, – вот он уже превратился в яркое и мощное пламя, он уже далеко не безобразен, он красив и величествен, – он великолепен, – в особенности когда угостят его растопленным маслом (он любит эту пищу); пожирая масло и щепки, все растет и растет он; его огненные языки тянутся к небу; он мечет искры и в клубах дыма уносится в небеса. Если в этот дым бросить крылатое слово молитвы, он улетит вместе с ним в небеса, к богам. Здесь все полно тайны, здесь все чудесно" [Овсяннико-Куликовский 1884: 23–24]. Согласно древним представлениям, Огонь был тесно связан с Водой: они характеризовались одним и тем же свойством – плетением, и составляли две стороны одной и той же мифопоэтической диады: ср. и.-е. **uer-* "огонь; гореть", но тох. А *war* "вода"; и.-е. **eus-* "огонь", но и.-е. **au-* "вода"; и.-е. **leip-* "огонь; гореть", но и.-е. **leibh-* "вода; мокрый, жидкий"; кельтск. **mog-* "огонь", но русск. *мокрый*. Вполне понятно, что слова со значением "огонь" приобрели значение "поклоняться божеству": ср. и.-е. **dau-* "гореть", но и.-е. **deu-* "поклоняться божеству"; и.-е. **uer-* "огонь", но лат. *vereor* "поклоняться божеству"; и.-е. **ag-* "огонь", но и.-е. **īag-* "поклоняться божеству".

Огонь мыслился древними как ничем не сдерживаемая божественная Стихия. В связи с этим неудивительно, что большинство индоевропейских слов со значением "свобода, свободный" соотносится со значением "огонь, гореть": ср. и.-е. **prei-* "гореть", но англ. *free*, нем. *frei* "свободный"; русск. *свобода*, но и.-е. **su-* "brennen" + *bhaudo-* "brennen"; кельтск. **mug-/mog-* "огонь", но др.-инд. *muṅc-* "свободный"; литовск. *arvas* "свободный", но и.-е. **ar-* "гореть".

Божество в древности описывалось метафорой "огненный": ср. алб. *hyj* "бог", но и.-е. **keu-* "гореть"; и.-е. **syer-* "гореть", но др.-инд. *sura-* "бог"; лат. *deus* "бог", но и.-е. **dau-* "гореть" (ср. литовск. *dievas* "Gott"); и.-е. **as-* "гореть", но др.-сев. *ass* "бог"; др.-перс. *baga-*, авест. *baya-*, русск. *бог*, но и.-е. **bhag-* / **bhag-*, **bhok-* "гореть" < и.-е. **bhā-* "гореть".

В древнем обществе в качестве Божества, олицетворяемого Огнем, могла выступать Корова и другие парнокопытные. Ср. лат. *vacca* "корова", но др.-в.-нем. *wahan* "гореть"; и.-е. **ker-* "гореть" (ср. греч. *κέρας* "рог", букв. "язык пламени"), но русск. *корова*; др.-инд. *ahi* "корова", но и.-е. **ag-* "гореть; огонь"; алб. *lopë* "корова", но и.-е. **leip-* "гореть; огонь"; др.-англ. *lieg* "огонь", но ирл. *laeg* "теленки"; и.-е. **bher-* "гореть", но алб. *bari* "скот"; ирл. *ferb* "скот", но и.-е. **uer-* "гореть"; русск. *теленки*, но индо-арийск. **tal-* "гореть; огонь"; др.-русс. *говядо* "корова", но и.-е. **geu-* "гореть" (и.е. **geu-lo* "горящий уголь")⁷; интересно сопоставить кельтск. **mog-* "огонь; гореть", и греч. *μόσχος* "теленки" (с инфиксом *-s-*), ср. литовск. *mazgas* "узел" (переплетающиеся языки пламени), а также тох. А *māsk-* "быть; становиться, превращаться", но тох. А *musk-* "исчезать" (первоначально об огне). Ср. также: и.-е. *(s) *keu-* "brennen", но русск. *скот* и хет. *kutar* "strength", литовск. *kutrūs* "strong", *kutinti* "strengthen" и далее: др.-русс. *скот* "имущество: деньги, подать", гот. *skatts* "налог", др.-сакс. *skat* "деньги, богатство" (витальный аспект богатства) [Козик 1997]. Развитие значений: "гореть" > "сила" (огня) > "богатство" (как воплощение силы). С другой стороны, понятие огня и света по энантиосемии тесно связано с понятием

⁷ Ср. также и.-е. **prei-* / **prau-* "гореть", но болг. *правда* "скот".

тьмы и мрака (ср. и.-е. *ker- "гореть", но и.-е. *k'irs "темный": Mann 619). Согласно древним верованиям, все в Мироздании рождено из Тьмы: ср. русск. *темный*, но тох. *A tām-* "родить"; нем. *dunkel* "темный", но др.-инд. *duc-/tuc-* "потомство"; греч. *υνοφος* "темнота", но и.-е. *gen- "родить" [Frick 1975]. Ср. еще: греч. *σχοτός* "мрак", но русск. *скот* ("Божество, рожденное из Тьмы).

Вместе с тем значение "огонь" непосредственно связано со значением "быстро двигаться, выбрасывать" > "родить": ср. и.-е. *skeut- "выбрасывать". Следует также учесть и.-е. *kat- / *keut- "плести, скручивать" (об огне), откуда вполне закономерно возникло значение "стадо": ср. лат. *caterva* "сплоченный отряд людей", лат. *catena* "цепь". Значение "плести, сплестать" связано также со значением "схватить", в связи с чем русское слово *скот* можно понять как "то, что захвачено на войне" (ср. ирл. *cath* "война"): типологически ср.: болг. *добитък* "скот", чешск. *dobytok* "скот" и русск. *добыча*. Ср. еще тох. *A kāts* "живот": в антропоморфной модели Вселенной живот символизирует центр Огня.

Птица в древнем сознании отождествлялась с движущимся языком пламени: ср. англ. *bird* "птица", но и.-е. *bher- "гореть"; бретонск. *labous* "птица", но и.-е. *lap- / *leip- "гореть"; и.-е. *pu-g, *peu-k "гореть", но нем. *Vogel* "птица", ср. литовск. *paukštis* "птица"; греч. *ορνις* "птица", но и.-е. *ar-, *or-, *uer- "гореть"; лат. *avis* "птица", но и.-е. *au- "гореть" (ср. лат. *aurora*, букв. "горение").

Огонь в древности наделялся созидательной функцией: ср. индо-арийск. *ūbba- "огонь", но нем. *üben*, тох. *A ur* "делать, производить"; и.-е. *ar- "гореть; огонь", но арм. *arel* "делать, производить"; др.-в.-нем. *wahan* "гореть", но литовск. *veikti* "делать, производить"; и.-е. *dau- "гореть", но англ. *to do*, нем. *tun* "делать, производить"; и.-е. *ag- "гореть", но лат. *agere* "делать, производить"; и.-е. *uer- "гореть", но также "делать, производить"; и.-е. *ker- "гореть", но также "делать, производить"; и.-е. *gher- "гореть", но шведск. *göra* "делать"; русск. *работать*, но индо-арийск. *rappa "огонь"; и.-е. *prei- "гореть", но болг. *права* "делать"; кельтск. *mak- / *mok- "огонь", но нем. *tachen*. Значение "делать, совершать" в свою очередь соотносится со значением "колдовать"; при этом, как показал В.И. Абаев, значение "делать" также связано со значением "издавать звуки, говорить", которое, соотносится еще со значением "колдовать, накладывать чары": ср. и.-е. *uer- "гореть" и "делать", но русск. *ворожить*, русск. *враг*, литовск. *vargas* "горе, беда, мучение", прусск. *warg* "плохой" и осет. *warz* "любовь": нем. *Werk* "работа", *wirken* "работать" (первоначально: "совершать сакральные действия"): и.-е. *uer-, *suer- "издавать звуки"; и.-е. *keu- / *geu- "brennen"; но греч. *γοητεία* "колдовство, ворожба": и.-е. *ko-no "делать, совершать": и.-е. *kau, *keu- "издавать звуки" [Абаев 1988; 1988a].

Огонь – символ сверхъестественной силы: и.-е. *teg- "гореть", но осет. *тух* "сила"; лат. *rogus* "огонь, костер", но исл. *rögg* "сила"; и.-е. *ker- "гореть", но греч. *κράτος* "сила"; др.-инд. *dunóti* "гореть", но греч. *δυνατός* "сильный"; литовск. *stiprūs* "strong", но и.-е. *tep- "brennen"; и.-е. *ag- / *eg- "brennen", но литовск. *jėga* "Kraft"⁸; кельтск. *mog- "Feuer", но русск. *могучий*; и.-е. *bhel- "гореть", но др.-инд. *bala-* "сила".

В антропоморфной модели Вселенной центром Огня считался Рот: ср. осет. *kom* "рот", но русск. диал. *кометь* "гореть"; лат. *bocca* "рот", но и.-е. *bhok- "гореть"; литовск. *burnà* "рот", но и.-е. *bher- "гореть"; др.-англ. *mūð* "рот", но и.-е. *bhaudo "brennen" (ср. *meu- "brennen"). Символом Огня считался также Нос: ср. литовск. *deguns* "нос", но и.-е. *dheg- "гореть"; тох. *A malañ* "нос", но и.-е. *mel-/*mer/*bhel-/*bher- "brennen".

Древние считали, что Огонь обладает очистительным и омолаживающим свойством: ср. и.-е. *ar- "гореть"; огонь, но хет. *arr-* "очищать"; и.-е. *uer- "гореть",

⁸ Ср. также др.-инд. *ojas* "сила".

но литовск. *svarūs* "чистый"; и.-е. **su* "гореть", но хет. *suppas* "чистый"; и.-е. **kel-* "brennen", но англ. *clean*; и.-е. **ter-* "гореть", но литовск. *tyras* "чистый". С другой стороны, ср. и.-е. **ker-* "гореть", но индо-арийск. *kora* "молодой, новый"; и.-е. **уер-* "гореть", но тох. А *wir* "молодой, новый"; англ. *smoulder* "тлеть, медленно гореть" (об огне), но русск. *молодой*. Языки сакрального огня в древности уподоблялись Змее, а также Волосам, Рукам, Пальцам. Ср. русск. диал. *коза* "костер" (и.-е. **kes-* "высекать: огонь"), но латышск. *čūska* "змея" (ср. нем. *keusch* "чистый, целомудренный": типологически ср. англ. *snake* "змея", др.-инд. *nagaḥ* "змея", но англ. диал. *snoick, snog* "virgin, chaste": и.-е. **ag-* "Feuer", но др.-инд. *ahi* "змея"; бретонск. *aer* "змея", но хет. *arr-* "чистить"). Ср. далее: и.-е. **уер-* "гореть", но гот. *waurms* "змея"; и.-е. **prei-* "brennen", но нем. диал. *Pier* "червь, змея"; лат. *colubra* "змея", но и.-е. **kel-* "гореть" + и.-е. **bher-* "гореть"; и.-е. **уег-* "гореть" (др.-в.-нем. *wahan* "гореть", греч. αὐγῆ "ослепительный свет"), но тох. А *auk* "змей"; и.-е. **mer-* "гореть", но курдск. *mar* "змея". Ср. также переходы значений: "гореть" > "рука"; "гореть" > "палец"; "гореть" > "волосы": и.-е. **dheg-* "гореть", но и.-е. **dhuk-* "рука"; лат. *candere* "brennen", но нем. *Hand* "рука", "кисть руки"; и.-е. **bhag-* "рука" (арм. *bazuk* "рука"), но и.-е. **bhok-* "гореть"; и.-е. **ker-* "brennen", но др.-инд. *kara* "рука"; и.-е. **ghabh-* "гореть"; но др.-инд. *gabhasu-* "рука". Ср. далее: др.-англ. *tah* "палец на ноге", но и.-е. **teg-* "гореть" (ср. лат. *digitus* "палец", но и.-е. **dheg-* "гореть"); и.-е. **pel-* "гореть", но русск. *палец*; и.-е. **mer-* "гореть", но ирл. *mer* "палец"; и.-е. **a(n)g-* "brennen", но др.-инд. *anguli* "палец". Наконец, интересно соотношение значений "гореть" > "волосы": гот. *tagl* "волосы", но и.-е. **teg-* "гореть"; авест. *varesa-* "волосы", но и.-е. **уер-* "гореть"; др.-англ. *fah* "волосы", но и.-е. **pek-* "гореть"; и.-е. **ker-* "brennen", но нем. *Haar* "волосы", литовск. *gauras* "волосы", но и.-е. **gher-* "гореть"; др.-сев. *loð-* "волосы", но нем. *lodern* "гореть, пылать".

Горение Огня олицетворяло Бытие, но также изменение, становление: ср. и.-е. **mer-* "гореть", но ирл. *maraim* "быть, существовать"; и.-е. **kel-* "brennen", но арм. *linim* "быть; становиться, превращаться" < и.-е. **klin-*; ср. также и.-е. **kuel-* "быть"; и.-е. **tep-* "гореть", но литовск. *tàpti* "становиться, превращаться". и.-е. **teg-* "гореть", но тох. А *tak* "быть"⁹.

Значение "гореть" часто переходит в значение "большой" и "маленький" ср. и.-е. **tep-* "гореть", но хет. *tepus* "маленький"; русск. диал. *коза* "костер" (ср. и.-е. **kes-* "высекать: огонь), но авест. *kasu-* "маленький"; и.-е. **lap-/*alp-* "гореть", но др.-инд. *alpa-* "маленький"; ирл. *becc* "маленький", валлийск. *bacc* "маленький", но и.-е. **dheg-* "гореть" (ср. и.-е. **bhak-* "гореть"); и.-е. **реиуер-* "огонь", но греч. πᾶρος "маленький". С другой стороны, ср. и.-е. **bhel-* "гореть", но русск. *большой*; тох. А *wrotstse*, В *orotstse* "большой", но и.-е. **уер-* "гореть"; тох. А *ṣaw* "большой", но и.-е. **kau-/*keu-* "гореть"; тох. А *tsopats* "большой", но и.-е. **tep-* "гореть"; литовск. *didis* "большой", но и.-е. **dei-* "гореть, сиять"; ирл. *oll* "большой", но и.-е. **pel-* "гореть"; кельтск. **mag-/*mog-* "огонь", но греч. μέγας "большой"; англ. *big* "большой", но и.-е. **bhek-/*bhok-* "гореть"; и.-е. **ker-* "гореть" (ср. др.-англ. *hrician* "schneiden": "высекать огонь"), но др.-сев. *hriki* "giant", *hrika-* "huge"; и.-е. **sel-* "гореть", но хет. *sallis* "большой".

В языческом обществе Огонь был олицетворением Души: ср. русск. *гореть*, но латышск. *gars* "душа"; и.-е. **dhegh-* "гореть", но русск. *дух, душа*; и.-е. **суел-* "гореть",

⁹ Ср. также: и.-е. **as-* "гореть", но и.-е. **es-* "быть, существовать"; и.-е. **bhā-* "гореть", но и.-е. **bhū-* "быть"; дат. *vara* "быть", но и.-е. **уер-* "гореть"; хет. *kiša* "быть", но др.-инд. *kas* "сиять, гореть"; и.-е. **kuel-* "сиять, гореть", но также "быть, существовать"; алг. *rroj* "жить, существовать", но и.-е. **rei-* "гореть, блестять".

но англ. *soul* "душа"; и.-е. **and-* "огонь", но др.-сев. *gnd* "душа"; и.-е. **ag-* "гореть", но гот. *ah-ma* "душа"; и.-е. **puk-* "огонь", но греч. ψῦχή "душа"; и.-е. **kel-* "гореть", но ирл. *scal* "дух"; душа в свою очередь является олицетворением дыхания: ср. и.-е. **bher-* "гореть", но англ. *breathe* "дышать", *breath* "дыхание"; и.-е. **leip-/lap-* "гореть", но латышск. *elpēt* "дышать" (ср. иранск. **lap-/lep-* "дышать"). Своеобразным "летающим огнем" ("летающей душой") считалась Бабочка (предок – тотем); ср. литовск. *drugys* "жар; лихорадка", но также "бабочка"; греч. ἡπόλις "жар; лихорадка", но ἡπόλος "бабочка"; лат. *papilio* "бабочка", но и.-е. **pel-* "гореть"; ирл. *teine-de* "бабочка", букв. "божественный огонь"; ирл. *dealande* "бабочка", букв. "божественная молния"; русск. *бабочка*, но и.-е. **bhā-* "гореть"; нем. *Schmetterling* "бабочка", но др.-инд. *mathan* "Feuerbrandholz": ср. литовск. *matyti* "видеть" < "светить, сиять, гореть"; перс. *balwartah* "бабочка", но др.-англ. *bel* "Feuer" (ср. нем. диал. *Böli* "Feuer") + и.-е. **zer-* "Feuer; brennen" + **teg-* "brennen"; англ. диал. *lealow* "бабочка" < др.-англ. *lieg* "огонь" (ср. англ. диал. *low* "пламя": в слове *lealow* – редупликация) [Порчинский 1915; Immisch 1915; Manos-Jones 2000].

Слова со значением "огонь" ("свет") тесно связаны со словами, имеющими значение "звук, издавать звуки". Ср.: и.-е. **zer-* "гореть", но также "издавать звуки"; и.-е. **bher-* "гореть", но также "издавать звуки"; и.-е. **ker-* "гореть", но также "издавать звуки" (ср. без преформанта: и.-е. **ar-* "гореть", но также "издавать звуки"); и.-е. **lek-/leg-* "гореть" (др.-англ. *lieg* "огонь"), но также "издавать звуки" (лат. *loquere*); и.-е. **ag-* "огонь; гореть", но также "издавать звуки"; др.-в.-нем. *wahan* "гореть", но и.-е. **zak-* "издавать звуки" [Инайат Хан 1996].

Своеобразным "жидким огнем" в древности считался опьяняющий напиток, применявшийся при сакральном возлиянии: ср. и.-е. **ghel-* "гореть", но и.-е. **gēlā* "вино"; и.-е. **kes-* "высекать (огонь)" > "огонь" (ср. русск. диал. *коза* "огонь, костер"), но **kes-* > **kse-* > **kse-no* > **se-no*: осет. *sæn* "вино"; и.-е. **ai-*, **ei-*, **oi-* "гореть" > **ei-no*/**zei-no* "вино" (ср. и.-е. **zei-* "течь"); алб. *verë* "вино", но и.-е. **zer-* "гореть"; и.-е. **gei-* "гореть", но англ. диал. *geing* "спиртной напиток"; и.-е. **leidh-* "гореть", но др.-англ. *lið-* "вино"; др.-инд. *nipa* "Trank" < и.-е. **nei-* "гореть" (форма с преформантом от и.-е. **ei-/ai-* "гореть").

Д.Н. Овсяннико-Куликовский писал: "Рождаясь из растения, – как огонь из дерева, – он (опьяняющий напиток. – М.М.) согревает и даже жжет, как огонь, но только будучи выпит. Это как бы жидкий огонь. Он возбуждает восторги еще в большей степени, чем Agni. Проникая в человека, он приводит в священный трепет все силы души его, а человек чувствует, что какое-то божество – мощное и властное – вселилось в него; создание слабое и брэнное, он теперь ощущает в себе необычайный прилив сил, наплыв энергии, – он мнит себя причастным божественной субстанции и обладателем всяческой мудрости" [Овсяннико-Куликовский 1884: 25]. Понятие Огня легло в основу слов со значением "время/вечность": ср. и.-е. **kel-* "гореть", но др.-инд. *kala* "время"; и.-е. **dhegh-* "гореть", но гот. *þeihs* "время"; греч. ὥρα, и.-е. **zer-* "время", но и.-е. **zer-* "гореть"; и.-е. **reg-* "brennen" (лат. *rogus* "костер"), но сербско-хорв. *рок* "время"; и.-е. **bher-* "гореть", но др.-англ. *byre* "время"; и.-е. **leidh* "гореть", но др.-сев. *leidh* "время"; и.-е. **ād-* "гореть; костер", но пали *addhan* "время". англ. *spark* "искра", но тох. А *preke* "время".

Понятие огня лежит в основе не только слов со значением "время", но и слов со значением "место, пространство": ср. и.-е. **prei-* "гореть", но тох. А *eprer* "пространство"; др.-сев. *logi* "пламя", но лат. *locus* "место"; и.-е. **tep-* "гореть", но греч. τόπος "место"; и.-е. **dau-* "гореть", но ирл. *dū* "место"; кельтск. **mag-/mog-* "огонь", но ирл. *maigen* "место"; и.-е. **an(d)-* "гореть", но арм. *and* "поле".

Язык пламени в древности уподоблялся ветке дерева; в свою очередь поня-

тие ветки, прута связано с понятием места (пространство, обнесенное ветками): ср. и.-е. **ueid-* "гореть", но русск. *ветвь* и латышск. *vietà* "место". Интересно, что значение "место" может соотноситься со значением "мясо, пища": ср. ирл. *maigen* "место", но лат. *magmentum* "мясо, приносимое в жертву"; ср.-ирл. *fal* "забор, ограждение", но ирл. *feoil* "мясо"; ирл. *kig* "мясо", но др.-англ. *sceacg* "лес"; корнийск. *cuit* "лес", но шведск. *kött* "мясо" (место, где род добывал пищу).

С другой стороны, понятие огня непосредственно связано с понятием съедания, с понятием вкладывания пищи в рот (сакральный огонь "съедает" жертвоприношения, которые в него бросают): ср. и.-е. **ād-* "гореть", но и.-е. **ad-/ed-* "съедать"; и.-е. **gher-* "гореть", но также "съедать" (ср. русск. *жрать*); и.-е. **bher-* "гореть", но также "съедать"; и.-е. **suēl-* "гореть", но также "съедать". Отметим, что понятие съедания в древности было равносильно соитию: ср. англ. *food* "пища", но шведск. *föda* "рожать", нем. диал. *Fud* "vulva"; и.-е. **bher-* "съедать", но также "родить"; греч. φαγεῖν "съедать", но др.-инд. *bhaga-* "vulva"; гот. *matjan* "essen", но лат. *mentula* "penis"; англ. диал. *dyd* "закуска, завтрак", но др.-англ. *tydran* "родить".

С понятием Огня непосредственно связано понятие Рога (рог как язык пламени); с другой стороны, рог, как и огонь, – символ сверхъестественной силы: ср. нем. *Ge-weih* "рога", но нем. *wahan* "гореть" и и.-е. **ueig-* "сила" (ср. нем. диал. *Weig, Weigling* "сосуд"); русск. *рог*, но исл. *rögg* "сила" и лат. *rogus* "огонь, костер"; греч. κέρας "рог", но и.-е. **ker-* "гореть" и и.-е. **ker-* "сила, сильный" (ср. нем. диал. *Karre* "сосуд, кубок").

Значение "огонь; гореть" является также первичной метафорой для слов со значением "жить" и "умирать": ср. нем. *leben* "жить", но и.-е. **leip-* "гореть"; др.-англ. *diegan* "умирать", но и.-е. **dheg-* "гореть"; и.-е. **mer-* "умирать", но также "гореть"; и.-е. **ker-* "гореть", но осет. *coeryn* "жить" [Burland 1974].

Значение "огонь; гореть" может соотноситься со значением "правый": ср. и.-е. **reg-* "гореть; огонь" (лат. *rogus* "костер"), но нем. *recht* "правый"; и.-е. **kes-* "огонь, гореть", но иранск. **xiz, *hez* "правый": ср. русск. диал. *коза* "костер", др.-инд. *kasati* "strahlen"; лат. *dexter* "правый", но и.-е. **dhegh-* "гореть"; тох. В *saiwai* "à droite", но и.-е. **su-, *seu-* "гореть", тох. А *pāci* "qui est à droite", но и.-е. **pek-* "brennen".

Значение "огонь; гореть" может соотноситься со значениями "высокий" и "низкий". Ср. русск. *жар, жарить*, и.-е. **gher-* "гореть", но русск. диал. *жаровой* "высокий"; индо-арийск. **jal* "горение", но англ. *tall* "высокий"; и.-е. *kel-* "гореть", но лат. *celsus* "высокий"; валлийск. *uchel*, бретонск. *uhel*, греч. ὕψι "высокий", но др.-в.-нем. *wahan* "гореть"; др.-инд. *bṛhant-* "высокий", но и.-е. **bher-* "гореть"; и.-е. **ar-* "гореть", но ирл. *ard* "высокий"; интересен и.-е. корень **dhle(n)gh-/dhlegh-* "гореть", но русск. *длинный* (и.-е. **dhel-* "long, high") и русск. *по-длинный* "настоящий" (буквально "очищенный огнем"). С другой стороны, значение "гореть" может соотноситься со значением "низкий": ср. др.-англ. *lieg* "огонь", но шведск. *lågr* "низкий"; и.-е. **as-* "гореть", но и.-е. **is-* "низкий" (ср. ирл. *isel* "низкий"); русск. диал. *кометь, каметь* "гореть", но греч. χαμηλός "низкий" (ср. латышск. *zems* "низкий").

Внеземные области Мироздания (Небо – верх и Преисподняя – низ) обозначались в древности синим и черным цветами, которые в свою очередь соотносились с Огнем (верхний и нижний огонь): ср. и.-е. **terp-* "гореть", но англ. *top* "верх", тох. А *tpār*, В *tapre* "высокий", но нем. *tief* "глубокий", англ. *deep* "глубокий" и русск. *голубой*. К тому же корню относится и нем. *Taube* "голубь" (птица потустороннего мира): ср. также ирл. *dub* "черный"; типологически ср. и.-е. **kel-* / **ghel-* "гореть", но русск. *глубокий*: и.-е. **kel-* "высокий" (лат. *celsus* "высокий") и русск. *голубой*, а также русск. *голубь*: ср. литовск. *gilūs* "глубокий"; лат. *altus* "высокий", но также "глубокий" (ср. и.-е. **al-* "гореть").

Различные краски вздымающегося ввысь огня представлялись древним как круги, где каждая краска (круг) занимала свое иерархическое место в модели Все-3

ленной и имела в связи с этим определенное символическое значение: ср. и.-е. *dheg- "гореть", но др.-англ. *déag* "краска"; и.-е. *kei-/kai- "гореть", но также "краска"; и.-е. *el- "гореть", но также "краска". Ср. обозначение отдельных цветов: и.-е. *ker- "гореть", но также "черный"; и.-е. *keu-t > *kueit- "гореть", но также "белый"; и.-е. *gher- "гореть", но также "зеленый" (ср. нем. *grün* "зеленый"), ср. также и.-е. *цer- "гореть", но лат. *viridis* "зеленый"; и.-е. *bhel- "гореть", но нем. *blau* "синий", англ. *blue* "синий"; и.-е. *ghel- "гореть", но нем. *gelb* "желтый"; др.-англ. *dyð* "огниво", англ. сленг *dude* "огонь", но тох. А *tute* "желтый"; тох. А *tsem* "синий", но и.-е. *dhem- "гореть". Каждый цветовой круг горящего сакрального огня (цветовые чакры огня) воспринимался древними как "другой" уровень Мироздания; отсюда переход значений "огонь; гореть" > "другой": ср. латышск. *kaitēt* "гореть", но литовск. *kitas* "другой"; и.-е. *dhem- "гореть", но хет. *damais* "другой"; и.-е. *ater-/a(n)d- "огонь", но нем. *ander* "другой"; литовск. *drugys* "жар", но русск. *другой*.

Слова со значением "огонь" легли в основу значения "богатство", а также "иметь" (связь значений "огонь" – "сильный" – "богатый"): ср. и.-е. *as- "гореть", но русск. диал. *есть* "богатство", "имущество", русск. диал. *еслеть* "сила, мощь"; и.-е. *egnis "огонь", но др.-англ. *āgen, ægen* "собственный; собственность", нем. *eigen* "собственный; др.-англ. *āgan* "обладать чем-либо"; и.-е. *pel- "гореть", но латышск. *pel'ns* "заработок", др.-русс. *полон* "добыча"; др.-англ. *wrætt* "сокровище", но и.-е. *цer- "гореть"; др.-англ. *sinc* "сокровище", но и.-е. *senk- "зажигать, палить"; нем. *haben* "иметь", но и.-е. *kabh-/gabh- "огонь; гореть"; и.-е. *ar-gh-/al-gh "гореть", но др.-инд. *arghaḥ* "богатство", литовск. *algà* "оклад, жалование".

Живот и желудок, наряду со ртом и носом, считались центрами Огня в микрокосме-человеке: ср. нем. *Vauch* "живот", но и.-е. *bhok- "гореть"; англ. *belly* "живот", но др.-англ. *bel* "огонь, костер"; тох. А *kāt* "живот", но русск. диал. *камень, кометь* "гореть"; валлийск. *cylla* "желудок", но и.-е. *kel- "гореть"; др.-англ. *maga* "желудок", но кельтск. *mag-/mog- "огонь"; русск. *желудок*, но и.-е. *ghel-dh "гореть". Подобным же образом и значение "кишка" соотносится со значением "огонь" (в древности жрецы гадали по кишкам принесенных в жертву животных; кишки уподоблялись языкам пламени): ср. и.-е. *el-/al- "гореть", но лат. *ilia* "кишка"; и.-е. *цer- "гореть", но греч. *ἄρια* "кишка"; др.-англ. *eosen, iesen* "кишка", но и.-е. *as- "огонь; гореть".

Лошадь и птица в древности изображались с крыльями и соотносились с понятием движущегося ("летающего") Огня: ср. и.-е. *ghel- "гореть", но нем. *Gaul* "лошадь" и англ. *gull* "чайка"; и.-е. *ar- "огонь; гореть", но др.-русс. *орь* "конь" и и.-е. *ar- "большая птица" (ср. русск. *орел*, греч. *ὄρις* "птица"); и.-е. *ker- > *kres- "гореть; зажигать", но русск. *коршун* и др.-англ. *hros*, англ. *horse* "лошадь"; и.-е. *bher- "гореть", но англ. *bird* "птица" и хет. *paras* "лошадь"; др.-в.-нем. *wahan* "гореть", но др.-англ. *wicg* "лошадь" и нем. *Wiehe* "коршун"; авест. *merega-* "птица", но валлийск. *march* "лошадь" и и.-е. *merk- "гореть"; лат. *aquilo* "орел", но лат. *equus* "лошадь" и и.-е. *ag-/ak- "гореть".

Понятие "огонь" соотносится с понятиями начала и конца: ср. и.-е. *ad- "огонь; гореть", но др.-инд. *adi* "начало" и нем. *Ende* "конец"; и.-е. *bher- "гореть", но шведск. *börja* "начинать"; осет. *k'ona* "очаг", но русск. *кон-ец* и русск. *на-чин-ать*; и.-е. *se(n)k- "гореть", но латышск. *sākt* "начинать".

Вздымающийся ввысь Огонь уподоблялся в древности Дереву или Лесу: ср. и.-е. *ar- "гореть", но хет. *aras* "лес"; гот. *bagms* "дерево", но и.-е. *bhag-/bhak-/bhok- "гореть"; и.-е. *gher- "гореть", но литовск. *girė* "дерево"; и.-е. *цer- "гореть", но авест. *varesa-* "дерево". Ср. также: и.-е. *suel- "гореть", но литовск. *šulas* "шест" (ср. лат. *silva* "лес"); гот. *anses* "шест", но и.-е. *an- "огонь" (ср. также: и.-е. *as- "огонь", но др.-сев. *ass* "божество": шест в древности уподоблялся Божеству, а дерево описывалось

метафорой "огненный столб"). Жизнь и Смерть уподоблялись язычниками горению "огненного столба". Ср. в этой связи: лат. *trabs* "шест, столб", но нем. *sterben* "умирать" и литовск. *taĩpti* "процветать"; с другой стороны, ср. др.-инд. *táрана*- "jung, neu", ирл. *tor* "matrix", *torrach* "pregnant"¹⁰. Ср. еще: и.-е. **yer-* "гореть", но др.-англ. *swir* "шест" и тох. А *wir* "молодой, новый", а также тох. А *wäl* "умирать".

Камень в древности считался вместилищем Огня и Души. В связи с этим можно полагать, что др.-англ. *stān*, нем. *Stein* "камень" восходят к и.-е. **an-* "огонь"/"душа" с преформантом. Это подкрепляется следующим материалом: др.-англ. *h-an* "камень" и ирл. *m-aen* "камень". Типологически ср.: и.-е. **lep-* "гореть", но также "камень"; и.-е. **uel-/ *uer-* "гореть", но литовск. *uola* "камень"; и.-е. **kel-* "гореть", но гот. *hallus* "камень, скала"; и.-е. **pel-* "гореть", но нем. *Fels* "скала, камень", греч. πέλλα "камень"; белорусск. *лециць* "гореть, греть", но греч. λίθος "камень".

Отдельные линии, входившие в первобытные "буквы" (они считались мистическими сущностями и наделялись сверхъестественной силой), уподоблялись языкам пламени: ср. латышск. *būrts* "буква", но и.-е. **bher-* "гореть"; др.-инд. *varna*- "буква", но и.-е. **uer-* "гореть"; арм. *tar* "буква", но и.-е. **tar-/*tal-* "гореть"; русск. *буква*, но и.-е. **bhok-* "гореть"; др.-сев. *stæf* "буква", но и.-е. **tep-* "гореть"; греч. γράμμα "буква", но и.-е. **gher-* "гореть".

Отметим, наконец, что значение "гореть" тесно связано со значением "потусторонний мир": ср. лат. *orcus* "потусторонний мир", но и.-е. **areq-* "гореть"; др.-инд. *naraka* "потусторонний мир"; это слово представлено с табуирующим отрицанием и состоит из следующих индоевропейских корней: и.-е. **ar-* "гореть" + **ak-* "гореть" (ср., однако, исл. *nara* "жизнь" + хет. *ak* "смерть"; вместе с тем возможно, что первая часть этого слова соотносится с и.-е. **ar-* "орел, большая птица", а вторая – с гот. *ahaks* "голубь": птица, особенно голубь, в древности олицетворяли потусторонний мир, поскольку считались вместилищем душ); ср. еще: арм. *draht* "рай" < **ter-* "гореть"; "далекий".

Перепрыгивание через костер в древности считалось средством снятия порчи и исцеления: ср. и.-е. **lek-* "гореть" (др.-англ. *lieg* "огонь"), но и.-е. **lek-* "лечить"; и.-е. **kel-* "гореть", но также "лечить"; и.-е. **ater-* "огонь", но греч. ἰατρῆω "лечить, исцелять"; и.-е. **ag-* "огонь", но валлийск. *iach* "здоровый", ирл. *iccaim* "лечить". Согласно древним верованиям, исцеление достигалось и с помощью ритуального смеха: ср. и.-е. **ker-* "гореть", но тох. А *kar* "смеяться" и др.-сев. *skratta* "смеяться"; др.-англ. *hlahan* "смеяться", но и.-е. **kel-* "гореть"; др.-сев. *brosa* "смеяться", но и.-е. **bher-* "гореть"; лат. *ridere* "смеяться" < и.-е. **rei-* "гореть" (язычники уподобляли сокращение мышц лица при смехе переплетению языков пламени горящего костра).

Понятие огня легло в основу понятий "хороший" и "плохой": ср. и.-е. **lap-/ *lep-/ *leip* "огонь, гореть", но литовск. *labas* "хороший"; и.-е. **as-* "гореть, огонь", но хет. *assus* "хороший"; др.-инд. *mathan* "Entzündungsholz"; но ирл. *maith* "хороший"; и.-е. **gher-* "гореть", но литовск. *geras* "хороший". С другой стороны, ср.: индо-арийск. **ubba* "огонь", но гот. *ubils* "зло", нем. *übel* "плохой, злой"; др.-сев. *illr* "плохой, злой", но и.-е. **el-/ *al-* "огонь"; др.-в.-нем. *wahan* "гореть", но др.-англ. *woh* "wrong, perversity"; и.-е. **kel-* "гореть", но русск. *зло*; англ. *bad* "плохой", но и.-е. **bhā-* "гореть"; русск. *плохой* < и.-е. **pel-* "гореть".

Первое, что бросилось в глаза первобытных людей, – это "д в и ж е н и е" О г н я: ср. др.-в.-нем. *wahan* "гореть", но нем. *be-wegen* "двигать; двигаться"; др.-инд. *car-*, авест. *čar-* "двигать; двигаться", но и.-е. **ker-* "гореть"; др.-инд. *ṛ-*, авест. *ar-* "двигаться", но и.-е. **ar-* "гореть"; и.-е. **kei-* "двигаться", но и.-е. **kai-/ *kei-* "гореть" (ср. без преформанта: и.-е. **ai-* "гореть"/ и.-е. **ei-* "двигаться"; литовск. *kusėti* "двигаться", но

¹⁰ Ср. без преформанта: индо-арийск. **rappa-* "огонь".

русс. диал. *коза* "костер, огонь"; др.-инд. *udu* "звезда" (букв. "горящая"; и.-е. **ad-/ed-/ud-* "гореть"), но литовск. *judėti* "двигаться" [Aufenanger 1975; Bayard 1973; Edsman 1949; Freudenthal 1931; Frazer 1930; Maringer 1974; Маковский 2000]. Однако слова со значением "гореть; огонь" могут соотноситься также со словами, имеющими значение "замедлить движение, остановиться": ср. и.-е. **tep-* "гореть", но англ. *stop* "остановить, остановиться"; и.-е. **pel-* "гореть", но тох. А *pal-/pāl-* "s'éteindre"; и.-е. **kel-* "гореть", но и.-е. **kelo* "остановиться" (алб. *qell*); др.-в.-нем. *swedan* "schwelend verbrennen", но др.-англ. *swedrian* "aufhören, abnehmen, nachlassen"; и.-е. **kenk-* "brennen", но также "zögen"; и.-е. **teg-* "гореть", но нем. *zögern* "медлить"; и.-е. **an(d)-* "гореть", но тох. А *anu-* "argēt, cessation".

Кроме того, значение "гореть" может соотноситься со значением "менять, меняться, превращаться, становиться": ср. др.-в.-нем. *wahan* "гореть", но др.-в.-нем. *wehslon* "менять, меняться"; и.-е. **tep-* "гореть", но литовск. *tàpti* "изменяться, превращаться".

Значение "гореть" может лежать в основе значения "целый, целостный", которое, в свою очередь, может соотноситься со значением "племя, клан, народ": ср. и.-е. **suel-* "гореть", но лат. *sollus* "весь, целый" (сюда же тох. А *solme* "весь, целый", др.-инд. *sarva-* "весь, целый"); лат. *tōtus* "весь, целый", но и.-е. **dau-* "brennen" / **tā-/teu-* "brennen, schwellen", а с другой стороны, латышск. *tauta* "народ", гот. *þiuds* "народ" (ср. тох. А *tute* "желтый": цвет огня); лат. *omnis* "весь, целостный" < и.-е. **am-/om-* "гореть" < и.-е. **em-* "гнуть, сгибать" (ср. и.-е. **om-* "сила, сильный"): др.-англ. *ām* "Brenneisen"; др.-в.-нем. *wahan* "гореть", но русск. *весь* (ср. др.-инд. *viç-*, авест. *vis-*, др.-перс. *vīθ-* "род, клан", а также др.-инд. *vaśya-* "Herrschaft, Macht, Gewalt", *vásu-* "gut"; "reich"); латышск. *kaitēt* "гореть", но литовск. *kītas* "целый, цельный" [Brugmann 1893]. Огонь внушал язычникам Страх: ср. и.-е. **ag-* "огонь", но гот. *agis* "страх"; и.-е. **pu-*, **peu-* "огонь; гореть", но лат. *pavor* "страх"; греч. φοβος "страх", но и.-е. **dhegh-* "гореть"; и.-е. **bhok-* "гореть", но нем. диал. *bögen* "бояться"; и.-е. **kel-* "гореть", но др.-сев. *skelkr* "страх".

Отметим еще, что значение "огонь" может соотноситься со значением "твердый, крепкий, жесткий": ср. и.-е. **цer-* "гореть", но русск. *твердый*; и.-е. **ker-* "гореть", но и.-е. **qar-* "твердый, жесткий" (ср. нем. *hart*); латышск. *kaitēt* "гореть", но литовск. *kietas* "твердый, жесткий"; русск. *жечь*, но русск. *жесткий*.

Кроме того, значение "гореть" может переходить в значение "вещь, предмет" (в свою очередь значение "предмет" может соотноситься со значением "звук; издавать звуки": звук и свет как первотворение, как первые божественные "вещи"): ср. др.-в.-нем. *wahan* "гореть", но русск. *вещь* и русск. *вещать*; тох. А *wram* "вещь", но и.-е. **цer-* "гореть" и также "издавать звуки, говорить"; и.-е. **bhā-* "гореть", но арм. *ban* "вещь" и "слово"; латышск. *kaitēt* "гореть", но др.-англ. *ceatta* "вещь" и англ. *to chat* "говорить, болтать"; и.-е. **reg-* "гореть", но польск. *rzecz* "вещь" и также "речь"; и.-е. **dheg-* "гореть", но нем. *Ding* "вещь" и нем. *dingen* "выступать, говорить".

Значение числительных первого натурального ряда соотносится со значением "гореть; огонь": ср. и.-е. **oi-(d)-nos* "один" < и.-е. **oid-/aid-/eid-* "brennen, schwellen"; и.-е. числительное **dwo-* "два" соотносится с и.-е. **dau-* "гореть"; и.-е. числительное **tres-/trei-* "три" соотносится с арм. *terem* "to scorch", греч. θερμός "горячий, жаркий"; числительное **кцетyор-* "четыре" связано с и.-е. **кцет-* < **keu-* "гореть" + и.-е. **цer-* "гореть"; числительное **penk-* "пять" соотносится с нем. *Funk* "искра" (ср. латышск. *spēks* "сила"); числительное **sek-/цек-* "шесть" соотносился с нем. *sengen* "жечь, палить" и, с другой стороны, с др.-англ. *swegle* "brennend, glänzend"; числительное **sept-* "семь" соотносится с и.-е. **kes-* > **kse-p* > **sep-* "высекать" (огонь) > "огонь": ср. тох. А *sopi* "сеть, плетение" (огня), а также и.-е. **sopos* "шест" (огненный столб): ср. еще

словенск. *sopsti* "дышать", хет. *supas* "чистый" (очищенный огнем) + и.-е. **dhem-* "гореть"; числительное **ok-tou-* "восемь" соотносится с и.-е. **ak-/*ag-* "гореть" (ср. греч. *αὐγή* "ослепительный свет"); ср. др.-сев. *yki* "wunderbares Ereignis" + и.-е. **teu-* "schwellen, brennen" (относительно первой части рассматриваемого слова ср. еще арм. *ogi* "душа" < "огонь"); числительное и.-е. **newn-* "девять" связано с и.-е. **eu-/*eus-* "гореть" (в начале рассматриваемого слова стоит табуирующее отрицание); числительное **dekṃ-* "десять" соотносится с и.-е. **dheg-* "гореть" + и.-е. **am-/*om-* "brennen" (ср. др.-англ. *ām* "Brenneisen"; др.-англ. *ome* "Entzündung").

Существительные со значением "число" также соотносятся со значением "огонь; гореть": ср. прусск. *gerbin* "число" < **gher-bh-* "гореть"; латышск. *skaits* "число", но латышск. *kaitēt* "гореть"; др.-сев. *tala* "число", но индо-арийск. **tal* "гореть" (и.-е. *tā-* "гореть"/"плавить"); русск. *чис-ло* < и.-е. **kes-* "высекать" (огонь); ср. русск. диал. *коза* "огонь, костер"; гот. *raþjo* "число", но и.-е. **ar-*, **rei-* "гореть".

Интересно происхождение русского слова *сорок*: ср. и.-е. **su-* "гореть" + и.-е. **rek-/*reg-* "гореть". Первая часть этого слова соответствует и.-е. **sor-* "женщина" (ср. и.-е. **seros* "вода, жидкость" – символ женского начала, а также др.-инд. *sarah* "repulsive, destructive") + др.-сев. *rekkr* "мужчина". Перед нами слово, обозначающее андрогина – символ гармонии и вселенской Целостности [Allendy 1948]. Вместе с тем возможна связь русского *сорок* с композитумом, первая часть которого соответствует и.-е. **ser-* "связывать" (ср. тох. А. *ṣurm*, *ṣrum* "причина, первопричина") + и.-е. **reik-/*rek-/*reig-* "binden" (ср. др.-инд. *roha* "Ursache"). Можно также принять во внимание тох. А *sruk* "умереть" ("сорок" как символ конца и начала; значения "начало" и "конец" непосредственно связаны со значением "гореть": типологически ср. и.-е. **bher-* "гореть", но шведск. *börja* "начинать"; и.-е. **ghel-* "гореть": литовск. *galas* "конец"; прусск. *gallan* "смерть"). Следует учесть также следующее обстоятельство. В древности существовал так называемый вигезимальный счет (счет по двадцати). Количество пальцев человека при движении сверху вниз ("женское" движение: ср. и.-е. **sor-* "женщина; женский": и.-е. **ser-* "двигаться") и снизу вверх ("мужское" движение: ср. др.-сев. **rekkr* "мужчина": и.-е. **rek-* "двигаться") как раз и составляет сорок (единство мужского и женского, андрогин, символ Порядка и божественной Гармонии).

Слова со значением "человек-микрокосм" в индоевропейском обычно соотносятся со значением "огонь", "огненный столб": ср. русск. *человек* < и.-е. **kel-* "brennen" + **ʷeg-/*ʷek-* "brennen" [ср. др.-в.-нем. *wahan* "гореть": ср., однако, и.-е. **kel-* "кол" + др.-англ. *wah* "кол" (мужской половой орган сопоставлялся с языком пламени)]; лат. *vir*, гот. *wair* "человек, мужчина", но и.-е. **ʷer-* "гореть"; др.-инд. *dhava* "человек, мужчина", но и.-е. **dau-* "гореть"; греч. *ἀνθρώπος* "человек" < и.-е. **a(n)ter-* "огонь" + и.-е. **pu-* "гореть"; др.-англ. *haeleþ* "человек, мужчина", но и.-е. **kel-* "гореть" + **ād-* "огонь" (ср. тох. А *atäl* "человек"): **ad-* "огонь" + **al-* "огонь"; др.-англ. *rinc* "человек, мужчина" < и.-е. **reg-* "гореть"; и.-е. **bher-* "гореть", но алб. *burrë* "человек, мужчина".

Женщина в языческом мире считалась принадлежностью злых сил, обитающих на периферии Мироздания. Значение "далекий, внешний" соотносится со значением "гореть; огонь" (дальний нижний край горящего сакрального огня): ср. в связи с этим и.-е. **ter-* "гореть", но др.-инд. *stri* женщина (и.-е. **ar-/*er-* "далекий, периферийный": **ter-* "далекий, периферийный": **ar-/*er-* "гореть": "гнуть"). К тому же корню относится и тох. А *tsru* "маленький" < **ter-* "гореть" (развитие: "гореть" > "маленький" > "плохой, замороженный злой силой"); Ср. также: тох. А *kuli* "женщина" < и.-е. **kel-* "гореть": "гнуть"; и.-е. **ag-* "огонь; гореть", но и.-е. **eg-* "mangeln": арм. *eg* "женщина": **eg-/*ag-* "гнуть"; и.-е. **ʷer-/*ʷes-* "гореть, огонь": "гнуть", но осет. *woes*, *us* "женщина".

Выгибание огня вверх понималось как мужское начало, а прогибание огня вниз – как женское начало.

Поскольку ночь, темнота в древности считались продуцирующими началами, понятие темноты тесно связано с понятием женщины: ср. тох. А *wʒe* "ночь, темнота", но осет. *woes, us* "женщина" < и.-е. **ǵes-/ǵes-* "brennen"; лат. *femina* "женщина", но и.-е. **tem-* "темнота" (ср. тох. А *tām-* "родить").

Значение "культ, ритуал, обычай" непосредственно связано со значением "огонь; гореть": ср. и.-е. **as-* "огонь; гореть", но тох. А *osit* "обычай, ритуал"; и.-е. **bher-* "гореть", но авест. *bereg* "ритуал"; и.-е. **dheg-* "гореть", но гот. *dauhts* "ритуал, религиозное действие"; др.-в.-нем. *wahan* "гореть", но англ. диал. *wakes* "деревенский праздник" (первоначально: "языческое действие"); и.-е. **keu-* "гореть", но осет. *kuvyn* "молиться": осет. *kuvd* "обрядовое пиршество"; индо-арийск. **ubba* "огонь", но др.-в.-нем. *uoba* "сакральное действие"; и.-е. **ag-* "огонь", но лат. *agonium* "жертвенный пир"; гот. *dulþs* "сакральное действие" соотносится с корнями, представленными и.-е. **dau* "гореть" + шведск. *eld* "огонь".

Одним из символов Вселенной в древности считалась Лодка (единство поостороннего и потустороннего мира): ср. англ. *boat*, нем. *Boot* "лодка", но алб. *botë* "Вселенная, Мироздание". В этом смысле Лодка по своей символике приравнивалась к Мировому Древу, олицетворявшему Мироздание: ср. и.-е. *bodhi* "Мировое Древо" < и.-е. **bhā-*, **bheu-*, **bhū-* "biegen, schwellen": "brennen": "entstehen, werden, sein"; "wachsen"; согласно древним поверьям, души умерших переправлялись в потусторонний мир в лодках, в связи с чем лодка олицетворяла чередование жизни и смерти – вечное рождение: ср. др.-инд. *batu* "Junge". Понятие Огня лежит в основе понятия Вселенной (типологически ср.: др.-инд. *loka* "вселенная", но и.-е. **leuk-* – "гореть"; др.-англ. *weoreld* "вселенная", но и.-е. **ǵer-* "гореть" + шведск. *eld* "огонь"; авест. *anghu* "вселенная", но и.-е. **a(n)g-* "огонь; гореть"), понятия Мирового Древа (букв. "огненный столб") и понятия Лодки.

Относительно соотношения значений "огонь" > "корабль" ср.: шведск. *eld* "огонь", но русск. *ладья*; латышск. *skugis* "корабль", но и.-е. *(*s*)*kog-* "гореть"; ирл. *longa* "корабль", но др.-англ. *lieg* "огонь"; чешск. *korab* "корабль", но и.-е. **ker-* "гореть" + и.-е. **ab-*, **ob-*, **ub-* "огонь"; тох. А *kolām* "корабль", но и.-е. **kel-* "гореть". Огонь – фаллический символ, связанный с понятием "гнуть": "выгибать вперед" (ср. и.-е. **bheu*) "гнуть" (мужское начало: ср. ирл. *bot, bod* "пенис" и, возможно, лат. *future* "coire"), но "прогибать внутрь" (женское начало: ср. др.-в.-нем. *botah* "Gefäß"). Как и Огонь, Корабль – фаллический символ: ср. нем. *Boot* "лодка", но ирл. *bot, bod* "пенис"; латышск. *skugis* "корабль", но и.-е. **kūk-* "pudenda muliebra"; англ. *ship* "корабль", но англ. диал. *shape* "pudenda muliebra".

Наблюдавшееся язычниками быстрое передвижение цветковых кругов в горящем сакральном костре дало основание для метафорического перенесения значения "краска" на значение "двигаться": ср. и.-е. **ei-* "краска", но также "двигаться" (ср. и.-е. **ai-* "гореть"); др.-инд. *nila-* "синий"; "черный", но нем. *schnell* "быстрый" (ср. без преформанта: и.-е. **el-* "краска", но и.-е. **el-* "быстро двигаться"); и.-е. **kei-* "краска" (ср. русск. *си-ний, се-рый*), но и.-е. **kei-* "двигаться"; и.-е. **ǵer-* "краска", но др.-англ. *worian* "двигаться" (ср. и.-е. **ǵer-* "гореть"); хет. *kuwallis* "синий", но англ. *to haul* "тащить" (и.-е. **kel-* "двигать, двигаться": ср. и.-е. **kel-* "гореть"); и.-е. **madthro-*, **modthro-* "синий", но англ. диал. *to mather* "to turn round before lying down" (as an animal); литовск. *juōds* "черный", но литовск. *judėti* "двигаться" (ср. и.-е. **au-/ǵeus-* "гореть, жечь").

Понятие Огня лежит в основе понятий "наследие, наследство", которые в свою очередь связаны с понятием языческого ритуала, в центре которого стоял Огонь (чередование цветковых кругов в сакральном Огне и чередование определенных

действия в ритуале: ср. индо-арийск. **rappa* "огонь", но кельтск. **reb*- "ритуальное действие, ритуальная игра", англ. диал. *rib* "шутка" (первоначально "ритуальная игра"); нем. *Arbeit* "работа" (первоначально "ритуальное действие") и нем. *Erbe* "наследство, наследие" (ритуал как традиция, передаваемая от рода к роду): др.-инд. *ar*- "давать" (жертвоприношение огню). Значение "огонь" лежит в основе и слов со значением "вечность": ср. и.-е. **ater*- "огонь", но лат. *aeternitas* "вечность"; др.-в.-нем. *wahan* "гореть", но русск. *вечный*; и.-е. **au*- "гореть" (ср. лат. *aurora*), но лат. *aevus* "Ewigkeit".

Значение "огонь" лежит в основе значения "брат, хватать" и "давать". Ср.: и.-е. **teg*- "гореть", но англ. *take* "брат"; и.-е. **bher*- "гореть", но русск. *брать*; лат. *prehendere* "брат", но лат. *candere* "гореть"; русск. диал. *кометь* "гореть", но тох. А *kām* "брат"; и.-е. **leip*-, **leibh*- "гореть", но др.-инд. *labh*- "брат"; и.-е. **pek*- "гореть", но гот. *fahan* "схватить". Ср., с другой стороны, и.-е. **ghabh*- "гореть", но гот. *giban* "давать"; и.-е. **ar*-, **rei*- "гореть", но др.-инд. *rā*- "давать"; и.-е. *dō* "даю", но и.-е. **dau*- "гореть".

Слово в древности мыслилось первоначально как огненное оружие, направленное против врагов и нечистой силы (ножи, топоры, мечи и другое оружие представлялось язычникам в виде разящих языков пламени): ср. литовск. *žadas* "речь", *žodis* "слово", но ирл. *cath* "битва" (ср. русск. диал. *каметь* "гореть"); ирл. *briathar* "слово", но валлийск. *brwydr* "битва" (ср. и.-е. **bher*- "гореть"); и.-е. **uak*- "говорить, издавать звуки", но гот. *waihjo* "битва" (ср. др.-в.-нем. *wahan* "гореть"); и.-е. **ag*- "говорить, издавать звуки", но также бороться" (ср. и.-е. **ag*- "гореть"); лат. *loqui* "говорить", но дат. *slag* "битва", нем. диал. *Lehe* "серп для срезания травы" (ср. др.-англ. *lieg* "огонь"); **syel*- "говорить" (также "гореть"), но хет. *sullis* "бороться"; и.-е. **ued*- "говорить", но и.-е. **ād*-, **ued*- "гореть" и др.-инд. *vadhati* "schlagen, stoßen", тох. А *wāt*-, *wet*- "kämpfen": литовск. *vedegà* "Ахт"; и.-е. **ag*- "говорить", но англ. *ax* "топор"; русск. *топор* (**tep*- + **ar*- "гореть"), но тох. А *tāp*- "annoncer à haute voix" + и.-е. **ar*- "издавать звуки, говорить"; нем. *sprechen* "говорить", но тох. А *spār*k "détruire" (англ. *spark* "искра"); тох. В *walts*- "broyer, écraser", но латышск. *valoda* "язык, речь"; и.-е. **kel*-p "бить, рубить", но литовск. *kalba* "язык, речь" (ср. тох. А *klop* "douleur": **kel*- "гореть").

С другой стороны, слово выступало как тотем – хранитель рода, причем и здесь имелась в виду спасительная сила Огня–Божества: ср. русск. *речь*, но англ. диал. *reek* "род, клан" и др.-в.-нем. *ruohhan* "беречь, хранить" (и.-е. **reg*- "гореть": лат. *rogus* "огонь, костер"); и.-е. **kel*- "говорить, издавать звуки", но др.-инд. *kula* "род, клан" и и.-е. **kel*- "беречь" (нем. *hüllen* "прятать, хранить"): ср. русск. *кол* "шест-божество" > "сакральный огненный шест как символ непрерывности рода" (и.-е. **kel*- "гореть"); типологически ср. лат. *trabs* "шест", но лат. *tribus* "племя, род" (**ter*- "гореть"); и.-е. **ar*- "говорить, издавать звуки", но осет. *арун* "рожать" (> "род, клан") и ирл. *aire* "забота" (и.-е. **ar*- "гореть").

В древности верили, что Слово может "родить": ср. и.-е. **kens*- "громко говорить", но и.-е. **gen*- "родить"; и.-е. **uer*- "издавать звуки, говорить", но осет. *варун* "родить"; и.-е. **rek*- "говорить" (др.-русс. *рекать* "говорить"), но англ. диал. *reek* "род, клан, племя"; русск. *дуда*, *дудка*, но гот. *fiuds* "род, племя"; др.-в.-нем. *sleht* "род, клан", но и.-е. **lek*- "издавать звуки, говорить". Вместе с тем и значение "говорить" и значение "родить" тесно связано со значением "гореть": ср. и.-е. **pel*- "гореть", но др.-инд. *pelah* "половые органы" и и.-е. **pel*- "издавать звуки"; и.-е. **rek*- "гореть"; и.-е. **lek*- "гореть"; и.-е. **uer*- "гореть"; англ. сленг *dude* "огонь".

В отличие от горизонтального положения, олицетворявшего все тленное и злое, вертикаль символизировала все Божественное – акт Божественного созидания Мира, Первовещество Вселенной, Божественную гармонию в отличие от

окружающего ее Хаоса, Вечность как Божественную категорию. Ср. и.-е. *kel- "гореть", но тох. А *kāly*- "être debout" > "être". Подобным же образом и.-е. корень *stāh-/*stā- "стоять" восходит к и.-е. *tā- "жечь, плавить". С понятием Огня и "стояния" Огня связаны слова, обозначающие Первовещество, Первоткань (лат. *sub-stantia* "первовещество") и Божественный Разум (ср. англ. *under-stand* "понимать", которое по своему составу точно копирует лат. *sub-stantia*: ср. типологически и.-е. *ag- "огонь; гореть", но гот. *aha* "разум"; лат. *candere* "гореть", но ирл. *cond* "разум". Внеземной Божественный Разум связывался древними с синим цветом, с синим цветом связывалась и Первоматерия, Первовещество: ср. лат. *materia* "первовещество", но и.-е. *madher- "синий" и др.-инд. *mati* "разум" (ср. др.-инд. *mathan* "Entzündungsholz"); и.-е. *tep- "гореть", но нем. *Stoff* "вещество", англ. диал. *tiver* "краска", др.-сев. *tifurr* "божество", а также ирл. *dub* "черный" (черный цвет, как и синий, – символ всего внеземного); типологически ср.: литовск. *mėlynas* "синий", но латышск. *mēlns* "черный").

В древности считалось, что трон Божества – на Небе, а его ноги – в частности, ступни – касаются Земли. Язычники верили, что жертвоприношение кладется именно к ногам Божества, которые к тому же символизировали опору, "фундамент", на котором покоится Божество (и соответственно человек-микрокосм). В связи с этим немецкое слово *Sohle* "ступня" можно сопоставить, с одной стороны, с тох. А *sāle* "опора", а с другой, – с хет. *suris* "жертвоприношение": гот. *saljan* "приносить в жертву" (типологически ср.: др.-сев. *leggr*, англ. *leg* "нога", но др.-англ. *lāc* "жертвоприношение"). Ср. далее: др.-инд. *sura*- "божество", др.-инд. *surya*- "солнце": и.-е. *suel- "гореть": арм. *surb* "святой": и.-е. *solo- "целый, цельный" (божество как андрогин): др.-инд. *saurya* "Heldenhaftigkeit, Mut" и, наконец, с лат. *soleō* "to be accustomed, to be used to", др.-инд. *sāli* "Sitte": типологически ср. тох. А *çalpe* "ступня", но др.-инд. *kalpa* "обычай, обряд, сакральное действие". Как мы уже говорили, Божество (хет. *siwas* "бог") в древности непосредственно связывалось с Огнем (resp. с Движением Огня: ср. и.-е. *su- "brennen" / *seu- "sich bewegen"), а понятие Движения в индоевропейском лежит в основе понятия Опоры, Основания, Фундамента. Согласно мифопоэтическим представлениям, Вселенная была создана Творцом в результате борьбы (хет. *sullis* "бороться") с Хаосом, в ходе которой Творец сотворил неподвижную опору, раздвинув и передвинув Хаос: ср. и.-е. *kes- "schneiden" / "biegen" > *kse- / *kseu-: *suel-, ср. нем. *schwelen* "гореть": нем. *schwellen* "раздуваться": опора мыслилась как нечто прогнутое вниз или выгнутое вверх. Типологически ср. соответственно: русск. *стопа* (ноги), но русск. *стона* "куча" и др.-русс. *стуна* "яма": и.-е. *tep- "гореть, изгибаться". С другой стороны, интересны следующие типологические сопоставления: русск. *основа*, но русск. *сновать*, гот. *snīwan* "двигаться"; литовск. *pā-matas* "основа", но литовск. *mėsti* "двигать, кидать, бросать, швырять"; лат. *fundus* "основа", но шведск. *kunda* "быстро двигаться". С другой стороны, ср.: и.-е. *dau- "гореть" > *du-bh-no "основание, дно"; и.-е. *bhau-do "гореть", но нем. *Boden* "дно, фундамент". Неподвижность в древности могла пониматься и как движение ("движение без движения"), в связи с чем становится ясным понятие неподвижной опоры: ср. гот. *saljan* "bleiben", но и.-е. *sal- / *sel- "двигаться".

В качестве Опоры, согласно древним представлениям, могли выступать различные животные, в частности рыба: ср. англ. *sole* "камбала, палтус", др.-англ. *hwal* "кит" (ср., с другой стороны, и.-е. *kuel- "быть, существовать").

Нога и ступня – фаллические символы: ср. и.-е. *su- "schneiden" > "brennen": *seu- "sich bewegen": *seu- "gebären" > *seu-lo (ср. англ. диал. *sooliye* "род, племя, клан"). Кроме того, нога – женский символ (ср. осет. *sul* "женщина"). Согласно древним

представлениям, борьба (хет. *sullis* "бороться") – источник рождения. Нога – символ Мировой горы (тох. А *ṣul* "гора"), олицетворявшей Вселенную.

С точки зрения древнего человека "умереть" означало "превратиться в змею": ср. др.-инд. *ahi* "змея", но хет. *ak* "смерть"; нем. *sterben* "умереть", но латышск. *tarps* "червь", "змея"; и.-е. **mer-* "умереть", но курдск. *mar* "змея". Жизнь и смерть представлялись древним как соответственно раскручивание и закручивание Узлов Жизни и Узлов Смерти, которые уподоблялись извивающейся Змее: ср. и.-е. **nek-* "смерть", но также "узел"; и.-е. **mer-* "смерть" (также "жизнь": ср. ирл. *marraim* "жить") и "плести, делать узлы"; нем. *leben* "жить", но англ. *loop* "узел"; и.-е. **g^hei-* "жить", но и.-е. **geu-* "сгибать, гнуть" и литовск. *gyvatė* "змея".

Кость в древности считалась вместилищем "живого Огня", Души, жизненной силы, которая способна перевоплощаться. Отсюда типичный для языческого мира запрет ломать кости убитого животного (ср. др.-англ. *bān* "кость", но др.-сев. *beinn* "прямой"): ср. в этой связи нем. *Knochen* "кость", но и.-е. **kenk-* "гореть; огонь"; лат. *ossa* "кость", но и.-е. **as-* "огонь; гореть": др.-инд. *asu-* "жизнь"; литовск. *kaulas* "кость", но и.-е. **kel-* "гореть; огонь"; др.-англ. *bān* "кость", но и.-е. **bhā-* "гореть": и.-е. **bhū-* "быть, существовать". Интересно русское слово *кость*: и.-е. **kai-*, **keu-* "гореть": **kai-sto* / **keu-sto*: русск. *кость*; ср. также: и.-е. **gei-*, **geu-* "гореть": и.-е. **gei-sto*, **geu-so*: др.-англ. *gāst*, нем. *Geist* "душа" (кость как вместилище огня и души). Понятие Огня лежит в основе значений "родить" > "род, клан": ср. и.-е. **keu-* "гореть", но др.-инд. *kūla* "род, клан" и литовск. *kaulas* "кость"; русск. *кость*, но хет. *hastar* "потомство"; хет. *has-* "родить" (кость как символ рода: ср. типологически русск. *белая кость* "княжеский род"). Относительно перехода значений "гореть, огонь" > "рожать" ср.: и.-е. **su-* "гореть", но и.-е. **seu-* "рожать"; и.-е. **bher-* "гореть", но также "рожать"; и.-е. **teg-* "гореть", но и.-е. **tek-* "рожать". В этой связи важно учесть осет. *gaejyn* "coire", перс. *gaidan* "coire": ср. и.-е. **ghas-*, **ghos-* "съесть" (в древности съедание, проглатывание было равносильно соитию); сюда же лат. *hostia* "жертвоприношение" (букв. "то, что съедается огнем"): кости были предметом жертвоприношения: их бросали в огонь. Однако значение "род" часто переходило в значение "чужой род, представитель чужого рода, враг": ср. гот. *gasts* "Fremder", лат. *hostis* "Feind"; типологически ср. и.-е. **ar-* "гореть": осет. *арун* "рожать", тох. А *ar-* "рожать, производить на свет", но др.-инд. *ari-* "враг"; лат. *pario* "рожать" и.-е. **prei-* "гореть", но литовск. *priešas* "враг". Вместе с тем значение "гореть, огонь" непосредственно соотносится со значением "далекий, находящийся на периферии" > "враг"; типологически ср. и.-е. **su-* "гореть", но и.-е. **suet-* "находящийся на периферии, с внешней стороны"; и.-е. **ar-* "гореть", но и.-е. **ar-* "находящийся вовне, на периферии"; и.-е. **lok-* "гореть", но тох. А *lok* "на периферии, вовне"; и.-е. **bhāk-*, **bhōk-* "гореть", но и.-е. **bhāk-* "вовне, на периферии". К горящему Огню приравнивался и Лес: ср. и.-е. **gai-* / **kai-* "гореть": русск. диал. *гай* "лес" > "край" и и.-е. **gai-sto* (> гот. *gasts*) "чужак, враг".

В древнем обществе кости нередко использовались для гадания и магии, подобно тому, как для гадания использовались огонь и кишки принесенных в жертву животных (последние уподоблялись языкам пламени). Ср.: др.-сев. *leggr* "hollow bone of arms and legs", но др.-инд. *lakṣa*, *lakṣaṇa* – "предзнаменование" (ср. др.-англ. *lieg* "огонь"); нем. *Knochen* "кость", но исл. *kyngi* "способность колдовать", исл. *knega* "мочь, быть в состоянии", англ. *knack* "умение, сноровка", др.-инд. *kañksati* "wünschen, ersehnen, warten"; литовск. *kaulas* "кость", но ирл. *cel*, др.-сев. *heill* "знак, предзнаменование". Нередко в магии пользовались дудками, изготовленными из кости ("поющие кости"), которыми, по поверьям древних, можно было не только снимать злые чары, но и, наоборот, накладывать чары, заколдовывать: ср. др.-англ. *bān* "кость", но и.-е. **bhā-n* "издавать звуки" (ср. арм. *ban* "слово"), и англ. диал. *to ban* "проклинать", др.-англ.

bana "гибель"; нем. *Knochen* "кость", но и.-е. **knek-*, **knok-*, **knuk-* "издавать звуки" и литовск. *kankà* "Schmerz, Qual"; русск. *кость*, но тох. А *kast* "голод, гибель" (ср., с другой стороны, литовск. *kùsti* "выздоровливать", но также шведск. диал. *kusa* "накладывать чары"). Другим видом колдовства в древности было "стучание" двумя костями друг о друга: ср. нем. *Knochen* "кость", но др.-англ. *snocian*, англ. *knock* "стучать". Наконец, в древности "колдовали" путем бросания (подбрасывания, перебрасывания) костей: ср.: лат. *ossa* "кость", но др.-инд. *as-* "бросать"; русск. *кость*, но литовск. *kušti* "двигать, приводить в движение", англ. *cast* "бросать"; литовск. *kaulas* "кость", но и.-е. **kel-* "двигать, приводить в движение" (ср. и.-е. **kel-* "лечить") [Pfister 1909–1912].

В кости соединяются два начала – мужское (кость как шест: ср. валлийск. *cal, col* "репiс", русск. *кол*) и женское (полая часть кости: ср. литовск. *kaulas* "кость", но нем. *hohl* "полый" и тох. А *kuli* "женщина"; лат. *ossa* "кость", но осет. *us* "женщина"; русск. *кость*, но греч. *κόσμος* "weibliche Scham"). Таким образом, кость для язычников представляла божественную целостность, олицетворяемую андрогином.

3. ФАЛЛИЧЕСКИЙ КУЛЬТ

Божество как созидающее начало символизировалось Фаллосом, который в древности считался олицетворением плодородия, продолжения рода, жизни, Бытия, носителем космической энергии, сверхъестественной Силы (в том числе отгонной). Фаллос олицетворялся "фаллическими" камнями, рыбой, рогом, змеей, зубом, плугом, молнией, языком. Фаллические символы, знаменующие собой неисчерпаемость рождений и круговорот вечной жизни и смерти, до сих пор представлены в нашей культуре: надгробные стеллы, формы исламской мечети и куполов православных храмов. Сквозным мотивом всех языческих ритуалов была сексуальность, которая неизменно имела сакральный, священный характер. Это прекрасно иллюстрируется характером аграрных праздников всех обществ на стадии земледельческой культуры: святки, масленица, купало у славян, Дионисийские мистерии у греков и римлян, аналогичные таинства в Индии, Персии, Египте. В древнем обществе сексуальность была феноменом культуры и в этом смысле не имела никакого отношения к деторождению. Цель сексуальных действий, которые были неотъемлемой частью сакральных оргий, – достижение коллективного экстаза, олицетворявшего праздничность, которая превозносила человека над естественной жизнью, позволяла достичь исходного типа человеческой чувственности, подобно тому, как кровопускание символизировало возврат крови ее "океанического" состояния, чувства обретения единого архаического тела, синхронизацию ритмов Космоса. Как и кровопускание, фаллические действия мыслились как Жертвоприношение (ср. приношение спермы в виде жертвы Божествам)¹¹. Именно сексуальные действия позволяли древнему человеку приобщить себя к Природе, к Божеству. Жрецы и жрицы специально готовили себя к тому, чтобы стать сексуальными избранниками духов; с этой целью возводились особые "дома свиданий" – храмы. Н.А. Бердяев писал: "Пол есть точка пересечения двух миров в человеке, но и точка пересечения человека с космосом, микрокосма с макрокосмом. Человек скреплен с Космосом прежде всего через пол... Категории пола – мужское и женское, – категории космические, не только антропологические" [Бердяев 1989: 62].

Обратимся к фактическому материалу. Слова с фаллическим значением могут соотноситься со значением "чудо": ср. валлийск. *cydio* "coire", но русск. *чудо*; др.-инд.

¹¹ Ср. тох. А *šuraṃ* "мужское семя", но хет. *suris* "жертвоприношение" (ср. тох. А *šurm*, В *šarm* "cause, motif, raison").

dumaḥ "половые органы", но греч. *θαύρα* "чудо"; лат. *pario* "рожать", но и.-е. **per-* "чудо" (ср. арм. *hrašk* "чудо"), ср. лат. *sper-ma*; др.-инд. *ret-* "мужское семя", но др.-инд. *ṛdhati* "gedeiht, gelingt", *ṛtaḥ* "richtig, wahr"; *ṛtuḥ* "Ordnung", др.-инд. *ritus* "ритуал"; греч. *αἰδοῖον* "половые органы", но и.-е.: *ad-* "Gesetz"; арм. *kelpir* "penis", но др.-инд. *kalpa-* "ритуал".

Слова со значением "поклоняться Божеству, почитать Божество" в индоевропейском нередко соотносятся со словами, имеющими фаллическое значение. Ср. хет. *uen* "coire", но лат. *venerari* "поклоняться Божеству"; др.-инд. *sapa* "männliches Glied", но *sapayati* "поклоняться Божеству"; англ. *fuck* "coire", но тох. А *puk* "уважать, верить, поклоняться" (ср. и.-е. **pugos* "vulva"); др.-англ. *serðan* "coire", но др.-инд. *ṣri* "mächtig"¹²; лат. *futuere* "coire", но и.-е. **kuent-/*kuet-* "holy" (латышск. *svēts* "святой"); др.-инд. *bhaga-* "vagina", но русск. *бог, о-божествлять*; ирл. *bod*, новоирл. *bod* "penis", но тох. А *poto* "Verehrung"; и.-е. **gen-* "родить", но лат. *honorari* "уважать, поклоняться" [ср. др.-англ. *han* "(фаллический) камень"]; др.-инд. *teors* "пенис", но арм. *tar* "буква" (сакральное таинство, предмет почитания). Относительно сакральной символики фаллического интересно сопоставить: русск. диал. *кур* "мужской половой орган", но иранск. **kur-* "колдовство, наложение чар; заклинание" и и.-е. **kur-* "слепой"; "глухой" (религиозный экстаз: ср. перс. *kur* "слепой"; литовск. *kučias* "глухой": Mann: 591).

Язычники наделяли фаллическими свойствами Дыхание и Слово: ср. осет. *waryn* "родить", но тох. А *wras* "дыхание"; перс. **lap-/lep-* "дыхание", но др.-инд. *pelah* "половые органы" (ср. латышск. *elpēt* "дышать"); осет. *udd* "дух", но др.-русс. *удъ* "пенис"; и.-е. **kuk-* "vulva", но нем. *Hauch* "дыхание"; англ. *breed* "родить", но англ. *breathe* "дышать". С другой стороны, фаллическими свойствами, согласно древним верованиям, обладало и Слово, Звук (словом можно было оплодотворить): ср. и.-е. **uer-* "родить" (**uerdh-*), но также "говорить, издавать звуки"; др.-англ. (сленг) *prick* "пенис", но нем. *sprechen* "говорить". Можно полагать, что явление, которое в наше время называют языком, первоначально было одним из неотъемлемых компонентов языческого культа: культ призван был максимально точно воспроизвести все действия Божества при сотворении Мiroздания, в частности, явление Божества в виде наделенного фаллическими свойствами Звука и Света: ср. в этой связи литовск. *kalba* "язык", но др.-инд. *kalpa-* "ритуал"; и.-е. **bher-* "издавать звуки" (ср. **bher-* "родить"), но авест. *bereg* "ритуал"; и.-е. **uak-* "издавать звуки", но англ. *wakes* "деревенский праздник" (первоначально "сакральное действие"); англ. *word* "слово", но др.-сев. *verð* "ритуал, ритуальная трапеза" (отметим, что слово, как и соитие, в древности уподоблялось Борьбе: ср. тох. А *kaṃ* "звук": др.-англ. *hæman* "coire": перс. *hamarana-* "fight"; ирл. *brwydr* "fight", но ирл. *briathar* "слово", ср. и.-е. **bher-* "рожать, производить на свет"). Ср. также: и.-е. *bhā-* "гореть": **bhā-* "издавать звуки" и англ. диал. *bate* "ритуал, обычай", и.-е. **uek-* "гореть", но **uek-/uak-* "издавать звуки" и **uek-* "ритуал, привычка".

Человеческий язык как семиотическая система возник, как нам представляется, в лоне языческой сакральной игры, которая была семиотической системой *par excellence*; именно звук и фаллические действия были главнейшими составными частями языческой оргии и основой семиотического алгоритма этой оргии. Кроме того, звук и фаллические действия выступали в качестве тотема, а всякий тотем – это код. Превращение узкого и отвлеченного кода, находившегося на уровне Бессознательного, в живой универсальный код знаменовало становление самосознания клана. Как показали В.Н. Топоров и Ю.В. Монич, ритуал сыграл ключевую роль в социально-коммуникативном процессе. В самом широком смысле

¹² Типологически ср.: др.-в.-нем. *gi-maht* "männliches Glied" (др.-в.-нем. *maht* "power").

ритуал может быть представлен как проявление знакового поведения. Как на биологическом, так и на культурном уровне ритуал предстает в качестве инструмента, посредством которого человек создает, структурирует и поддерживает (обороняет) свое жизненное пространство ("космос"). Таким образом, одна из важнейших функций ритуала может быть охарактеризована как регулирующая. Результатирующим продуктом этой функции являлась граница "своего мира" (линия обороны), находящаяся в человеческой культуре различные воплощения. В первобытном обществе одна из важнейших функций живого организма – репродуктивная функция – начинает использоваться не для деторождения, а для достижения коллективного экстаза, представляющего собой древнейшую и важнейшую форму человеческого общения. Важнейшим моментом очеловечивания и рождения звуковой человеческой речи, тесно связанной с "фаллической речью", было не что иное, как переход от биологически детерминированных сигналов к социально-детерминированным символам. На биологическом уровне разные виды животных противостоят друг другу биологически и распознают друг друга по виду, запаху, в силу инстинкта. На социальном уровне биологические различия отсутствуют. Одна человеческая орда ничем биологически не отличалась от другой. Как справедливо отмечал В.И. Абаев, новые социальные оппозиции, пришедшие на смену биологическим, могли найти выражение и объективироваться только в символах. Такими символами и стали первые социально отработанные звуковые комплексы, первые "слова". Они обозначали примерно то же, что мы выражаем теперь местоимениями "мы", "наше" в противоположность "не-мы", "не-наше". В этих первых социально-символических наречиях познавательный момент был нераздельно слит с оценочно-эмоциональным: "наше" означало "хорошее", "не-наше" – плохое, дурное. Все двоилось в сознании первых человеческих коллективов, все делилось на "наше" и "не-наше", даже такие объективно единичные и неделимые вещи, как солнце. Первобытным людям не надо было впадать в аффект, чтобы накладывать на мир столь субъективную сетку. Все их сознание было пронизано эмоциональностью, на все накладывались краски отношений между коллективами. Как отмечал Ж.-Ж. Руссо, язык порожден не размышлениями, а страстями.

Коммуникативная функция не была ведущей на начальных этапах. Несложные в то время коммуникативные потребности продолжали в основном обслуживаться сигналами биологического уровня. Как ни важно было сообщить друг другу что-либо внутри коллектива, не менее важным стало другое: найти выражение пробудившемуся сознанию своей коллективной личности и своего права на место под солнцем. Первоначально язык был одним из тотемов, "защищавшим" тот или иной род от других, "вражеских" родов. Язык родился не из потребности давать вещам названия, а из потребности относить вещи к "своему" коллективу, накладывать на них свой особый знак. Осознавший себя как личность коллектив мыслит себя в некоей близкой связи с определенными предметами внешнего мира – с небом, солнцем, животными, растениями [Монич 1999; Топоров 1965; 1988; Preuß 1903]. Все, что племя относит к себе, снабжается тотемным показателем. Эти действительные и воображаемые связи нужны для одной и той же цели: социального самоутверждения. Таким образом, происхождение языка имеет много общего с происхождением пения, украшений, музыки и искусства – все они были тотемами, все они обладали этнодемаркационной функцией [Абаев 1993; Топоров 1988]. И действительно, одним из наиболее важных знаковых феноменов древности был Танец, объединявший в себе символику движения, звука и сексуальности (все они тесно связаны между собой).

Рассмотрим отдельные реалии, символически связанные с сексуальностью. Ср. греч. ὄρχεσθαι "танцевать", но греч. ὄρχις "половые органы"; алб. *kercej* "танец", но русск. диал. *кур* "мужской половой орган" (интересно, что алб. *kercej* одновременно означает "лить": оплодотворять жидкостью); гот. *plinsjan* "tanzen" (и.-е. **pel-* "лить"),

но др.-инд. *pelah* "половые органы"; англ. *dance*, нем. *tanzen* "танцевать", но др.-инд. *tanayati* "рожать, производить на свет", др.-англ. *ðan* "мокрый" (оплодотворение жидкостью), лат. *tonsilla* "Pfahl" (Penis), а также др.-в.-нем. *danson* "натягивать(ся), растягиваться" (о пенисе), гот. *at-þinsan* "натягивать(ся), растягивать(ся)"; арм. *par* "танец", но и.-е. **bher-* "родить". Важно также учесть др.-инд. *śam-śim-* "исполнять культовое действие, связанное с жертвоприношением", а также "ревностно трудиться" (усиленная активность при культовой практике); осет. *semyn/simyn* "исполнять хороводный танец" и тох. А *kaiñi-* "играть" < "Iusus venereus", но с другой стороны, лат. *semen* "семя" [ср. и.-е. **kei-/*sei-* "быстро двигаться": "прилагать усилия" и "бросать, швырять" (семя в землю)]. Сюда же: нем. *Scham* "vulva"; литовск. *kimšti* "запихивать, напихивать" (> "coire"), осет. *kom* "рот" (> "vulva"), и.-е. **kam-* "сладострастие", а также: греч. *κῶμος* "веселая процессия с музыкой и плясками", но вместе с тем греч. *κῶμα* "глубокий сон, экстаз": и.-е. **kes-* > **sk-em-* > **kem-* "schlagen"/"biegen". Интересно сопоставить также: тох. А *tsip-* "танец": др.-сев. *tifa* "быстро двигаться", но **(s)teu-/*(s)tei-* "schlagen, schneiden": ср. лат. *stuprare* "coire", др.-сев. *steypa* "ausgießen" ("выливать семя"), др.-англ. *stofa* "Nachkomme", греч. *στῖφος* "толпа, куча" (потомство), а также лат. *stipes* "Pfahl" (> "Penis"), литовск. *stiprūs* "сильный" и литовск. *tàpti* "werden, entstehen". С другой стороны, следует принять во внимание др.-сев. *tafn* "Nahrung, Speise": в древности съедание, проглатывание пищи приравнивалось к соитию. Ср. далее: осет. *kafyn* "танцевать", но др.-сев. *skopinn* "männliches Glied", а с другой стороны, англ. диал. *shape* "pedenda muliebre"; ср. еще: и.-е. **ag-* "быстрое движение, сакральный танец", но др.-сев. *ogurr* "männliches Glied", и.-е. **agh-* "trächtig" (von Tieren), литовск. *jėga* "(сверхъестественная) сила"; ср. еще: др.-англ. *læccan* "быстро двигаться, исполнять ритуальный танец", но греч. *λῆκῶν* "coire" [Leeuw 1930; Vaaren 1964; Jorgensen 1972; Wosien 1981; Rahner 1952; Абаев 1995: 453–454; Лисициан 1983; Лев-Старович 1991].

Важно принять во внимание так называемые "фаллические камни": ср. нем. *Fels* "камень", но др.-инд. *pelah* "половые органы"; ирл. *cloch* "камень", но англ. диал. *cleck* "родить"; гот. *stains* "камень", но др.-инд. *tanayati* "родить". Фаллической символикой в древности наделялся зуб: ср. русск. зуб, но и.-е. **gen-bh* "рожать" (этимология О.Н. Трубачева); др.-англ. *tōð* "зуб, но др.-англ. *tydran* "родить", др.-англ. *tudor* "ребенок"; ирл. *fiacal* "зуб", но литовск. *veikti* "размножаться, производить на свет"; русск. *клык*, но англ. диал. *cleck* "рожать". Отметим далее, что др.-англ. *tung* "язык" соотносится с др.-инд. *tuc-/toc-* "давать потомство, продолжать род", а и.-е. **pes(k)-* "рыба" соотносится с и.-е. *pes-* "половые органы"; ср. также русск. *рыба*, но др.-в.-нем. *riba* "проститутка, потаскуха"; перс. *mahi* "рыба", но др.-англ. *mah* "сладострастный". Все, что относилось к "своему" роду, клану, в древности считалось истинным и чистым: ср. и.-е. **gen-* "рожать", но англ. *genuine* "истинный, настоящий"; церк.-слав. *исто* "половые органы", но русск. *истинный*; герм. **aeht* "род, клан", но нем. *echt* "истинный, настоящий"; др.-англ. *teors* "мужской половой орган", но литовск. *tyras* "чистый, беспорочный"; англ. диал. *clean* "матка коровы", но англ. *clean* "чистый"; нем. *gatten* "спариваться", но греч. *ἀ-γαθός* "хороший"; др.-инд. *dumah* "половые органы", но греч. *ε-τιμος* "истинный, настоящий".

Съедание пищи в древности приравнивалось к соитию; многие предметы питания часто приготавливались в виде половых органов: ср. нем. *Kuchen* "пирог", но и.-е. **kukos* "женский половой орган"; англ. *food* "пища", но шведск. *föda* "рожать", нем. диал. *Fud* "vulva"; греч. *φαγεῖν* "есть, питаться", но др.-инд. *bhaga-* "vulva"; лат. *cibus* "еда", но нем. *Kebse* "проститутка, потаскуха"; нем. *Speise* "еда", дат. *spise* "есть, питаться", но и.-е. **pes-* "половой орган; вступать в половые связи"; лат. *placenta*

"пирог", но также "детское место" (у женщины)¹³.

Некоторые цвета в древности имели фаллическую символику. Так, черный цвет олицетворял женскую фаллическую символику (вселенское Чрево), а красный цвет – символ активного мужского фаллического начала, зеленый цвет символизировал взаимный переход жизни, рождения в смерть и смерти в жизнь, рождение; белый цвет, в отличие от красного, имел пассивную женскую фаллическую символику, связанную с Луной.

Наконец, фаллической символикой в древности наделялся гребень: ср. лат. *pecten* "гребень", но также "женский половой орган"; нем. *Kamm* "гребень", но нем. *Scham* "женский половой орган"; англ. диал. *lash* "гребень", но лат. *lascivus* "сладострастный", др.-инд. *lasati* "страстно желать"¹⁴ [Goodland 1931; Jameson 1984; Einerstam 1956; Rühmann 1967; Reutersvärd 1971; Caza 1974; Monick 1987; Марсиро 1998].

Ряд слов со значением "храм, дом" имеет фаллическое значение: сакральные фаллические действия происходили обычно в храмах: ср. лат. *domus* "дом", но др.-инд. *dumaḥ* "половые органы"; др.-инд. *stupa* "храм", но лат. *stuprare* "coire"; литовск. *būtas* "дом, квартира", но ирл. *bot, bod* "männliches Glied": ср. лат. *futuere* "coire"; др.-инд. *çālā* "дом", но корнийск. *cal* "männliches Glied"; латышск. *māja* "дом", но авест. *mayah* "coitus"; др.-инд. *madih* "Palast", но др.-инд. *madana* "geschlechtliche Liebe", авест. *miθ* – "coire", греч. μήδεα "половые органы", *mithuna* "coitus"; польск. *krok* "groin, perinium", но др.-англ. *hearh* "храм".

Язычники верили, что при соитии мужчина приносит жертву Божеству (Космосу), отдавая женщине свою сперму, которую она, подобно сакральному огню, "съедает" ("съедание", согласно древним верованиям, считалось равносильным соитию). Храм, в котором происходили фаллические действия жрецов и весталок, символизировал, с одной стороны, женщину, а с другой, – Космос; строительство Храма обычно предшествовало принесению так называемой "строительной жертвы" [жертвоприношение носило фаллический характер: Огонь поглощал ("съедал") жертву, что олицетворяло сакральное соитие]: ср. др.-англ. *lāc* "жертвоприношение": др.-англ. *leccan* "benetzen, bewässern" (оплодотворение жидкостью): греч. ληκων "coire"; и.-е. **k'ed-* "give, grant, bestow" (Март: 605): и.-е. *жидкуй* (и.-е. **geidh-*) и валлийск. *cydio* "coitus"; греч. φαγεῖν "есть, съедать", но и.-е. **bhag-* "давать, наделять" > "приношение, жертвоприношение" и др.-инд. *bhaga* "pudenda muliebra"; др.-англ. *dicgan* "есть, съедать", но литовск. *diegas* "Keim", латышск. *diģt* "keimen", а также др.-инд. *dāśāmi* "bestow"; лат. *cibus* "пища": нем. *geben* "давать" "жертвоприношение": англ. диал. *shape* "pudenda muliebre": др.-сев. *skopinn* "männliches Glied".

Ритуальные фаллические оргии были приурочены к определенному времени года (весна – время сева, осень – время сбора урожая): ср. ирл. *errach* "весна", но хет. *ark* "coire"; валлийск. *gwanwyn* "весна", но хет. *uen* "coire"; русск. *весна*, др.-сев. *vār* "весна", но литовск. *veisti* "erzeugen", лат. *ver-pa* "penis", лат. *vesanus* "wild, furious"; англ. *spring* "весна", но др.-русс. *спряжемся* "состоять в половой связи"; с другой стороны, ср. др.-инд. *çarad-* "осень", авест. *sared-* "осень", но др.-англ. *serðan* "coire".

В языческом обществе половые органы символизировали Вселенную, Божественный Огонь, вселенскую Гармонию: ср. алб. *loqë* "männliches Glied", но др.-инд. *loka* "Вселенная": ср. др.-инд. *lok-l luk-/ruk-* "огонь; свет", а также литовск. *liaukà* "железа"; ирл. *bot, bod* "penis", но алб. *botë* "Вселенная" (ср. и.-е. **bhaudo* "огонь; гореть"); и.-е. **kut-* "половые органы" (и.-е. **kud-nos / *kut-nos* > лат. *cunnius* "женские половые органы", а также нем. *Hoden* "мошонка"), но и.-е. **kueit:* русск. *свет* "мир, вселенная"

¹³ Ср. др.-англ. *wecg*, литовск. *vāgis* "Keil, Pflock" > "Penis", но нем. диал. *Weck* "пирог".

¹⁴ Ср. еще греч. κτεῖς "гребень" и славянск. **kotiti* "рожать", ирл. *cydio* "coire", и.-е. **kud-* "женский половой орган".

(и.-е. **keu-* "гореть"); и.-е. **kūk-* "половые органы", но латышск. *kuòks* "дерево" (Мировое Древо – символ Вселенной), ср. хет. *huk* "волшебство, колдовство"; др. русск. удь "mäpnliches Glied", но ирл. *fid* "дерево" (Мировое Древо – символ Веленной), ср. также: хет. *uen* "coire", но др.-инд. *vana-* "дерево" (символ Вселенной). В древности считали, что все Сущее родилось из Пустоты: ср. греч. *ρέθος*, др.-сев. *reðr* "männliches Glied", но ирл. *reid* "пустота". Ср. далее: др.-англ. *weoreld* "вселенная", но чешск. *varle* "мужское семенное яичко, тестикул"; др.-англ. *hætan* "coire", но др.-сев. *heimr* "вселенная". Интересно соотношение хет. *ark* "coire", но ирл. *erc* "небо" (ср. др.-инд. *gīc-* "пустой; пустота").

В качестве фаллического символа может выступать Дерево (креативный образ Божества–Космоса): ср. англ. *tree* "дерево", но др.-англ. *teors* "penis"; и.-е. **bhag-* "дуб; дерево", но др.-инд. *bhaga* – "vulva"; латышск. *kuòks* "дерево", но и.-е. **kūk* – "vulva"; др.-инд. *vānā-* "дерево", но хет. *uen* "coire". С другой стороны, дерево может выступать как символ потустороннего мира: ср. др.-инд. *rohi* "дерево", но лат. *orcus* "потусторонний мир" (ср. хет. *ark* "coire"); и.-е. **der-* "дерево", но арм. *draht* "потусторонний мир"; русск. диал. *рай, райник* "лес, деревья", но русск. *рай*; и.-е. **bhag-* "дерево, дуб", но и.-е. **bhak-* "периферия, край; потусторонний мир"; хет. *aros* "лес", но и.-е. **ar-* "периферия, край; потусторонний мир" (связь всех уровней Космоса, олицетворяемого Деревом).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Абаев В.И. 1988а – К семантике славянского, *tvoriti* // *Linguistique baltique*. XXXI, 1988.
Абаев В.И. 1988б – К семантике глаголов с основным значением "делать" // ВЯ. 1988. № 3.
Абаев В.И. 1995 – Избранные труды. 2: Общее и сравнительное языкознание. Владикавказ, 1995.
Абаев В.И. 1993 – О происхождении языка // *Язык в океане языков*. Новосибирск, 1993.
Афинасьев А. 1994 – Поэтические воззрения славян на природу. 1–3. М., 1994.
Бердяев Н.А. 1989 – Эрос и личность. М., 1989.
Евзлин М. 1993 – Космогония и ритуал. М., 1993.
Евсюков В.В. 1988 – Мифы о Вселенной. М., 1988.
Инайат Хан 1996 – Мистицизм звука. М., 1996.
Козик О.М. 1997 – Понятие "богатства" в контексте истории. "Витальный" аспект "богатства" // Стратум: Структуры и катастрофы. Сборник символической индоевропейской истории. СПб., 1997.
Лев-Старович З. 1991 – Секс в культурах мира. М., 1991.
Лисицян С. 1983 – Армянские старинные пляски. Ереван, 1983.
Маковский М.М. 2000 – Мифопоэтика движения // В.И. Абаеву 100 лет. Сборник статей по иранистике, общему языкознанию, евразийским культурам. М., 2000.
Марсиро Ж. 1998 – История сексуальных ритуалов. М., 1998.
Монич В.Ю. 1999 – Прототипическая семантика в протоиндоевропейских реконструкциях. Дис... канд. филол. наук. М., 1999.
Овсянко-Куликовский Д.Н. 1884 – Опыт изучения вакхических культов индоевропейской древности в связи с ролью экстаза на ранних ступенях развития общественности. Ч. 1. Одесса, 1884.
Порчинский И.А. 1915 – Бабочка в представлении народов в связи с народным суеверием. Петроград, 1915.
Толстая С.М. 1987 – Терминология обрядов и верований как источник реконструкции древней духовной культуры. М., 1987.
Топоров В.Н. 1965 – К реконструкции индоевропейского ритуала и ритуально-поэтических формул // Ученые записки Тартуского Государственного Университета. Вып. 236: Труды по знаковым системам. Тарту, 1965.
Топоров В.Н. 1988 – О ритуале. Введение в проблематику // Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках. М., 1988.

- Цивьян Т.В.* 1990 – Лингвистические основы балканской модели мира. М., 1990.
- Элиаде М.* 1996 – Миф о вечном возвращении. М., 1996.
- Abajew V.I.* 1935 – Zur Paläontologie der "Liebe" und des "Hasses" // Академия Наук СССР
Н.Я. Мерку. М. – Л., 1935.
- Allendy R.* 1948 – Le symbolisme des nombres. Paris, 1948.
- Ankermann B.* 1918 – Totenkult und Seelenglaube bei den afrikanischen Völkern // Zeitschrift für Ethnologie. 1918.
- Aufenanger H.* 1975 – Die Herkunft des Feuers im religiösen Denken schriftloser Völker. Berlin, 1975.
- Baaren Th. van* 1964 – Selbst die Götter tanzen. Sinn und Formen des Tanzes im Kultur und Religion. Berlin, 1964.
- Bayard P.* 1973 – La symbolique du feu. Paris, 1973.
- Bornkamm G., Gadamer H.G., Assmann J., Lemke W., Perliitt L.* 1976 – Das Vaterbild in Mythos und Geschichte. Berlin, 1976.
- Brugmann K.* 1893 – Die Ausdrücke für den Begriff der Totalität in den indogermanischen Sprachen. Leipzig, 1883.
- Buraud G.* 1961 – Les masques. Paris, 1961.
- Burland C.* 1974 – Myths of life and death. New York, 1974.
- Caza M.* 1974 – Gods of myth and stone. Phallicism in Japanese folk-religion. Lund, 1974.
- Glemen C.* 1920 – Das Leben nach dem Tode im Glauben der Menschheit. Leipzig, 1920.
- Eckert G.* 1948 – Totenkult und Lebensglaube im Cuacatal. Berlin, 1948.
- Edsman C.M.* 1949 – Ignus Divinus. Lund, 1949.
- Einerstam B.* 1956 – Notes on phallic figures and stones in Scandinavia // Ethnos. 1956. 21.
- Erdmann K.* 1941 – Das iranischen Feuerheiligum. Berlin, 1941.
- Frazer G.* 1913–1924 – The belief in immortality and the worship of the dead. 1–3. London, 1913–1924.
- Frazer G.* 1930 – Myths of the origin of fire. London, 1930.
- Freudenthal H.* 1931 – Das Feuer in deutschen Glauben und Brauch. Berlin, 1931.
- Frick K.R.* 1975 – Licht und Finsternis. Graz, 1975.
- Goodland A.* 1931 – Bibliography of sex rites and customs. London, 1931.
- Hermann P.* (Hrsg.) 1958–1975 – Symbolik der Religionen. Bd. 1–20, Berlin, 1958–1975.
- Hermann Chr.* 1997 – Unsterblichkeit der Seele durch Auferstehung. Göttingen, 1997.
- Immisch O.* 1915 – Sprachliches zum Seelenschmetterling // Glotta. 1915,6.
- Im.* 1992 – Immortality / Ed. by P. Edwards. New York, 1992.
- IHD* 1985 – Immortality and human destiny: a variety of views. New York, 1985.
- IR* 1970 – Immortality and resurrection // Ed. by P. Benoit and R. Murphy. New York, 1970.
- Jameson L.* 1984 – Phallicism // Standard dictionary of folklore, myth and legend / Ed. by M. Leach. New York, 1984.
- Jansen H.H., Jansen R.* 1978 – Tod und Maske // Zeitschrift für Gerontologie. XI, 1978.
- Jensen A.E.* 1960 – Mythos und Kult bei Naturvölkern. Wiesbaden, 1960.
- Jorgensen J.G.* 1972 – The Sun Dance religion. Chicago, 1972.
- Kaus H.* 1972 – Die Maske der Germanen // Mitteilungen der österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Ur- und Frühgeschichte. 1972,23.
- Krause F.* 1929 – Maske und Ahnenbild // Ethnologische Studien. 1929.
- Leeuw G. van der* 1930 – In dem Himmel ist ein Tanz. Berlin, 1930.
- Lommel A.* 1970 – Maske. Geschichter der Menschheit. Berlin, 1970.
- Mannhardt W.* 1904–1905 – Wald-und Feldkulte. Berlin, 1904–1905.
- Manos-Jones L.* 2000 – The spirit of butterflies. Myth, magic and art. New York, 2000.
- Maringer J.* 1974 – Das Feuer im Kult und Glauben des vorgeschichtlichen Menschens // Anthropos. 1974,69.
- Monick E.* 1987 – Phallus. Sacred image of the masculine. Toronto, 1987.
- Nolan K.* 1967 – The immortality of the soul and the resurrection of the body according to Giles of Rome. Roma, 1967.
- Peuckert W.E.* 1951 – Geheimkulte. Heidelberg, 1951.
- Pfister F.* 1909–1912 – Der Reliquienkult im Altertum. 1–2. Berlin, 1909–1912.
- Preuß K.Th.* 1930 – Tod und Unsterblichkeit im Glauben der Naturvölkern. Berlin, 1930.
- Preuß K.* 1903 – Phallische Fruchtbarkeitsriten // Archiv für Anthropologie. Neue Folge. 1, 1903.

- Reutersvärd O.* 1971 – The neo-classic temple of virility and the buildings with a phallic-shaped ground plan. Lund, 1971.
- Rahner H.* 1952 – Der spielende Mensch. Berlin, 1952.
- Rohde E.* 1894 – Psyche. Seelencult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen. Freiburg, 1894.
- Rühmann H.K.* 1967 – Der Phallenkult in Afrika // Ethnos. 1967,72.
- Sorel W.* 1973 – The other face. The mask in the arts. London, 1973.
- Söderblom N.* 1901 – La vie future d'après le mazdéisme à la lumière des croyances parallèles dans les autres religions. Paris, 1901.
- Will R.* 1925 – Le culte. Paris: 1–1925, 2 – 1929, 3–1935.
- Wosien M.-G.* 1985 – Tanz im Angesicht der Götter. Berlin, 1985.

© 2002 г. Р.К. ПОТАПОВА

ПРОИЗНОСИТЕЛЬНАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ НЕМЕЦКОЙ РЕЧИ

Смещение доминанты научных изысканий в сторону антропоцентризма обусловило развитие речеведения, где основным объектом изучения является индивид как частичка общечеловеческого бытия. О целесообразности подобной концепции свидетельствует успешное функционирование специальных институтов речеведения, например, в Германии [Потапова 1999; Ktech 1968; 1987; 1996a; 1996b; 1996c; 1999]. Фонетико-фонологический компонент, таким образом, соотносится лишь с одним из векторов в сложной матрице признаков межличностной коммуникации.

Современное речеведение охватывает все аспекты, связанные с речезыковой, интеллектуальной, творческой, социальной деятельностью человека. При этом принимается во внимание целостный характер процесса коммуникации, включающий самые различные факторы, в том числе помехи интра- и интериндивидуального, а также фонового характера. В речеведческих исследованиях учитываются также эстетические и дидактические составляющие коммуникации, о чем свидетельствуют многочисленные дескриптивные и экспериментально-фонетические исследования [Потапова, Потапов 2000].

Расширенная модель с позиций речеведения и с учетом различных уровней речевой динамики (речевого поведения, речевого акта, речевой деятельности, текстовой деятельности и т.д.) включает, как правило, такие основные составляющие, как: мотивация и коммуникативное намерение адресанта; ситуативно-имплицативная маркированность высказывания; нейроповеденческая программа (планирование, отбор и координация моторных, вербальных и невербальных программ коммуникантов); реализация вышеуказанных программ и контроль за их выполнением; реализация артикуляционных, фонационных и перцептуальных жестов; канал передачи сообщения (аудио- и видеокоммуникация); прием сообщения партнером по коммуникации; первичная обработка речевого сигнала в слуховой системе и оптического – в зрительной; докатегориальное распознавание слуховых и зрительных образов; распознавание лингвистических, паралингвистических и экстралингвистических образов; интегративная интерпретация информации адресатом; интерпретация высказывания адресатом с учетом мотивации и коммуникативного намерения [Потапова 2001].

Таким образом, прослеживается эволюция модели межличностной языковой коммуникации от узкой модели фонетико-фонологического типа к расширенному речеведческому, что соотносится с изменением общего уровня наших знаний о человеке, развитием антропоцентричности в лингвистике, синергетическим подходом к изучению межличностной коммуникации в целом. Кроме того, немаловажным является и тот факт, что к настоящему времени подход, основанный на описании речевого кода с позиций соотношения между абстрактными лингвистическими единицами и физическими характеристиками речевой волны, оказался далеко не перспективным и в известной степени тупиковым, в частности, для специалистов в области компьютерных технологий и фонетически сориентированных направлений прикладной лингвистики. Понимание функционирования расширенной модели речевой коммуникации с позиций речеведения немыслимо без обращения к высшим языковым уровням и феномену речевой вариантологии [Потапова 2000].

Как уже указывалось выше, современное речеведение охватывает все аспекты, связанные с речевой, языковой и интеллектуальной деятельностью человека, которая отражает взаимодействие адресанта и адресата в конкретной коммуникативной ситуации. При этом принимается во внимание целостный процесс коммуникации, включающий самые различные факторы, в том числе различного рода помехи. В речеведческих исследованиях учитываются индивидуальные, языковые и ситуативные условия, а также риторические, эстетические, фонетические и дидактические составляющие коммуникации. Не менее важным является исследование развития речевых коммуникативных умений и речевой компетенции, необходимых для успешного осуществления, оптимальной реализации коммуникативного намерения и преодоления факторов, препятствующих последнему.

Рассмотрение процесса становления и развития произносительной вариантологии особенно оправданно с позиции различных аспектов речеведения. В этой связи показательным является опыт кодификации современного немецкого произношения [Siebs 1969; Sievers 1901].

Не останавливаясь на предшествующих исторических этапах возникновения, развития и становления немецкого литературного произношения, особое внимание следует уделить процессу разработки современного всегерманского проекта создания новых кодифицированных требований к орфоэпии немецкого языка, осуществляемого, начиная с 1990 года, речеведами – германистами объединенной Германии (с центрами в университетах г. Галле и г. Кёльна) [Stock 2001].

Данный проект известен под названием "Новая редакция произносительного словаря немецкого языка". Проект включает обширнейшую программу, согласно которой решается целый ряд задач кодификации произношения современного немецкого языка. Краеугольным камнем проекта является опора на рекомендации, строящиеся на знаниях современного произносительного узуса с учетом ситуативных и коммуникативных факторов. В связи с этим особое место при разработке проекта имеют стилистически обусловленные произносительные варианты [Потапова 1999].

Разработка новой произносительной версии словаря включает решение ряда конкретных задач, к числу которых могут быть отнесены, прежде всего, следующие:

- проведение социофонетических исследований, целью которых является определение на базе ответов пользователей языка – информантов – носителей языка *предпочтительных форм* произношения в зависимости от конкретных произносительных условий;
- проведение экспериментально-фонетического анализа полученного речевого корпуса;
- координация всех полученных в ходе исследования данных;
- составление нового произносительного словаря (бумажной и электронной версий).

В рамках решения первой задачи предусмотрено проведение социофонетических исследований. К настоящему времени использовано 43 вида звучащего материала (на каждый из видов приходится по одной минуте звучания), включающего изложение разных форм информационных сообщений, диалоги и полилоги, выступления политиков, лекции и т.д.

Специальные вопросы и тесты позволяют выявить: насколько органичной и приемлемой слушающие находят связь между произносительной формой звучащего материала (звуки, интонация) и той или иной конкретной коммуникативной ситуацией. При обработке данных, полученных от 1600 опрошенных информантов, принимается во внимание дифференциация последних по возрастному и половому цензу, социальному статусу, принадлежности к региональным и диалектным вариантам произношения и т.д.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что у информантов имеется соответствующее представление, *как* должны реализовываться произноси

тельные формы в тех или иных коммуникативных условиях. Таким образом, с помощью социофонетического исследования становится возможным определение основного направления при ориентации на наиболее предпочтительные варианты произносительных форм (произносительные вариформы).

Решение задачи включает также проведение экспериментально-фонетического исследования звучащего материала с помощью компьютерных программ, предназначенных для акустического анализа речи. Подобное исследование дает возможность определить специфику звуковой вариативности собственно артикуляционного характера с учетом влияния различных факторов позиционно-контекстуального и фоностилистического характера.

При этом особое внимание уделяется дифференциации произносительных вариформ при разных видах речевой деятельности: *чтении и говорении*. Используемый в рамках проекта экспериментальный корпус включает звучащие реализации 50 дикторов. Время звучания материала каждого диктора составляет 5 мин. Весь материал подвергался слуховому и инструментальному анализу с применением компьютерных программ (в частности, программы Sound Forge). Основная цель исследования заключалась в определении произносительных вариформ относительно характеристик полного и неполного типов произнесения. В рамках проекта на заключительном этапе проведен анализ полученных данных и разработаны произносительные варианты современного немецкого языка с учетом развития новых репрезентативных форм произнесения. При этом в так называемый "регулярный" словарь включены речевые единицы в рамках фразы, дабы иметь возможность отразить произносительные формы в более крупных отрезках слитной речи с учетом различных ситуативных и коммуникативных факторов. Кроме того исследованы произносительные вариформы иностранных слов и имен собственных, наиболее часто встречающихся в языке теле- и радиопередач. Наряду со словарем на традиционном бумажном носителе подготовлен на компакт-диске "говорящий словарь" [Stock, Hirschfeld 2001].

Таким образом, согласно данному проекту **кодификация немецкого произношения не ставит своей целью создания свода предписаний применительно к единой произносительной норме**. На базе конкретных наблюдений за употреблением языка и принятием (одобрением) тех или иных форм большинством информантов-носителей языка представляется возможным свести в единый корпус такие варианты произнесения (вариформы), которые можно было бы рекомендовать в качестве *предпочтительных* применительно к определенным ситуациям и условиям коммуникации.

Задача проекта включает также поиск ответа на вопрос: при каких условиях и в какой форме применение тех или иных произносительных вариформ коммуникативно оправданно и целесообразно; что лучше ввести в кодифицированную произносительную информацию и что следует рекомендовать в качестве предпочтительного варианта. Предполагается, что кодификация послужит своего рода стабилизирующим фактором в нежелательном "расползании" произносительного стандарта Германии.

Авторы проекта по праву считают, что кодификация произношения и речевая реальность должны рассматриваться как взаимосвязанные и взаимообусловленные части единого целого. Более того, именно *речевая реальность* является исходным, с одной стороны, и целевым, с другой стороны, пунктом кодификации. Постулируется, что всякая произносительная кодификация должна базироваться, прежде всего, на учете и оценке речевой реальности. Получение результирующей оценки предполагает проведение эмпирических исследований, ведущих к формированию базы данных, включающих статистически надежные вариформы, отражающие разноплановую речевую усус. Результаты подобного эмпирического исследования подвергнуты в дальнейшем экспертной проверке и оценке, включающей со своей стороны процесс нормирования, селекции и обобщения, что дает возможность пред-

ставить все многообразие полученных данных в виде ограниченного набора примеров и правил.

Эксплицированные кодифицированные нормы призваны отразить не все многообразие стандартных речевых реализаций, а лишь те из них, которые могут быть приняты и одобрены носителями языка в качестве "комфортных" и предпочтительных для акта полноценной вербальной коммуникации.

Процесс коммуникации не ограничивается эксплицитной информацией и предполагает проверку звучащего материала прежде всего на органичность восприятия и принятия произносительных вариформ. В связи с этим огромная роль при работе над проектом принадлежит выявлению соотношений между эксплицитными формами и имплицитными знаниями о них, что является решающим регулирующим фактором кодификации. При этом имплицитные нормы, связанные с процессом ожидаемости тех или иных вариформ, функционируют на всех языковых уровнях: применительно к различного рода диалектам, социолектам и языковому стандарту. Формирование оценочной компетенции происходит в процессе активной перцептивной деятельности на базе использования, главным образом, средств массовой коммуникации.

Вышеописанные подходы к проблеме кодификации немецкого произношения разработаны и решаются представителями относительно нового направления среди фонетических наук – речеведения. Практический и теоретический вклад в речеведение со стороны ученых Германии огромен и заслуживает самого пристального внимания и изучения [Krech 1996с; 1999].

Следует отдать должное немецким речеведам, взявшимся за решение столь сложной задачи и успешно решившим ее. При этом положительным фактом является то, что норму они рассматривают не как некий застывший эталон, а как диапазон произносительных вариформ, присущий данному отрезку времени.

Важно подчеркнуть, что проблема стандартизации и кодификации как письменного, так и устного языка чрезвычайно сложна, так как результирующая компонента находится в прямой зависимости от различных аспектов жизни социума: экономических, геополитических, этнических, культурологических и т.д. Проблема нормы – это проблема соотношения между некими вариантами и инвариантами, вариформами и гиперформами. Следовательно, задача кодификации напрямую зависит от результатов поиска вариформ, позволяющих их систематизировать и свести в единый свод правил, являющих собой принцип "единство в многообразии". Реальные нормализация и кодификация произношения возможны только лишь при условии опоры на многостороннюю речевую практику с ориентациями на регио- и социолекты, на коммуникативную специфику и виды речевой деятельности.

Известно, что разговорная речь (точнее дискурс) рассматривается как особый тип реализации языка, функционирующий в различных сферах общения и в различных ситуациях, в основном, в виде диалога или монолога как в устной, так и в письменной формах. Дискурс имеет преимущественно спонтанный характер и предполагает, как правило, непосредственный контакт между адресантом и адресатом. Сюда же можно отнести и опосредованный с помощью технических средств вид контакта (например, телефонный тракт, e-mail). Основным экстралингвистическим фактором, формирующим разговорную речь, является характер отношений между собеседниками: официальный, нейтральный, непринужденный и т.д. Дискурс обнаруживает в процессе функционирования широкий диапазон варьирования и как особый тип реализации языка представляет собой стилистически дифференцированную систему, имеющую специфический набор признаков и определенных законы их функционирования. В рамках разговорной речи (дискурса) на фонетическом уровне можно выделить три основных стиля произношения: официально-деловой, нейтрально-бытовой, непринужденный [Бухаров 1995; Гайдучик 1976; Истренко 1986; Новицкая 1976]. Для разработки проблемы произносительной вариативности сегментного состава немецкой речи в двух видах речевой деятельности особое значение приобретает последний тип стиля: непринужденный, который может быть получен в ходе

преобразования звучащего текста при чтении в звучащий дискурс при обсуждении прочитанного материала. При этом необходима опорная единица исследования, в качестве которой может выступать слог.

При рассмотрении основного объекта нашего исследования мы исходим из комплексной концепции слога [Потапова 1986]. Представляется также плодотворным рассмотрение слога как минимального акустического сегмента, интегрируемого с позиции внутрислогового контраста и коартикуляции [Бондарко 1977; Прокопова 1973].

Данное экспериментальное исследование включало несколько этапов. На первом этапе аудиторского анализа, где в качестве аудиторов выступили носители языка ($n = 10$) и преподаватели фонетики немецкого языка ($n = 10$), установлено, что тексты официально-деловой, нейтрально-бытовой и непринужденной разговорной немецкой речи надежно идентифицируются на перцептивном уровне. Следующий этап аудиторского анализа заключался в том, чтобы в ходе многократного прослушивания текстов при чтении и в спонтанной непринужденной разговорной речи передать в транскрипции все услышанные отклонения от нормативного немецкого произношения в системе слоговости, вокализма и консонантизма, используя при этом систему обозначений Международной фонетической ассоциации (МФА).

В качестве аудиторов на втором этапе анализа выступали фонетисты-германисты ($n = 5$) и носители немецкого языка ($n = 5$). Последние, однако, не имели достаточного специального образования. Поэтому прежде, чем приступить к фонетическому анализу исследуемых текстов, они прошли этап предварительной подготовки, что было обусловлено сложностью поставленных перед ними задач, решение которых требовало от аудиторов владения дополнительными фонетическими знаниями.

Процесс обработки данных включал соотнесение аудиторских оценок и принятие на этой основе решения о релевантности того или иного признака для реализации и идентификации слога, а также вокалических и консонантных аллофонов его составляющих. Признак определялся как релевантный, если он присутствовал в аудиторских ответах не менее, чем в 70% случаев.

На третьем этапе исследования определялся тип ритмической структуры слов, образовавшихся в результате стяжения слогов при чтении и говорении. Для проведения эксперимента исследуемые речевые отрезки были выделены из фраз с помощью программы сегментации и записаны в пятикратном повторении в компьютерную память.

Проведение эксперимента преследовало цель – определить для каждого воспринимаемого речевого стимула при снятии "смысла" его ритмическую структуру при чтении и говорении. Процедура опыта заключалась в том, что аудиторам на головные телефоны подавался искаженный речевой сигнал. Аудиторы, снабженные протоколом с порядковым номером предъявленных стимулов, отмечали ритмическую специфику структуры. На данном этапе в качестве аудиторов выступили лица, не владеющие немецким языком ($n = 5$). Предполагалось, что аудиторы, владеющие немецким языком, а также носители языка соотносили бы воспринимаемый речевой сигнал (стимул) не с ритмическими структурами [Потапов 1996; 1999; 2001], а с определенными словами, т.е. помимо ритмического фактора включался также смысловой фактор, который мог бы при слуховой обработке сигнала привести к принятию неверного решения.

Цель инструментального анализа заключалась в установлении акустических коррелятов безударных слогов, а также слоговых/неслоговых сонантов, реализуемых в рамках слоговых структур с возможной реализацией звуковых последовательностей при чтении и говорении. В ходе инструментального анализа мы исходили из положения о том, что акустическим коррелятом слога в его наиболее общем виде является дуга уровня интенсивности [Потапова 1986]. Рабочая гипотеза формулировалась следующим образом: модификации исследуемых безударных слоговых структур находят свое отражение в изменении слогового рельефа слова. Инструментальному анализу

было подвергнуто 600 слов. Анализировались такие просодические характеристики, как длительность и уровень звукового давления речевого сигнала. Для оценки надежности расхождений между данными сравнимых выборок использовался односторонний модифицированный t-критерий. Определялась также относительная частотность анализируемых сегментов, характеризующихся определенными фонетическими признаками.

Исследование особенностей функционирования безударных слогов с возможной реализацией звуковых последовательностей /-эп/, /-эм/, /-эл/ в дистрибуции с предшествующими смычно-взрывными, щелевыми и сонорными согласными, а также в позиции после гласных в структурно-функциональном, аудитивном и акустическом аспектах позволило обнаружить, что самыми эффективными факторами, детерминирующими широкую вариативность вышеуказанных сегментных структур, являются их позиция и дистрибуция как при чтении, так и при говорении в рамках дискурса.

В ходе исследования выделены три типа реализации: а) полный тип реализации безударного слога; б) слоговые структуры с сонантным слогоносителем при условии полной редукции гласных; в) потеря слогового сонанта, ведущая к слиянию оставшихся элементов слога с корневой морфемой при сохранении благодаря контексту остаточной информации как о самой корневой морфеме, так и о флексии.

Слоги с возможной реализацией последовательности /-эп/ в позиции после глухого смычного согласного [t] при чтении обнаруживают полный тип реализации (структура /-тэп/) или реализуются как структуры с сонантным слогоносителем в чтении. В позиции после [f], [s] и после гоморганного носового согласного [n] наблюдается редукция /-тп/ до /-п/ в говорении. Имеют место реализации структуры /-тп/ как /-дп/, что объясняется действием вокально-сонантного окружения.

Структура [-тп] реализуется как с t-эксплозивным, так и с t-имплозивным. Реализации последнего составляют 60%. Данные по уровню интенсивности обнаруживают регулярный рост значений энергетических характеристик для п-слогового. Наши результаты соотносятся с данными [Лысенко 1982; Онжанов 2001].

Силлабическая структура с возможной реализацией сочетания /-эп/ в дистрибуции с предшествующим звонким смычно-взрывным согласным [d] реализуется как /-дэп/ или как структура с сонантным слогоносителем как при чтении, так и при говорении. Согласный представлен как имплозивным, так и эксплозивным аллофонами. Имеют место случаи слоговости сонанта [п] в позиции перед гласным, а также расщепление сонанта на п-слоговое и п-неслоговое. Высокий процент обнаруживают случаи потери сонантного слога/-дп/ и образования в результате стяжения новой односложной силлабической структуры особенно при чтении, где фонологически долгий гласный часто имеет несколько максимумов интенсивности, что объясняется эффектом реартикуляции [Потапова 1981; 1986].

В ходе инструментального анализа и применения t-критерия обнаружены расхождения между значениями относительной длительности для п-слогового и п-неслогового в стяжениях и отсутствие данной тенденции при их сопоставлении в структуре /-дэп/, что позволяет сделать вывод о неравнозначности п-неслогового в стяжениях и п-неслогового в структуре /-дэп/.

В реализациях чтения того же экспериментального материала п-неслоговое и п-слоговое в безударных слогах образуют с учетом параметра длительности привативную оппозицию (минимум длительности для п-неслогового при чтении и максимум для п-слогового в беглой речи). Полученные данные подтверждают выводы, полученные ранее [Лысенко 1982].

Сопоставление п-слогового в структурах /-d_{эспл} п/ и /-d_{импл} п/ выявило рост относительных значений суммарной и средней интенсивности п-слогового в структуре /-d_{импл} п/, что объясняется ненапряженным характером произнесения d-имплозивного, реализующегося с фаукальным взрывом. Ненапряженность d-имплозивного компенсируется большей напряженностью артикуляции при произнесении п-слогового.

Сегментная структура /-бэп/ представлена полным типом реализации и сонантным

слогом с в-эксплозивным и в-имплозивным. Сонант [ŋ] в позиции после смычно-взрывного согласного [b] представлен аллофоном [m] (в структурах с сонантным слононосителем) или [m̥] (в стяжениях). Случай потери сонантного слога представлен двумя разновидностями: [bm – ^bm; m]. Необходимость выделения структуры [-^bm] вызвана тем, что на осциллограмме четко фиксируется участок смычки, хотя на перцептивно-слуховом уровне данная структура воспринимается как односложная.

Результаты инструментального анализа обнаружили наличие тенденции к увеличению значения суммарной интенсивности, средней интенсивности, скорости возрастания интенсивности, а также значений относительной длительности для п-слового в беглой разговорной речи.

Структура /-gəŋ/ реализуется с сонантным слононосителем. Заднеязычный смычно-взрывной согласный [g] представлен как имплозивным, так и эксплозивным аллофонами. Финальный слоговой сонант [ŋ] уподобляется последним по месту артикуляции и выступает всегда как [ŋ]. Высокий процент составляют случаи потери сонантного слога: [gŋ – ^ʔŋ; ŋ; ŋ].

Фонологически долгие гласные, реализующиеся в рамках данных структур, опознаются аудиторам как долгие, краткие и как имеющие дифтонгообразный характер. Отмечаются также модификации финального слогового сонанта. Инструментальным путем обнаружен рост значений суммарной интенсивности, средней интенсивности и скорости возрастания интенсивности для п-слового. Имеют место также регулярные различия по параметру суммарной интенсивности между структурами [-g_{экспл.}ŋ] и [-g_{импл.}ŋ].

Сегментная структура [-lən] реализуется как [-lən] или [-ln]. Наблюдаются случаи потери слоговости [n] и образования новой силлабической структуры с ударным фонологически долгим или кратким гласным. Особенно при быстром чтении и в беглой разговорной речи. При этом для реализаций чтения в умеренном темпе характерна l-неслоговая модель при одновершинной картине уровня интенсивности; для l-слоговой модели – при двувершинности.

В ходе инструментального анализа обнаружен регулярный рост значений некоторых параметров интенсивности для п-слового в рассматриваемом окружении.

Звуковая последовательность /-əŋ/ в позиции после носового согласного чаще всего не реализуется. Вместе с тем не исключен полный тип реализации данной сегментной структуры. Энергетическая модель слога, образовавшегося в результате стяжения, характеризуется вариативностью. Имеют место модификации значений абсолютной длительности фонологически долгого/краткого гласного и сонанта в конечной позиции. При уменьшении количественных значений вокалического компонента слога поствокальный сонант берет на себя функцию временного компенсатора, в результате чего общая длительность структуры сохраняется [Потапова 1986]. В позиции абсолютного конца фразы наблюдается значительный рост длительности финального сонанта, что соотносится с ранее полученными данными [Потапова 1986] применительно к "тяжелому слогу".

Структура /-nəm/ обнаруживает тенденцию к полной редукции, приводящей к образованию нового слога, состоящего из фонологически долгого гласного и сонанта. Энергетическая модель нового слога имеет два варианта: а) двувершинная модель с ядром на поствокальном сонанте и б) одновершинная – с ядром также на поствокальном сонанте. В то же время при реализации тех же структур при чтении наблюдается перераспределение энергетических характеристик в рамках безударных слогов. Ядром слога могут быть как гласные, так и сонанты.

Варьирование структуры слога происходит за счет изменения абсолютных значений длительности фонологически долгого гласного. В предпаузальной позиции на стыке слов наблюдается рост абсолютных значений длительности поствокального сонанта [Потапова 1965; 1977; 1981].

В структуре /-Rən/ в результате элизии безударного гласного /ə/ и перемещения в из предвокальной позиции в поствокальную, где в всегда представлен своим вокали-

зованным аллофоном, происходит потеря слога и образование новой силлабической структуры CGS с долгим ударным гласным (С – согласный, Г – ударный гласный /долгий или краткий/, S – сонант).

Энергетическая модель данной структуры представлена двумя вариантами: а) одновершинной моделью с ядром на поствокальном сонанте и б) двuverшинной моделью с ядром на гласном или на поствокальном сонанте. Для двuverшинной модели с ядром на гласном характерны случаи реализации долгого гласного с несколькими энергетическими максимумами. Вокалический компонент слога обнаруживает широкий диапазон вариативности. В позиции абсолютного конца фразы отмечается увеличение абсолютных значений длительности как гласного, так и финального сонанта.

Элизия безударного гласного /ə/ в структуре /-тəп/ и последующая ассимиляция финального /п/ и предфинального /т/ приводит к потере слога и образованию новой силлабической структуры с фонологически кратким гласным, с ядром на гласном или на поствокальном сонанте или с фонологически долгим гласным с ядром на поствокальном сонанте. И в том и в другом случаях новые структуры имеют двuverшинный характер. В структуре CGS с кратким ударным гласным наблюдаются модификации длительности гласного и сонанта. В структуре CGS с долгим ударным гласным в позиции после сильноударного слога отмечается значительное сокращение длительности гласного при сохранении значений абсолютной длительности сонанта. Результат данного процесса – замена структуры CGS с долгим ударным гласным на структуру CGS с кратким ударным гласным.

Таким образом, сегментные структуры с возможной реализацией сочетаний /-əп/, /-əт/, /-ə/ в позиции после фрикативных согласных представлены двумя вариантами: а) полным типом реализации при чтении и б) силлабическими структурами с сонантным слононосителем, реализации которых в анализируемом дискурсе преобладают.

Последовательность /-əп/ в позиции после гласных часто обнаруживает полный тип произнесения. Особенно это относится к чтению в умеренном темпе. Высокую частотность имеют случаи потери слога при говорении. Силлабические структуры, образовавшиеся в результате элизии /ə/, представляют собой одновершинную модель с ядром на гласном или сонанте. Вариативность составляющих нового слога незначительна.

Интенсивность реализуется в потоке звучащей речи несколькими параметрами, такими как суммарная интенсивность, средняя интенсивность, скорость возрастания интенсивности, скорость убывания интенсивности. Однако не все эти параметры оказываются значимыми при различении признаков "слоговость/неслоговость". В одних случаях существенными являются все параметры, в других – только один или некоторые из них. Параметр относительной длительности также не всегда выступает для немецких слоговых сонантов в качестве релевантного. Представляется, что тот или иной набор параметров, релевантных для различения слоговых/неслоговых сонантов, зависит от действия дистрибутивного фактора, а также от видов речевой деятельности.

Для вокалического компонента слога характерны значительные количественные и качественные изменения, вплоть до полной элизии последнего. Исследование случаев реализации твердого приступа анлаутных гласных неприкрытых слогов позволило заключить, что реализации твердого приступа гласных в немецкой разговорной речи имеют место в ударной позиции, в позиции абсолютного начала фразы и после паузы с перерывом звучания. В безударной позиции преобладают случаи отсутствия реализации твердого приступа гласных, приводящие к стяжению слогов с дальнейшим перераспределением границ слога. Факторами, детерминирующими отсутствие реализации твердого приступа анлаутных гласных неприкрытых слогов, являются: ненапряженность артикуляции; безударная позиция, качество гласного.

Все вышеперечисленные типы модификации характерны для беглой речи и

полностью совпадают с ранее полученными данными [Лысенко 1982; Повилайтис 1986].

В системе консонантизма немецкой разговорной речи также были обнаружены значительные количественные и качественные модификации согласных, что объясняется ослабленной артикуляцией, приводящей к частичному или полному исчезновению некоторых характеристик согласных, появлению у них новых характеристик.

В акустико-артикуляционном плане редукция гласных выражается ослаблением их количественных и качественных признаков, ведущим к сокращению длительности, к неопределенности их звучания, что в акустическом отношении коррелирует с "размытостью" формантных контуров. Основной фонетической характеристикой редуцированных гласных является их централизация: артикуляторно она проявляется в приближении укладов речевых органов к индифферентному положению, а акустически – в смещении формантных максимумов к акустическому центру [Потапова 1986].

Относительно признака гласного, подвергающегося нейтрализации, принято различать количественную и качественную редукцию. Полное выпадение гласного (элизия) представляет собой, таким образом, конечную степень количественной и/или качественной редукции, а не особый ее тип.

Если существование количественной редукции гласных в немецком языке не вызывает сомнения, то наличие и пределы качественной редукции до сих пор являются объектом лингвистических дискуссий. Господствовавшее долгое время мнение о том, что немецкому языку качественная редукция не присуща вовсе, было опровергнуто результатами ряда экспериментально-фонетических исследований [Потапова 1994; 1995; 1996]. Одни фонетисты считают, что всем гласным немецкого языка характерна нейтрализация признака закрытости, другие полагают, что ослабление закрытости свойственно лишь гласным высокого и низкого подъема языка, третьи представляют точку зрения, что все гласные могут полностью терять свое качество, реализуясь звуком неполного образования [э].

Недостаточно разработанным является также вопрос о взаимодействии количественной и качественной редукции [Повилайтис 1986]. По поводу данной проблемы существуют две точки зрения. Согласно первой количественные изменения влекут за собой качественные, ибо сокращение длительности гласных не позволяет речевым органам достичь целевых укладов, характерных для их ударных вариантов. Вторая точка зрения – теория "дополнительной энергии" – предполагает существование автономного энергетического уровня, который регулирует качество гласного независимо от его количественных характеристик; согласно этой теории каждый тип редукции осуществляется автономно.

Согласно результатам проведенного экспериментально-фонетического исследования служебные слова, которые составляют 86% относительно частотного списка словарного состава современного немецкого языка, выступают в речевом дискурсе приблизительно в 90% случаев в безударной позиции [Потапова, Линднер 1991]. Все гласные в их звуковой структуре подвергаются не только количественной, но и значительной качественной редукции, которая через целый ряд промежуточных ступеней приводит к полной нейтрализации всех дифференциальных признаков гласных вплоть до элизии. Аллофоническое варьирование редуцированных гласных представляет собой, таким образом, чередование звуков, при котором фонемы, наиболее близкие по структуре дифференциальных признаков, реализуются близкими аллофонами. Появившиеся вследствие редукции гласные выстраиваются в убывающем порядке по степени выраженности артикуляторно-слуховых признаков в аллофонические ряды, начальные звенья которых представляют собой доминирующие аллофоны, а конечными являются звуки неполного образования [э] или элизия гласного. Под доминирующими аллофонами понимаются такие безударные звуки, которые с учетом восприятия не отличаются от ударных реализаций соответствующих гласных.

Вместе с тем их акустические характеристики в незначительной степени модифицированы [Сарсембаева 1989; Стериополо 1979].

Данные эксперимента позволили выявить две степени качественной редукции. Первая степень свойственна ограниченному количеству немецких гласных и представляет собой нейтрализацию признака закрытости (напряженности), акустическим коррелятом которой является повышение значения F_1 . Вторая степень качественной редукции присуща всем гласным современного немецкого языка. Она приводит к потере фонологических признаков огубленности, степени подъема языка и принадлежности к ряду и появлению звуков неполного образования [ə] (нейтральных аллофонов), которые отличаются максимальной артикуляторно-акустической централизацией. Гласные переднего ряда в результате качественной редукции второй степени реализуются нейтральным аллофоном [ə], а гласные заднего ряда – аллофоном [æ]. Основное артикуляционное различие между вышеуказанными нейтральными аллофонами заключается в горизонтальном положении языка: звуку [ə] характерны более передняя артикуляция и светлое звучание по сравнению с более задним и темным аллофоном [æ]. В акустике это передается более высоким значением второй форманты ($F_2 = 1600$ Гц).

Количество аллофонов каждой фонемы зависит от структуры ее дифференциальных признаков и является, таким образом, в парадигматическом плане конечным и предсказуемым. Рассматривая артикуляторно-слуховые признаки нейтральных аллофонов (краткий открытый неогубленный гласный среднего ряда, среднего подъема), к которым под влиянием редукции стремятся все гласные современного немецкого языка, можно определить количество новых маркеров каждой фонемы и предсказать тем самым число ее аллофонов: чем больше новых маркеров имеет фонема, тем длиннее в условиях редукции ее аллофонический ряд. Так, долгие закрытые гласные обнаруживают пять безударных аллофонов: долгий закрытый (полный аллофон); краткий закрытый гласный, возникающий вследствие количественной редукции; краткий открытый гласный как результат качественной редукции первой степени; нейтральный аллофон (вторая степень качественной редукции); элизия гласного (нулевой аллофон), например: [de:m] > [dem] > {dɛm} > [dɛm] > [dm].

Аллофонический ряд долгого открытого [a:] короче на одно звено, так как в его фонологической структуре отсутствует дифференциальный признак закрытости. Краткие открытые гласные в условиях безударности реализуются тремя аллофонами: кратким открытым (полным аллофоном); нейтральным (следствие качественной редукции второй степени); элизией гласного (нулевым аллофоном). Редукция немецких дифтонгов ведет через монофтонгизацию и последующую централизацию к элизии гласного.

На основе полученных данных представляется возможным систематизировать аллофоны, возникшие в результате количественной и качественной редукции гласных фонем современного немецкого языка в безударных слогах в двух видах речевой деятельности.

Различные фонемы обладают различным количеством аллофонов в зависимости от их ингерентных свойств. Они демонстрируют также процесс перехода аллофонов друг в друга и отражают приблизительную артикуляционную характеристику каждого аллофона.

Если в парадигматическом отношении гласные исследуемых слов разделяются на три основные группы в зависимости от их фонологической структуры (долгие монофтонги, краткие монофтонги и дифтонги), то в синтагматическом плане степень редукции гласных и частотность употребления отдельных аллофонов регулируются целым рядом интра- и экстралингвистических факторов, которые подразделяются на три группы:

1. **комбинаторно-позиционные факторы**, не имеющие непосредственного отношения к значению слова;
2. **функционально-стилистические факторы**, которые вызывают просодические

модификация смыслового и стилистического характера, накладывающиеся на аллофоническое варьирование и тем самым придающие ему связь с планом содержания.

3. виды речевой деятельности.

К комбинаторно-позиционным факторам, обуславливающим процесс редукции гласных в слабых формах, относятся:

– количество слогов: двусложные слова характеризуются большей устойчивостью к редукции гласных по сравнению с односложными, чему способствует тенденция к сохранению их слоговой модели;

– структура слога: в неприкрытом и закрытом типах слогов наблюдается максимальное проявление редукции гласного – элизия. Неприкрытость слога способствует выпадению первого переходного участка, а открытость – второго;

– консонантное окружение гласного: наличие в односложных служебных словах согласного, способного выполнять функцию слогоносителя, стимулирует процесс редукции и допускает элизию гласного. Между гомоганными согласными элизия гласного невозможна, и редукция заканчивается нейтральным аллофоном. В сочетании гласных с вокалическим аллофоном фонемы /r/ редукция приводит к слиянию данного аллофона с сильно видоизмененным гласным и появлению редуцированного звука /r/, выступающего в функции слогоносителя;

– дистрибуция пауз: позиция перед паузой колебания препятствует как количественной, так и качественной редукции гласных в слабых формах.

С позиции комбинаторных условий в корпусе служебных слов можно выделить две группы: двусложные и односложные; по слоговой структуре они подразделяются на слова со слогами закрытого, открытого, неприкрытого и прикрытого типа.

Функционально-стилистические факторы, регулирующие характер редукции гласных в слабых формах, включают:

– функциональную нагрузку речевого элемента: низкая структурно-семантическая значимость слова, определяемая как его грамматико-категориальной принадлежностью, так и коммуникативной направленностью текста, способствует большей редукции гласного. Так, указательные местоимения *die, dem, der, das* в функции прилагательного характеризуются отсутствием редукции их гласных; выступая в роли относительных местоимений и союзов, данные слова допускают первую степень качественной редукции, а как артикли и указательные местоимения с функцией существительного они обнаруживают полную нейтрализацию дифференциальных признаков гласных или их элизию. Данные грамматико-категориальные разновидности служебных слов различаются также и по относительной частотности отдельных аллофонов;

– стилистическую окраску речи: сфера общения и коммуникативная ситуация определяют характер редукции гласных следующим образом: непринужденно-бытовому стилю свойственно более яркое проявление редукции гласных и тем самым большее количество аллофонов, чем официально-деловой речи; абсолютным стилистическим маркером выступает степень редукции гласных в слабых формах, а относительным – различная частота употребления отдельных аллофонов [Родионов 1967; 1972; Рудак 1988].

Функционально-стилистическая обусловленность редукции гласных в слабых формах демонстрирует тесную зависимость и взаимодействие в процессе коммуникации различных уровней языковой системы, в частности, грамматического (морфологического и синтаксического) и фонетического (сегментного и просодического), а также неразрывность интра- и экстралингвистических факторов вариативности.

Соотнесение речевого высказывания с тем или иным видом речевой деятельности (чтением, говорением) обуславливает манифестацию механизма реализации полного и неполного типов произнесения, что влечет за собой компрессию звуко-слоговых составляющих высказывания.

В результате проведенного исследования выявлены акустические корреляты перехода одних аллофонов в другие. В качестве пороговых значений акустических

параметров рассматриваются те пересекающиеся области их реализаций, в которых частотность появления сопоставляемых аллофонов приблизительно одинакова: как правило, такие пороговые области расположены между доверительными интервалами их средних величин.

Аллофоны имеют определенные зоны акустических реализаций, которые обусловлены не только ингерентными свойствами гласных, контекстуальными условиями, но и видами речевой деятельности. Их восприятие носит относительный характер: одни и те же аллофоны в разных стилях речи обнаруживают различные акустические характеристики, что убедительно демонстрирует зависимость сегментных единиц речи от просодической структуры высказывания в целом.

Анализ спектрально-временных структур безударных гласных показывает, что под влиянием редукции в первую очередь модифицируется квазистационарный участок монофтонгов, который может полностью исчезнуть; наиболее типичной для редуцированных гласных является двухсегментная или односегментная спектрально-временная структура. Дифтонги, которые редуцируются, главным образом, за счет изменений второго компонента, кардинально отличаются в этом отношении от звукосочетаний Г + /r/, называемых иногда "центрирующими дифтонгами".

Несмотря на то, что спектрально-временная структура сочетаний Г + /r/ близка к акустической структуре дифтонгов, их редукция осуществляется по иным законам: она идет прежде всего за счет разрушения первого компонента, т.е. гласного; консонантный характер второго сегмента, а также близость его к артикуляторно-акустическому центру определяют большую устойчивость согласного к процессу разрушения под влиянием редукции, чем вокалического сегмента дифтонгов. Это оказывает существенное влияние на свойства всего дифтонгоидного сочетания, в результате чего оно обнаруживает при редукции другие закономерности количественно-качественных модификаций, чем дифтонги. Данный факт демонстрирует глубокую внутреннюю связь фонетических элементов с их генезисом и обусловленность качеств фонетического целого свойствами его составляющих.

Редукция гласных в слабых формах происходит градуально и представляет собой целостный однонаправленный процесс, объединяющий две стороны – количественную и качественную. Типы редукции одновременно являются ступенями данного процесса, ибо количественные изменения в целом неизбежно влекут за собой появление нового качества. Вместе с тем, количественные и качественные модификации гласных находятся в сложных отношениях взаимообусловленности и взаимокompенсации, характер которых меняется на разных этапах этого процесса.

На начальном его этапе качественные изменения отстают от количественных, т.е. начальная стадия редукция гласных характеризуется относительным постоянством формантной структуры звука и заметным сокращением его длительности, которое может достигнуть 75% исходной длительности долгих гласных, 62% – звукосочетаний Г + /r/, 55% – дифтонгов и 50% – кратких гласных. За данными пороговыми величинами наступают резкие качественные изменения, затрагивающие формантную структуру звуков, с одновременным сокращением их длительности, т.е. количественная и качественная редукция гласных на данном этапе происходят синхронно.

Конечный этап процесса редукции обнаруживает полную потерю гласными всех характерных качественных признаков и лишь незначительные модификации их количества, ибо длительность гласных достигает предела, дальше которого количественная редукция невозможна (45 ± 15 мс). Выявлено, что количественная редукция гласных при чтении зависит от темпа [Новицкая 1976; Повилайтис 1986]:

- при быстром темпе чтения степени редукции близки к разговорной беглой речи;
- при замедлении темпа чтения качественно-количественная редукция гласных и согласных слога в безударной позиции может быть охарактеризована как практически ее отсутствие.

Данный факт показывает тесное единство двух важнейших характеристик – явле-

ний объективной действительности – количества и качества, их взаимообусловленность и взаимокompенсацию.

В ходе исследования можно заключить, что все реализации фонологической системы немецкого языка, если исключить из рассмотрения диалектно- и территориально-окрашенные произносительные варианты, будут осуществляться в соответствии с тремя основными вариантами: полным, сниженным полным и неполным. Данные три варианта реализации выделяются в ходе типизации коммуникативных актов на основе аппелятивных координат.

Полный (эксплицитно-нормативный или "идеально"-нормативный) вариант реализации фонологической системы немецкого языка рассматривается как максимум акустического несущего семантической информации.

Сниженный полный вариант реализации в отличие от полного обладает большей вариативностью и наличием промежуточных форм, зафиксированных в словарях произношения.

Неполный (эллиптично-нормативный) вариант реализации характеризуется значительной деформацией сегментного состава, т.е. разного рода качественными и качественными усечениями единиц плана выражения.

Вышеизложенное позволяет заключить, что реализация фонологической системы в речи осуществляется в соответствии с частными нормами и стилями реализации, которые, в свою очередь, регламентируются влиянием экстралингвистических факторов. Последние могут стилистически маркировать речевой сигнал, задавая определенный диапазон варьирования физических параметров составляющих сигнала, на основании чего каждое речевое произведение может быть достоверно отнесено к определенному типу произнесения и, учитывая просодические признаки, – стилю произношения.

Степень количественной редукции безударных гласных в быстром темпе влечет за собой качественную редукцию гласных, которая в отличие от количественной представляет собой особый вид звукового варьирования, так как лишает гласный звук четких тембральных характеристик [Веренич 1984]. Примером качественной редукции звуков на материале экспериментальных текстов может служить тенденция к увеличению открытости гласных при ускорении темпа речи. Данное фонетическое явление можно наблюдать не только в служебных, но и в знаменательных словах.

Следствием увеличения скорости произнесения может быть не только большая открытость гласного слононосителя, но и централизация артикуляции звукового сегмента, что ведет к нейтрализации качественных различий между гласными и появлению вместо открытых вариантов [i], [ʊ], [ɔ], [ɛ] редуцированного [ə]. Конечной стадией процесса качественной редукции является полное выпадение звука (элизия).

Изучение особенностей реализации консонантных единиц в темповых разновидностях устных текстов обнаружило наличие тенденции к ослаблению и выпадению согласных под влиянием увеличения скорости речи. При этом установлено, что для разных типов согласных характерны различные модификации. Так, например, при ускорении темпа речи отмечено увеличение случаев появления озвонченных вариантов глухих смычных и фрикативных согласных.

Результаты аудитивного анализа звонких смычных в исследуемых темповых разновидностях текстов свидетельствуют о том, что модификации данной категории консонантных единиц касаются прежде всего способа их образования. Ослабление звонких смычных [b], [d], [g] в быстром темпе может проявляться в переходе данных взрывных согласных в фрикативные, т.е. смычка звонкого согласного значительно ослабевает или даже вовсе отсутствует, вследствие чего смычный звук становится щелевым: *Oberschule, oder, erzeugt, habe ich*. Из звонких смычных чаще всего утрачивают смычный характер и становятся щелевыми [g] и [b], реже [d].

Анализ экспериментальных текстов позволяет утверждать, что быстрый темп речи способствует снижению консонантной насыщенности речи за счет более частого выпадения согласных в данной темповой градации. Так, в текстах нормального темпа

речи на 286 слогов отмечено шесть случаев выпадения согласных, в то время как в таком же тексте быстрого темпа речи количество элиминированных согласных увеличивается почти в 4 раза. Наибольшей неустойчивостью отмечены смычно-взрывные согласные [t] и [d] в консонантных группах: согласный [t] очень ослаблен или полностью выпадает перед взрывными, щелевыми звуками и аффрикатами, иногда перед гласными: *en(t)deckt, sin(d) das, Aushil(d)ung, Obs(t) – und Gemüse, punk(t) ach(t)*.

Выпадение гласных и согласных порождает в свою очередь модификацию единиц более высокого иерархического уровня – элизию слогов. Максимальное ускорение темпа речи ведет к деформации или звуковой компрессии сразу нескольких сегментных единиц, что изменяет количественно-слоговой состав ритмических фраз, например: *Wir wa(re)n ober in ei(ne)m klein(en) Raum zusamm(en)*.

Немецкая разговорная речь представляет собой одну из форм устной речи, в которой функционирование единиц сегментного уровня в значительной степени обусловлено темпоральными характеристиками текста. Отклонения от кодифицированной нормы, возникающие под влиянием ускорения темпа речи, показывают, что в речевой практике наряду с кодифицированной нормой существует обиходно-разговорная литературная норма, которая имеет свои закономерности вариативности единиц сегментного уровня в речевом дискурсе [Новицкая 1976; Истренко 1986].

Изучение функционирования сегментных единиц в текстах, противопоставленных по темпу речи, позволило выявить разнообразные типы количественных и качественных модификаций звуков, одни из которых являются характерными для обеих темповых разновидностей текста, другие могут рассматриваться как варианты, обусловленные быстрым темпом речи. К числу звуковых модификаций, которые могут наблюдаться в обоих темпах речи, можно отнести: выпадение ослабленного [ə], наличие сонантов-слогоносителей, выпадение отдельных гласных и согласных, количественную и качественную редукцию гласных в служебных словах, ассимиляцию согласных по месту образования и способу артикуляции, отсутствие твердого приступа в служебных словах, деаспирацию глухих смычных согласных [Kohler 1977]. Наряду с этим при ускорении темпа речи значительно увеличивается частотность озвончения глухих смычно-взрывных согласных, т.е. проявляется тенденция к дефонологизации различий между [t] – [d], [p] – [b], [k] – [g] в интервокальном положении и на стыке акцентных единиц перед гласными и сонорными согласными; возрастает аффрикатизация смычно-взрывных и щелевых согласных на стыке акцентных единиц: ослабляются аффрикаты; увеличиваются случаи фрикатизации звонких смычных, монофтонгизации дифтонгов, элизии целых слогов.

Анализ звуковых модификаций в рассматриваемых текстах дает основание для вывода о том, что ускорение темпа речи расширяет диапазон фонетических модификаций. Так, в текстах нормального темпа почти все случаи выпадения [ə] зафиксированы после смычных и щелевых согласных. В текстах быстрого темпа выпадение [ə] отмечено не только после смычных и щелевых согласных, но и после гласных и сонорных согласных. При значительном ускорении темпа речи выпадение [ə] имеет следствием не только ассимиляцию согласных по месту артикуляции, но и далеко идущую полную ассимиляцию смычного согласного в контакте с носовым.

Воспринимаемые звуковые модификации, обусловленные ускорением темпа речи, находят свое выражение на акустическом уровне в изменении количественных показателей сегментных единиц в сторону уменьшения. Хотя диапазон вариативности звуков очень широк, средние данные, вычисленные на большом материале для всех ударных и безударных гласных, свидетельствуют, что в целом ударные долгие гласные сокращаются в большей степени, чем безударные.

Среди безударных гласных также существует определенная последовательность по их способности к сокращению. Гласный первого заударного слога редуцируется в максимальной степени. В данной позиции в текстах, реализованных в быстром темпе, часто наблюдается редукция гласного до нуля. Во втором заударном слоге редукция гласного меньше, чем в первом. По мере удаления от ударения реже встречаются

случаи выпадения гласных в безударных слогах. В заударной позиции максимальную длительность имеет конечный слог ритмической структуры.

Как показали наши данные, а также результаты других исследователей, например, [Стериополо 1979], в безударной позиции как качественные, так и количественные характеристики гласных заметно ослаблены, что является следствием редукции. Однако в немецком языке качественная редукция крайне редко приводит к нейтрализации тембра гласного. Типичным является сохранение у безударного гласного основных тембральных свойств ударного варианта. В частности, можно наблюдать четкое противопоставление безударных гласных открытых и закрытых слогов по качественному признаку. Отсюда следует, что в безударной позиции краткие закрытые и долгие закрытые одного и того же качества находятся в отношении дополнительной дистрибуции друг к другу, т.е. краткие и долгие варианты закрытых гласных являются аллофонами одной фонемы. Все безударные аллофоны можно разделить по качественному признаку на два класса: закрытые, напряженные гласные, соответствующие долгим в ударной позиции: [i:] – i, [e:] – e, [u:] – u, [o:] – o, [a:] – a, и открытые ненапряженные: i, e, u, a.

Количественная редукция немецких гласных приводит к полной утрате их различия по длительности – все безударные гласные практически равновелики. Это обстоятельство ясно отражает зависимость длительности немецких фонем от ударения и структуры слога [Потапова, Потапов 2001].

Распределение длительности между ударными и безударными гласными показывает, что количественные характеристики безударных гласных не зависят от структуры слога и от позиции в слове: длительность гласных открытых, закрытых, предударных и заударных слогов одинакова. Исключение составляют гласные конечных заударных слогов.

Устанавливая качественную редукцию гласных в немецком языке, необходимо подчеркнуть, что она не носит такой ярко выраженный характер, как в русском языке, где имеют место гласные неполного образования [ъ], [ь]. Характерной особенностью немецкого языка является большая качественная редукция гласных закрытых слогов по сравнению с гласными открытых слогов. Гласные предударных слогов редуцируются меньше гласных заударных слогов, кроме безударного *e*, максимально редуцированного до *э* во всех закрытых слогах начала и середины слова.

Как выяснилось в ходе исследования, сильные качественные модификации претерпевают дифтонги в безударных слогах по мере перестройки речи от чтения к говорению, что может быть отобразено наличием шкалы постепенных качественных сдвигов:

[æ] → [ai] → [aⁱ] → [ε] → [ə] → o;

[ao] → [au] → [ɔa] → [ɔu] → [ɔ] → [ɐ] → [ə] → o;

[ɔø] → [ɔi] → [ɔⁱ] → [ɔ] → [ə] → o.

Полученные нами данные в принципе совпадают с данными других исследователей [Успенский 1984], однако имеются и различия. Так, согласно нашим результатам на слуховом и акустическом уровнях неотъемлемым вариантом во всех шкалах является наличие и нулевой реализации. Причем указанные вариформы появляются, как правило, в дискурсе непринужденно-разговорного регистра речи. Реализуемые вариформы безударных гласных (монофтонгов и дифтонгов) демонстрируют целый спектр отклонений от кодифицированного произносительного стандарта.

Конкретных вариформ безударного вокализма значительно больше и они варьируют в зависимости от специфики и числа коммуникантов; ситуации общения; темпа речевого производства; вида речевой деятельности; фоностилистического регистра и т.д.

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить конкретные вари-

формы безударных слогов в немецкой речи применительно к двум видам речевой деятельности: чтению и говорению.

В ходе исследования выделены три типа реализации безударных слоговых структур: полный тип реализации, усеченный тип реализации, нулевой тип реализации. Установлено, что увеличение скорости речевого производства (темпа речи) при чтении не идентично вариформам безударных слогов в слитнонепринужденном говорении. Разновидности вариформ в ряде случаев могут быть близкими, но полного совпадения не прослеживается, что позволяет выдвинуть гипотезу о разнохарактерном механизме управления речеобразованием применительно к процессам чтения и говорения.

Особое фонетическое своеобразие проявляется в реализациях демонстрирующего широкий спектр R-аллофонов с учетом их акустической специфики и диапазона вариформ.

Традиционно группа R-аллофонов распадается на вариформы, начинающиеся с вибранта и заканчивающиеся элизией: многоударная вариформа > вибрант > одноударная вариформа > фрикативный > аппроксимант > гласный > полная ассимиляция > выпадение (элизия) (см. табл. 1).

Таблица 1

Фонетические классы R-аллофонов и их распределение по способу и месту артикуляции

	Апикально-альвеолярный	Увулярный, а также веларно-постдорсальный
Многоударный вибрант	[r]	[R]
Одноударный	[r]	[R]
Фрикативный	[ɹ] [*]	[ʀ] [ʁ]
	+	
Аппроксимант	[ɹ]	[ɹ]
Гласный		ɐ

Анализ осциллограмм и сонаграмм позволяет сделать вывод, что R-аллофоны в основном являются звонкими. Вместе с тем признаки звонкости присутствуют не всегда. Утрата данного признака присуща R-аллофонам при контактной и дистактной (по А.А. Реформатскому) [Реформатский 1996] прогрессивной ассимиляции по глухости в позиции после глухих обструентов.

Наше исследование подтвердило положение, согласно которому при чтении в префиксах *-er*, *-ver*, *-zer*, *-her* реализуются, как правило, вокализованные R-аллофоны. В конечной слоговой позиции после кратких гласных наблюдается использование консонантных и появление вокалических признаков вплоть до полностью ассимилируемых вариформ. После долгих гласных наблюдается либо вокализация вибранта, либо его полная ассимиляция. Особо следует выделить позицию вибранта в многосложных словах и после долгого [a:], где тенденция к полной ассимиляции значительно возрастает. Что касается такого вида деятельности как говорение (в частности, в диалоге и полилоге, например, на материале Talkshow), то наши наблюдения полностью совпадают с результатами других исследований [Graf, Meißner 1996], согласно которым данному виду речевой деятельности в значительно большей степени свойственна вокализация вибранта вплоть до его полной ассимиляции как после кратких гласных, исключая их функционирование в аффиксах, так и после долгого [a:].

Интересны выводы с учетом временной динамики [Rues 2001]. Исследованные

* Для апикального фрикативного R-аллофона особое обозначение в рамках МФА-транскрипции отсутствует. Данное обозначение находим в [Rues 2001].

полилоги в немецких Talkshow в 90-х годах дают возможность прийти к заключению, что доминирующим видом R-аллофонии в спонтанной немецкой речи становится полная ассимиляция, особенно в позиции после гласных [ɔ] и [a]. В других случаях наблюдается вокализация. И совсем редким явлением становятся консонантные аллофоны. Как следствие подобных модификаций наблюдаются компенсаторные количественные, а также частично качественные изменения предшествующего гласного.

Результаты исследования позволяют провести разграничение между типами немецких R-аллофонов с учетом позиций инициали и финали в слоге: инициали в большей степени присущи консонантные аллофоны, финали – вокализованные, подверженные после кратких гласных и [a:] полной ассимиляции.

Таким образом, объектом исследования являлась модификация безударных слогов в немецкой речи применительно к чтению и говорению. В результате исследования выявлены и описаны вариформы безударных слогов и их составляющих в немецкой речи. Динамика модификаций составляющих слога может быть охарактеризована следующим образом:

- **Чтение:** полный тип реализации безударных слогов; неполный тип реализации безударных слогов, не ведущей к слиянию составляющих слога и перераспределению слоговой границы;
- **Говорение:** неполный тип реализации безударных слогов, ведущей к слиянию составляющих слога, упрощению структуры слога и его полной потере; перераспределение слоговых границ и изменение акцентно-ритмического рисунка слова.

Результаты проведенного исследования, посвященного особенностям функционирования безударного слога и его составляющих в динамике дискурса, позволяют утверждать, что в немецкой разговорной речи при общем изменении моторики речи наблюдаются значительные модификации безударного слога, которые, в свою очередь, обуславливают широкую вариативность его составляющих. Это приводит к тому, что набор аллофонов гласных и согласных фонем, реализующихся в рамках безударных слогов, в немецкой разговорной речи шире, чем в кодифицированной литературной речи и при чтении.

Основным акустическим признаком слога с сонантом в качестве слогоносителя является контраст по уровню интенсивности и длительности между составляющими слога.

Набор акустических параметров, релевантных для различения немецких слоговых/неслоговых сонантов, зависит от действия дистрибутивного фактора, под влиянием которого не все параметры интенсивности оказываются одинаково важными при различении слоговых/неслоговых сонантов: параметры уровня интенсивности могут выступать либо в комплексе, либо избирательно. Параметр длительности также не всегда показателен, так как слоговой/неслоговой характер сонанта может быть реализован за счет одного или нескольких параметров уровня интенсивности.

Основными факторами, детерминирующими вариативность безударных слогов, являются позиция в слове и дистрибуция. Появление в динамике речи слоговых/неслоговых сонантов зависит как от фонетического контекста, так и от видов речевой деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бондарко Л В* 1977 – Звуковой строй современного русского языка. М., 1977.
Бухаров В М 1955 – Варианты норм произношения современного немецкого литературного языка. Нижний Новгород, 1995
Веренич Н И 1984 – Влияние темпа речи на модификации звуков (экспериментально-фонетическое исследование на материале современного немецкого языка). Автореф. дис канд. филол. наук. Минск, 1984.

- Гайдучик С М* 1976 – Квантитативные признаки немецких гласных // Экспериментальная фонетика. Сб. науч. тр. Минск, 1976.
- Лысенко Г Л* 1982 – Фонетическая вариативность слога в немецкой разговорной речи. Автореф. дис... канд. филол. наук. М., 1982.
- Новицкая Н Л* 1976 – О временных характеристиках спонтанной диалогической речи в сравнении с подготовленной речью (экспериментально-фонетическое исследование на материале современного немецкого языка) // Экспериментальная фонетика. Сб. науч. тр. Минск, 1976.
- Истренко А Д* 1986 – Тенденции развития немецкого произношения в студенческой среде ГДР. Автореф. дис. ... канд. филол. наук Киев, 1986.
- Онжанов Н Б* 2001 – Реализация слога в слабой позиции в двух видах речевой деятельности: чтении и говорении (на материале немецкого языка). Автореф. дис.... канд. филол. наук. М., 2001.
- Повайтитис Г-А* 1986 – Редукция гласных в слабых формах современного немецкого языка (экспериментально-фонетическое исследование). Автореф. дис.... канд. филол. наук. Минск, 1986.
- Потапов В В* 1996 – Речевой ритм в диахронии и синхронии. М., 1996.
- Потапов В В* 1999 – К динамике становления вербального ритма // ВЯ. 1999. № 2.
- Потапов В В* 2001 – Динамика и статика речевого ритма. Köln; Weimar; Wien, 2001.
- Потапова Р К* 1965 – Изменение основных физических характеристик стыковых гласных и согласных в немецком языке // Интонация и звуковой состав. М., 1965.
- Потапова Р К* 1977 – К типологии временной организации речи в германских языках // ВЯ. 1977. № 1.
- Потапова Р К* 1981 – Сегментно-структурная организация речи: Автореф. дис.... докт. филол. наук. Л., 1981.
- Потапова Р К* 1986 – Слоговая фонетика германских языков. М., 1986.
- Потапова Р К* 1995 – Теоретические и прикладные аспекты речевой сегментологии // Проблемы фонетики II. М., 1995.
- Потапова Р К* 1999 – Речеведение в Германии: возникновение, развитие, вклад в фонетические науки // Реферативный журнал. Социальные и гуманитарные науки. Сер. VI № 4. 1999.
- Потапова Р К* 2000 – Некоторые аспекты немецкой произносительной вариантологии // Язык: теория, история, типология. М., 2000.
- Потапова Р К* 2001 – Речь: коммуникация, информация, кибернетика. 2-е доп. изд. М., 2001.
- Потапова Р К, Линднер Г* 1991 – Особенности немецкого произношения. М., 1991.
- Потапова Р К, Потапов В В* 2000 – Фонетика и фонология на стыке веков: идеи, проблемы, решения // ВЯ. 2000. № 4.
- Потапова Р К, Потапов В В* 2001 – Проблемы ритма немецкой звучащей речи // ВЯ 2001. № 6.
- Прокопова Л И* 1973 – Структура слога в немецком языке. Киев, 1973.
- Реформатский А А* 1996 – Введение в языковедение. М., 1996.
- Родионов В Г* 1967 – Об акцентной структуре сложных усилительных прилагательных современного немецкого языка // Вопросы теории немецкого и французского языков. Вып. 2. Иркутск, 1967.
- Родионов В Г* 1972 – Акцентная структура некоторых типов сложных прилагательных в современном немецком языке (к проблеме слова). Автореф. дис.... канд. филол. наук. Л., 1972.
- Рудак Г И* 1988 – Акцентирующие частицы в современном немецком языке (экспериментально-фонетическое исследование). Автореф. дис.... канд. филол. наук. Минск, 1988.
- Сарсембаева Н А* 1989 – Фонетическая природа предупредительного вокализма в современном немецком языке. Автореф. дис.... канд. филол. наук. М., 1989.
- Стериополо Е И* 1979 – Редукция ключевых гласных немецкого языка (экспериментально-фонетическое исследование). Автореф. дис.... канд. филол. наук. Киев, 1979.
- Успенский В Л* 1984 – Количественные и структурные модификации вокалических и консонантных сегментов немецкого языка в речевом потоке Автореф. дис.... канд. филол. наук. М., 1984
- Kohler K J* 1977 – Grundlagen der Germanistik: Einführung in die Phonetik des Deutschen. Berlin, 1977

- Krech E -M* 1968 – Sprechwissenschaftlich-phonetische Untersuchungen zum Gebrauch des Glottisschlageinsatzes in der allgemeinen deutschen Aussprache Basel, New York, 1968
- Krech E -M* 1987 – Probleme der Kodifizierung deutscher Standardaussprache // Festschrift für Hans-Heinrich Wangler / Hrsg von R Weiss Hamburg, 1987
- Krech E -M* 1996a – Aussprachekodifizierung und Korpus-Problematik // Logon Didona – Gespräch und Verantwortung / Hrsg von H Barthel München, 1996
- Krech E -M* 1996b – Die hallesche Forschung zur deutschen Standardaussprache // Beiträge zur deutschen Standard aussprache / Hrsg von E -M Krech, E Stock Halle, 1996
- Krech E -M* 1996c – 90 Jahre Sprechwissenschaft/Sprecherziehung an der Universität Halle // Scientia Hallensis № 1 1996
- Krech E -M* 1999 – Sprechwissenschaft an der Universität Halle – Entwicklung und Perspektiven // Hallesche Schriften zur Sprechwissenschaft und Phonetik Sprechwissenschaft – zu Geschichte und Gegenwart Bd 3 Frankfurt-am-Main 1999
- Potapowa R K* 1994 – Das Aussprachewörterbuch der deutschen Sprache Moskau, 1994
- Potapowa R K* 1995 – Phonetische Besonderheiten der segmentalen Sprechseinheiten des Deutschen (in bezug auf Vergleichsanalyse der Dauerwerte für deutsche lange und kurze Vokale im Redekontinuum) // Horgeschädigten Padagogik Bd 36 Heidelberg, 1995
- Potapowa R K* 1996 – Aussprachewörterbuch des Deutschen // Hallesche Schriften zur Sprechwissenschaft und Phonetik Hanau (Halle) 1996
- Rues B* 2001 – Noch einmal *R* // Gesprochene Sprache – transdisziplinär 20 Festschrift zum 65 Geburtstag von Gottfried Meinhold / Hrsg von M Braunlich, B Neuber, B Rues Frankfurt-am-Main, Berlin, 2001
- Siebs Th* 1969 – Deutsche Aussprache / Hrsg von H de Boer und P Diels Berlin, 1969
- Sievers E* 1901 – Grundzüge der Phonetik Leipzig, 1901
- Stock E* 2001 – Probleme neuer deutschsprachlicher Aussprachekodizes // Gesprochene Sprache – transdisziplinär Frankfurt-am-Main, 2001
- Stock E , Hirschfeld U* 2001 – Phonotheek interaktiv Das Phonetikprogramm für Deutsch als Fremdsprache Berlin, München, 2001

© 2002 г. М.И. ИСАЕВ

ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СССР И НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Чтобы понять сущность происходящих процессов, необходимо сначала разобраться в причинах их появления, в их истории. В этом плане несомненно, что большинство современных этнолингвистических проблем на постсоветском пространстве предстают как следствие языкового развития за годы Советской власти, которое само явилось плодом осуществляемой в стране соответствующей национальной политики.

Существует большое количество оценок национальной и национально-языковой политики, проводившейся в Советском Союзе. Некоторые ученые склонны оценивать ее исключительно положительно, как это было в саму социалистическую эпоху. В противоположность этому другие авторы перечеркивают положительное во всем советском опыте. Подобный подход был характерен для многих публикаций в период развала страны. В настоящее время, однако, нигилистическая эйфория проходит, что дает возможность объективной оценки различным этапам языкового развития в СССР.

Богатую событиями историю языкового планирования в нашей стране обычно делят на три периода, характеризующиеся деятельностью ученых по развитию письменностей в определенном направлении:

- а) по усовершенствованию старых алфавитов,
- б) по переводу абсолютного большинства письменностей на латиницу,
- в) по переводу почти всех письменностей на кириллицу (русскую графическую базу).

Однако более глубокое изучение вопроса позволяет уточнить эту периодизацию и выделить по крайней мере шесть основных этапов, каждый из которых обладает определенными специфическими чертами и хронологическими рамками.

Первый этап языкового планирования охватывает несколько послереволюционных лет, а содержание его заключалось в деятельности специалистов по совершенствованию существовавших письменностей, страдавших определенными недостатками.

Из 130 народов страны лишь два десятка имели более или менее строго организованную письменность. Своей "национальной" графикой пользовались лишь русские, украинцы, грузины и армяне. Около полутора десятков мусульманских народов в разной мере использовали арабскую графику (среди них такие довольно многочисленные, как узбеки, татары, казахи, азербайджанцы, таджики). Арабская графика в ту пору полностью устраивала мусульманское духовенство, преследовавшее в основном религиозные цели. С другой стороны, недостатки этого письма не были особенно заметны, когда люди писали от руки. Однако с началом интенсивного развития книгопечатания и массового обучения грамоте недостатки древней графики резко выявились и стали тормозом в распространении грамотности и просвещения. Следует заметить, что на недостатки арабской графики обращали внимание многие прогрессивные деятели самого востока. Так, выдающийся азербайджанский ученый, писатель и мыслитель Мирза Фатали Ахундов (1812–1878) яростно критиковал руководителей мусульманских народов, которые "согласны с необходимостью провести всякую другую реформу, но не хотят реформировать алфавит, тогда как он является

основой всех этих реформ" [КПВ 1931: 22]. Ученый сам составил несколько проектов усовершенствованного письма (хотя бы применительно к тюркским народам). Среди его проектов были и такие, в которых в качестве базы брались латиница и кириллица. Как часто это случается, голос ученого в свое время не был услышан и лишь десятилетия спустя идеей Ахундова воспользовались в Турции, затем и в Азербайджане.

Сторонником реформы арабской графики выступил и известный персидский политический деятель и литератор Мирза Малькомхан (1833–1908), который столь же яростно старался провести в жизнь идею Ахундова. Среди других критиков арабской графики значится также Ф. Энгельс, который, как известно, активно занимался национально-языковыми проблемами.

Лозунги партии и правительства советского многонационального государства, призывавшие к ликвидации в стране безграмотности, побудили ученых-лингвистов вплотную заняться вопросами письменности – основой образования и просвещения. За сравнительно короткий срок (3–4 года) были усовершенствованы почти все существовавшие письменности. В частности, были внесены определенные поправки в систему арабизированной письменности, которой пользовались в целом ряде мусульманских народов страны. Характерно, что в разгар обсуждения проблем письменности и в русскую орфографию были внесены определенные изменения в несколько этапов. Так, основные поправки были утверждены законодательным актом Советского правительства от 23 декабря 1917 года. Целью реформы была демократизация графики русского языка, упорядочение и упрощение правописания, что имело большое значение в период развертывания борьбы за ликвидацию неграмотности трудящихся масс страны.

Второй этап языкового планирования в СССР связан с исключительно сложной деятельностью ученых и властей по переводу графических основ нескольких десятков письменностей на латиницу (20–30 гг.). Это было вызвано объективно тем, что несмотря на известное усовершенствование, многочисленные письменности на арабской (как и на древнейгурско-монгольской) графике еще оставались сложными и в известной мере препятствовали успешному развитию работы по ликвидации безграмотности населения. На данном этапе языкового планирования деятелям культуры и просвещения огромную помощь оказали такие ученые-лингвисты, как Н.Ф. Яковлев, А.А. Реформатский, Е.Д. Поливанов, С.Е. Малов, Н.К. Дмитриев, А.К. Боровков, К.К. Юдахин, Д.В. Бубрих, В.И. Лыткин, В.И. Абаев, Н.Я. Марр и др. Они в сравнительно короткий срок разрешили множество теоретических и прикладных вопросов, без чего невозможно было реформирование старых и создание новых письменностей. Так, на базе достигнутых успехов теоретического языкознания необходимо было разработать научно обоснованный алфавит для массового практического применения. Среди ученых по этой проблеме существовали расхождения по ряду принципиальных вопросов. Одни, например, считали, что алфавит должен быть фонетическим, т.е. должен отражать все без исключения звуки языка. Другие, наоборот, настаивали на его фонемном характере, когда в алфавите существуют обозначения лишь для фонем (основных смыслоразличительных звуков).

Отдельными учеными выдвигались различные теоретические положения. Так, Н.Ф. Яковлев предложил "математическую формулу" построения алфавита, существо которой сводилось к максимальной экономии буквенных знаков. Это подходило особенно к языкам с большим количеством согласных фонем, каковыми являются в своем большинстве языки кавказских народов. Подобный подход к графике отстаивал и А.А. Реформатский, который считал, что "любой графический знак дан в отношении восприятия в ряде графических признаков..." [ПР 1933: 48]. По мнению А.А. Реформатского, алфавит, если он рациональный, должен обладать не только индивидуальной, но и групповой, систематической дифференциальностью знаков. Языковеды полагали, что алфавиты должны целостно и органически отражать структуру языка, и в первую очередь его фонемный состав, избегая одновременно

лишних знаков. К создаваемым письменностям свои претензии предъявляли также педагоги и психологи.

Своего теоретического и чисто практического решения требовали некоторые другие вопросы, среди которых особняком стоит необходимость определения диалектной базы будущих литературных языков. Дело в том, что слоговое арабское письмо несколько скрывало диалектное членение языка. Но фонематическая письменность нуждается в точном определении не только количества, но и качества фонем. А это можно сделать лишь на основе определения базового диалекта (а порой и говора) для национального литературного языка. Следует отметить, что работа ученых над проблемами письменностей продолжалась на протяжении десятилетия и проходила параллельно с практической деятельностью по созданию новых алфавитов для многочисленных языков.

Что касается конкретных шагов, то тут пионерами оказались прогрессивные представители азербайджанской интеллигенции (по-видимому, их, кроме всего прочего, вдохновляла соответствующая деятельность уже упомянутого ученого и писателя М.Ф. Ахундова и тот факт, что близкородственные турки уже латинизировали свою письменность). Здесь в 1922 г. была создана специальная "комиссия латинистов" во главе с авторитетным политическим и культурным деятелем С. Агамали-Оглы, которая представила азербайджанскому правительству проект латинизированного алфавита. После тщательного обсуждения проект был одобрен.

Пример азербайджанцев воодушевил другие народы и движение латинистов (вдохновляемое и, конечно же, поддерживаемое партийным и государственным руководством страны) получило свое широкое распространение. Так, в 1925 г. на второй конференции по просвещению горских народов Северного Кавказа было принято решение о латинизации письменности ингушей, кабардинцев, карачаевцев, адыгейцев, чеченцев. В следующем, 1926 г. в Баку состоялся Всесоюзный тюркологический съезд, посвященный проблемам латинизации письменностей тюркоязычных народов. В работе съезда участвовали также представители горских кавказских народов. На съезде был создан Центральный комитет нового тюркского алфавита под руководством председателя ЦИК Азербайджана С. Агамали-Оглы. Комитет проделал очень сложную и важную работу по латинизации алфавитов, а также по созданию новой письменности на основе латинской графики и для некоторых малочисленных народов. В результате в конце 20-х – начале 30-х гг. латинизированный алфавит был принят в Азербайджане и во всех республиках Средней Азии, а также в ряде автономных республик и областей.

В оценке **второго этапа** языкового планирования в СССР преобладают положительные мнения. Абсолютное большинство историков, культурологов и лингвистов, сходятся на том, что это стало одним из самых значительных предприятий с точки зрения поднятия культурного и образовательного уровня многочисленных ранее отсталых народов страны. Благодаря выработке современных письменностей для них открылась возможность небывало быстрой ликвидации неграмотности народных масс, развитие народного образования, подготовки национальных кадров, необходимых для совершения культурной революции.

Понимая значение всего процесса латинизации, отдельные авторы делают упор на "жесткие, тоталитарные методы", которыми проводилась реформа письменностей. Тут трудно возразить. Но следует иметь в виду, что в ту эпоху всем мероприятиям давалась "классовая оценка" и, соответственно, пресекалось всякое сопротивление "генеральной линии партии и правительства". Правы и те, которые отмечают желание властей, заменяя арабскую графику латиницей, "подрубить корни исламу" у мусульманских народов. К этим отрицательным моментам можно добавить еще и то, что едва ли стоило менять письменности у тех народов, которые уже пользовались не арабской графикой, а кириллицей (осетины, чуваша, марийцы, мордва) [Исаев 1979: 236].

Успех столь грандиозного мероприятия можно объяснить многими факторами,

среди которых следует выделить три. Во-первых, это объективная историческая необходимость его свершения. Во-вторых, активное участие в его проведении ученых-специалистов, деятельность которых поощрялась и поддерживалась властями на всех уровнях, начиная с общесоветских и до республиканских, областных и районных. Наконец, в-третьих, это престиж латиницы, которая многими считалась в то время "письменностью мировой пролетарской революции", "мирового коммунизма".

Как самостоятельный, **третий этап** языкового планирования в СССР можно выделить деятельность ученых-специалистов по созданию письменности для ранее бесписьменных народов. Хронологически он совпадает со вторым этапом (20–30-е годы), а по содержанию они расходятся. Деятельность ученых в этот период была сосредоточена вокруг проблем определения так называемого опорного диалекта, установления фонологических систем письменного языка и проч.

После того, как переход подавляющего большинства письменностей на латинскую графику свершился, Центральный комитет нового тюркского алфавита, деятельность которого давно вышла за национальные рамки Азербайджана, был реорганизован во Всесоюзный центральный комитет нового алфавита при ЦИК СССР (ВЦКНА). Это произошло в 1930 г. ВЦКНА являлся научно-организационным центром по решению общих и теоретических вопросов, связанных с разработкой новых алфавитов и развитием новых письменных и литературных языков. Хотя аппарат Комитета был весьма ограничен (всего 29 человек), работа в четырех его комитетах (кавказском, тюркско-татарском, угро-финском и технологическом) происходила исключительно интенсивно. Комитет в своей деятельности опирался на довольно густую сеть местных комитетов (количеством 35). Особая забота была проявлена о языках малочисленных народов Севера, о чем следует сказать несколько подробнее.

В научной литературе такие языки еще называют "языками народов Крайнего Севера и Дальнего Востока". Под этим названием обычно объединяют 26 малочисленных "коренных" народностей, разбросанных на огромных пространствах Сибири и Дальнего Востока. Несмотря на их сравнительную малочисленность (от нескольких сот до нескольких десятков тысяч), они занимают больше половины (а именно, 64%) всей территории Российской Федерации.

Ученые давно обратили внимание и заинтересовались языками северных народностей. Первые публикации списков слов отдельных языков народов Севера появляются в конце XVII – начале XVIII в. Что касается первой попытки генетической классификации этих языков, то она принадлежит перу шведского ученого О.И. Страленберга и была осуществлена в конце первой трети XVIII в.

С основанием Российской академии наук (РАН) интерес к народностям Севера приобретает широкий и систематический характер. Пионером в этом деле считается крупнейший русский ученый первой половины XVIII в. В.Т. Татищев, под руководством которого были составлены списки слов и сравнительные словари по языкам и диалектам обско-угорской, самодийской, тунгусо-манчжурской и палеоазиатской лингвистических групп.

О большом научном интересе к языкам народов Севера и Сибири свидетельствует и такой факт. Как известно, в 1787–1789 гг. вышли из печати первые два тома знаменитого компендиума "Сравнительный словарь всех языков и наречий", включающий лексический материал около двухсот языков и наречий, *ч е т в е р т у ю* часть которых составляли языки и диалекты народностей Севера и Сибири. Лексический материал этих языков ученых привлекал с точки зрения предпринимавшихся в то время интенсивных поисков оптимальных классификаций народов и языков по их генетическим характеристикам. Позднее, с первой четверти XIX в. к этому добавляется другая цель. Христианские миссионеры для распространения своей религии среди народностей Севера нуждались в знании их языков, на которых желательно было создать основы письменности. Так, в 1846 г. Академия наук издает "Опыт грамматики алеутско-лисьевского языка", составленный миссионером И.Е. Вениаминовым. Несколько менее успешно проходила деятельность некоторых других рели-

гиозных деятелей по созданию учебников ряда других языков. Причина заключалась в малоизученности самих языков и отсутствии филологического образования у большинства миссионеров.

В конце XIX – начале XX в. большая и сложная работа по изучению языков северных народов была проведена группой народовольцев, сосланных на Дальний Восток. В.И. Иохельсон изучал корякский, юкагирский и алеутский языки, В.Г. Богораз-Тан – чукотский, ительменский и ламурский, А.Я. Штернберг – гиляцкий, аинский и отчасти гольдский. Они же составили первые – ценные по фактическому материалу – словари и грамматики этих языков.

В советское время началось глубокое изучение истории, этнографии и языков малых народностей Сибири и Севера. При этом учеными руководил не чисто теоретический интерес к "диким" народам, а сознание необходимости возрождения этих народов, поднятия их на социальную и культурную революцию. Без подготовки соответствующих кадров из среды малых народностей нельзя было вплотную приступить к культурному строительству на Севере. Так, в 1925 г. при рабфаке Ленинградского университета была открыта северная группа и набраны первые 20 студентов – представителей народностей Севера. Их обучали грамоте на родном языке и давали им обычное общее образование. По инициативе А.Я. Штернберга и В.Г. Богораз-Тана на северном факультете Ленинградского института востоковедения в 1926 г. началось преподавание национальных языков среди обучавшихся там студентов-"северян". Первым начал преподаваться эвенкийский язык, для которого был разработан алфавит на латинской основе, а к 1930 г. и другие основные языки. Еще до этого студенты географического факультета Ленинградского университета ездили в качестве учителей и секретарей сельсоветов в северные районы для изучения местных языков. В 1930 г. работа приняла организованный характер, был создан Институт народов Севера (ИНС) и Научно-исследовательская ассоциация при нем. Создание ИНС знаменует собой новый этап в изучении Севера, его народов и их языков. Ближайшей практической задачей института становится создание письменности на языках народов Севера. В 1930 г. открывается северное отделение при Ленинградском педагогическом институте им. А.И. Герцена, сыгравшее выдающуюся роль в подготовке национальных кадров для народов Севера. В процессе учебной и научно-исследовательской работы был создан единый северный алфавит (ЕСА), который был принят в 1929 г. на заседании Комиссии национальных языков и культур малых народностей Севера (при Северном факультете).

Создателями письменности для северных народов зачастую выступали сами учителя, работавшие на далеком Севере. В 1928 г. в Хабаровске был издан букварь нанайского языка ("Первая грамота"), составленный Н.А. Липской-Вальронд. В 1930 г. в Аркинской школе Охотско-Эвенского национального округа учителями составлен эвенкий (ламутский) словарь на русской графической основе В.И., а в Ногаеве краевед Левин в 1931 г. составил букварь на латинском шрифте и размножил его в 200 экз. В течение двух лет школы Корякского национального округа вели занятия по этим букварям. Тогда же группа учителей корякской культбазы составила корякский букварь. Работа по созданию письменности для народов Севера натолкнулась на противодействие отдельных работников, которые предлагали, например, в Архангельской губернии и на Урале просто усилить изучение русского языка, а специальной письменности для Севера вообще не создавать, ссылаясь на отсталость и малочисленность его народов. Такие взгляды после глубокого изучения не были поддержаны Комитетом Севера.

Научно-исследовательская ассоциация при ИНС привлекала к работе лингвистов, этнографов и студентов. К концу 1930 г. она разработала и представила в ВЦК НА проект "Единого северного алфавита" на основе латинской графики, который был 23 февраля 1931 г. утвержден. В январе 1932 г. была созвана I Всероссийская конференция по развитию языков и письменности народов Севера.

В работе конференции принимали участие представители Наркомпроса РСФСР, Комитета Севера при Президиуме ВЦИК, ВЦК НА и ЦК НА РСФСР, Института народов Севера, Академии наук, Научно-исследовательского института языкознания, Ассоциации по изучению национальных и колониальных проблем, Ленинградского пединститута им. А.И. Герцена, Историко-лингвистического института, Нацсектора Учпедгиза, ленинградских отделений Партиздата и Учпедгиза, и делегаты с мест – с Дальнего Востока, из нацокругов Эвенкийского, Остяко-Вогульского, Ямальского и Ненецкого, из Мурманского округа. На пленарных заседаниях было прослушано восемь докладов, которые подверглись широкому обсуждению. В принятой по докладу резолюции конференция прежде всего высказалась за коренизацию аппарата, школы и прессы в национальных округах, районах и сельсоветах, а в отношении случаев утраты населением национальных языков постановила: "1) в тех случаях, когда национальный язык не полностью утрачен, коренизация должна проводиться на языке этого народа; 2) в тех случаях, когда национальный язык утрачен полностью, коренизация должна проводиться на языке ассимилировавшей данную народность национальности".

Далее в резолюции сказано: "Утвердить разработанный Научно-исследовательской ассоциацией (ИНС) проект создания следующих 14 национально-литературных языков: 1) саамского (лопарского), 2) ненецкого (юракского), 3) маньсийского (вогульского), 4) хантыйского (остяцкого), 5) селькупского (остяко-самоедского), 6) кетского (енисейско-остяцкого), 7) эвенкийского (тунгусского), 8) эвенского (ламутского), 9) нанайского (гольдского), 10) удэгейского, 11) луветланского (чукотского), 12) нымылландского (корякского), 13) нивухского (гилякского), 14) юпикского (эскимосского)". В дополнение к сказанному конференция признавала необходимым "создание ительменского и алеутского национально-литературных языков". Кроме того, сочтено было "возможным обслуживание племенных диалектов: 1) негидальского – эвенкийским национально-литературным языком, 2) орочского – удэгейским национально-литературным языком, 3) ульчского – гольдским национально-литературным языком" [РП 1932: 7–12]. В качестве вопросов, подлежавших обстоятельному изучению, были определены: 1) изучение и создание тавгийского и юкагирского национально-литературных языков, 2) возможность обслуживать маду (енисейских самоедов) ненецким национально-литературным языком и карагасов – тувинским национально-литературным языком.

Новый вариант алфавита народов Севера, утвержденный на конференции, отражал результаты значительной доработки. Так, упрощены были некоторые диакритические знаки, служившие для обозначения шипящих звуков. Кроме того, специальными знаками начали обозначать палатализацию согласных и долготу гласных. На конференции обсуждался вопрос о принципах построения учебника для народов Севера. Были отмечены существующие недостатки и указаны пути их ликвидации. Был также установлен конкретный набор учебников для северных школ и утвержден издательский план на 1932 г., согласно которому Северная секция Ленинградского отделения Учпедгиза должна была издать на 16 национальных языках 49 изданий и на русском языке 30 изданий. Кроме того, было намечено выпустить 8 названий научно-исследовательских трудов по северным языкам.

Развитие письменности на северных языках ставило все новые и новые вопросы, над решением которых трудились многие российские ученые. Очередное совещание представителей комитетов нового алфавита народов Севера совместно с Наркомпросом РСФСР и Комитетом Севера при Президиуме ВЦИК по вопросам развития письменности на языках народов Севера проходило в 1934 г. в Москве. На нем были подытожены результаты проделанной работы. В частности была отмечена исключительно важная роль, которую сыграла письменность народов Севера в культурном строительстве края – в ликвидации неграмотности и развитии народного образования. Изучив накопленный опыт и учитывая запросы с мест, участники конференции пришли к выводу о необходимости введения некоторых уточнений в сроках коренизации.

В частности, было признано целесообразным и важным во второй пятилетке обеспечить коренизацию I и II классов. Вместе с тем в школах ительменов и кетов, чьи дети в основной массе владеют русским языком, преподавание с I класса начальной школы решено было проводить на русском языке. Было сочтено целесообразным в других школах преподавание русского языка ввести со второго года обучения, с тем, чтобы начиная с III класса обеспечить преподавание всех предметов на русском языке. Родной язык при этом сохранялся как предмет преподавания.

При создании письменностей для народов Севера перед учеными и работниками просвещения возникло множество трудностей. Однако несмотря на это, учеными-североведами была проделана огромная работа, были достигнуты большие успехи. Создание письменности на 11 языках, разработка школьных и вузовских пособий по языкам Севера, налаживание школьного и вузовского обучения на этих языках, несомненно, явилось делом большой культурно-политической важности.

К сожалению, результаты проведенной российскими учеными огромной научно-исследовательской и организаторской работы во многом оказались напрасными, так как языки народов Севера не получили сколько-нибудь большого развития. Причины этого – двоякого характера, объективного и субъективного. К объективным можно отнести малочисленность каждой народности, ее разбросанность на большой территории и наличие в языке множества диалектов. Все это, разумеется, не способствует становлению и закреплению созданных литературных языков. Еще более существенными представляются субъективные причины, ставшие на пути развития полноценных литературных языков народов Севера и Сибири. К ним необходимо отнести произошедший в конце 30-х гг. перевод графической основы алфавитов северных народов с латинской на кириллицу. Благодаря этому письменности, едва укрепившись, по существу были разрушены. Более того, некоторые народности (ительмены, саами, удэгейцы, шорцы) в процессе этой "перестройки" вовсе утратили свои письменности. Другую причину, тормозившую развитие национальных языков и культур северных народностей, можно назвать "социально-экономической". Дело в том, что развернув в 60–70 гг. фронтальное освоение Севера и Сибири, власти и хозяйственники не приняли во внимание хрупкость и ранимость среды обитания малочисленных народов. В процессе строительства промышленных предприятий наносится урон оленьим пастбищам и нерестилищам рыб. В то же время именно оленеводство и рыболовство составляли основу хозяйственной жизни и быта малых народностей. В особенности 50–80-е годы сыграли драматическую роль в жизни малых народов Севера. Именно в эти годы они потеряли основную часть своих стойбищ и вынуждены были изменить традиционный образ жизни, так как переместились в промышленные города и порты. Развитием индустрии Севера и Сибири, включением в него аборигенных народов был нанесен непоправимый урон традиционной культуре, включая родные языки таких народностей, как эскимосы и нивхи, саами и селькупы, ханты и манси, эвенки и ульчи, нанайцы, эвены, коряки и другие.

В этой непростой ситуации интеллигенция справедливо ставит вопрос о необходимости срочного принятия ряда мер, могущих остановить дальнейшее осложнение социальной обстановки у народов Севера и Сибири, возрождения их национальных культур и родных языков. В частности, ставится проблема дальнейшего развития имеющихся письменностей и создания их для бесписьменных народностей. Стоит также вопрос о переходе начальной школы на национальный язык обучения.

Пожалуй, наибольшие расхождения во мнениях ученых наблюдаются при оценке **четвертого этапа** языкового строительства в СССР, содержание которого связано с переводом в 30-е годы письменностей большинства народов страны на кириллицу (русскую графическую базу). В связи с этим следует на данном вопросе остановиться несколько подробнее, отделив объективное составляющее от субъективного.

Прежде всего следует заметить, что история использования кириллицы народами нашей страны простирается на целое тысячелетие. Первый период распространения кирилловского письма наблюдается в раннее средневековье и связан с принятием на

Руси христианства. Второй период начинается с XVII в. и длится несколько столетий, в течение которых стараниями православных миссионеров кирилловское письмо прививалось ряду российских народов. Так, история использования кириллицы у чувашей начинается с 1769 г., когда публикуются "Сочинения, принадлежащие к грамматике чувашского языка", в которых использован кириллический алфавит архиеерея Вениамина Пуцека-Григоровича. С тех пор алфавит у чувашей совершенствовался неоднократно, но своей графической базы не менял ни разу. Кирилловская письменность у мордвы существует с последней четверти XVIII в. и по сей день. Она также неоднократно совершенствовалась, но в своей основе оставалась кириллической.

Несколько более древними являются памятники письма у марийцев (вторая половина XVIII в.), но до сих пор основой его остается кириллица. Характерно, что все существовавшие письменности на кириллице функционировали у православных народов.

В начале 30-х годов общественность СССР начинали готовить к переходу на кириллицу письменностей, которые лишь десятилетие (а некоторые и меньше) функционировали на латинской графике. Объяснение было примерно такое: латинская графика сделала свое благое дело, т.к. на ее базе ликвидирована безграмотность широких народных масс, а теперь она становится тормозом на пути сближения языков народов СССР с русским языком. На вопрос "Почему же сразу нельзя было перейти на кириллицу?" отвечали, что в 20-е годы народ был неграмотный, а наши недруги могли бы такой шаг истолковать как рецидив русификаторской политики царизма. Если же рассуждать с высоты нашего времени и неполитизированно, то можно провести следующий анализ происходившего. В 20-е годы, как известно, существовали иллюзии, что вслед за Россией и по ее примеру революция прокатится по Европе, затем и по Азии. Что касается латинской графики, то она воспринималась как "основа письменности мировой социалистической революции". (Не даром существовал и проект перевода русской письменности также на латинскую графику.) В 30-е годы руководителям партии и правительства стало ясно, что "мировая революция запаздывает". Курс был взят на "построение коммунизма в отдельно взятой стране". Как следствие – изменилась и национально-языковая политика. Курс был взят на "максимальное сплочение всех народов СССР вокруг русской нации". Значит, и графика должна быть единой. Однако армяне и грузины сохранили свои древние графики, остальные в течение нескольких лет русифицировали свои письменности. Чтобы понять отличительные особенности двух "лингвистических потрясений" (латинизации и переход на русскую графику) следует еще вспомнить, что и эпохи отличались, т.к. к 30-м гг. тоталитарные методы правления государством и обществом уже окрепли и стали нормой в СССР.

Следует еще отметить и то обстоятельство, что в отличие от латинизации письменностей, которая тщательно готовилась учеными, переход на русскую графику совершился властями. Как бы по сигналу из "центра", республиканские руководители спешно провозглашали русифицированный алфавит "основой письменностей всех братских народов СССР" и без должной предварительной подготовки издавали соответствующие законодательные акты. Во второй половине 30-х гг. начался повальный процесс перехода республик и автономных областей на русскую графическую базу. В 1936 г. первыми перешли на русскую письменность кабардинцы, затем близкородственные к ним адыгейцы, вслед за которыми народы Средней Азии, Поволжья, Дагестана, Азербайджана. Произошедший во второй половине 30-х гг. переход на русскую графическую базу породил множество новых проблем развития литературных языков. Их решением занимались ученые-филологи в центре и на местах, деятельность которых на протяжении около сорока лет (включая военные и послевоенные годы) составляет особый, **пятый этап (1940–1979)**. Его характеризуют поиски путей дальнейшего усовершенствования алфавитов и орфографий, усиление работы по составлению новой многоотраслевой терминологии, разработка вопросов

культуры родного языка, а также русской речи у нерусского населения и национальных республик и областей.

Как известно, в годы Советской власти происходили определенные процессы сближения народов страны не только в материальной, но и в духовной сферах жизни. Это, разумеется, процесс объективный, в особенности в рамках любого многонационального государства. Другое дело, что эти процессы руководством страны подталкивались, им придавалось неестественное ускорение. Очевидно, что процессы развития и сближения наций не могут не влиять на языковое развитие. Более того, лишь на их фоне, с учетом их специфики можно достаточно глубоко раскрыть многие явления, происходившие в многочисленных языках народов СССР. От характера взаимоотношений самих народов зависит и характер взаимодействия их языков.

Национальные отношения складываются из разнородных компонентов, представляющих собой экономические, социальные, идеологические и психологические явления. Каждый структурный элемент системы национальных отношений по-своему включается в общий процесс взаимовлияния и взаимообогащения наций. В производственной жизни, в материальной культуре этот процесс развивается быстрее, в духовной, в особенности в языковой, – медленнее.

Язык, будучи всесторонне связанным с жизнью нации (народности), имеет свою специфику и относительную самостоятельность в своем развитии и взаимодействии с другими языками. Несомненно, большую роль играет степень структурной в генетической близости взаимодействующих языков. Однако на взаимодействие языков общественные условия оказывают несравненно большее влияние, чем фактор сходства и различия языков. Что касается интенсивности процессов взаимодействия, то она всецело зависит от интенсивности процессов обмена материальными и культурными ценностями между народами, от степени интернационализации различных сторон жизни наций и народностей. Только в этом социологическом плане можно понять сущность и характер таких сложных явлений, как взаимодействие и взаимообогащение языков. Под взаимодействием языков обычно понимают все возможные разновидности взаимовлияния, взаимопроникновения двух и более языков и диалектов, заимствования каким-нибудь одним языком различных языковых фактов из других языков, а также результаты контактирования языков в разные периоды. Содержание термина "взаимодействие языков" охватывает все языковые явления, обозначаемые обычно терминами "языковая смена", "смещение языков", "скрещивание языков", "суперстрат" и т.д. Все эти термины по своему содержанию уже, чем термин "взаимодействие языков". Еще в 1926 г. Л.В. Щерба отмечал: "Понятие смещение языков – одно из самых неясных в современной лингвистике, так что, возможно, его и не следует включать в число лингвистических понятий, как это сделал А. Мейе". Л.В. Щерба предлагал заменить этот термин термином "взаимное влияние языков" [Щерба 1958: 40]. Взаимное влияние языков имеет большое значение для их развития. Известно, какую высокую оценку выдающихся лингвистов прошлого получила эта проблема. Так, Г. Шухардт писал: "Среди всех тех проблем, которыми занимается в настоящее время языковедение, нет, пожалуй, ни одной столь важной, как проблема языкового смещения (имеется в виду взаимовлияние языков. – *М.И.*). Она должна быть подвергнута тщательному изучению прежде всего там, где имеются наиболее благоприятные условия как для наблюдения самого процесса смещения, так и для научного его изучения" [Шухардт 1950. 175]. В зависимости от конкретных исторических условий процессы взаимодействия языков могут проходить по-разному. Для примера возьмем отношения языков английского и нормано-французского в Англии в XI–XIV вв. После победы норманнов над англо-саксонской знатью (1066) норманны стали полновластными хозяевами в стране. Только в годы правления Вильгельма Завоевателя (1066–1087) в Англию, все население которой составило 1,5 млн. человек, переселилось свыше 200 тыс. человек [Тышлер 1964: 14 и сл.]. Долгие годы (около полутора веков) правящим классом в Англии были чужеземцы, пользовавшиеся французским языком, который считался государственным. Но и англичане

вынуждены были изучать нормано-французский, что привело к значительному двуязычию. Объективные конкретные условия привели к тому, что сами норманны, не добившись всеобщего распространения своего языка, вынуждены были учить язык поработенного народа. Это привело к встречному двуязычию. В результате многовековой борьбы все же победил язык коренных жителей страны. Однако это был уже язык, значительно видоизмененный под влиянием нормано-французского языка. В плане нашей темы большой интерес представляет вопрос об этапах проникновения французских слов в английский язык. Как отмечает И.С. Тышлер, в период господства норманнов французские слова проникали в английский язык очень медленно, в течение 100 лет после вторжения заимствовано незначительное количество слов. Однако во второй половине XIII и в течение XIV вв., когда старые обиды и несправедливости завоевателей стали забываться, а их язык стал вытесняться английским, в последний полился поток французских заимствований, продолжавшийся и в последующие столетия. В результате тесного взаимодействия английского с французским и другими языками он претерпел значительное влияние последних, что сказалось в особенности на лексике. Как известно, 60–70% словарного фонда английского языка составляют иноязычные заимствования.

Примерами взаимовлияния языков история изобилует. При этом, как было сказано, в прошлые эпохи взаимодействие языков происходит в обстановке насилия, завоеваний и порабощения одних народов другими. Вспомним хотя бы средневековый Восток с возвеличиванием арабов, распространением ислама, что привело к исключительно сильному воздействию их языка на десятки других. Например, в таких языках, как турецкий и персидский, арабские заимствования составляют до 70–80% специальной лексики этих языков. Исторические события привели к тому, что арабская лексика проникла в десятки языков народов, принявших ислам. Известны также факты взаимовлияния других языков Востока. Так, иранские языки оказали сильное воздействие на такие древнеписьменные языки, как армянский и грузинский. Результатом усиленных языковых контактов, в какую бы эпоху они ни происходили, как правило, было взаимообогащение, т.е. усвоение определенных лексических элементов, усиливавших выразительные возможности языков. Взаимообогащение – процесс двусторонний, т.е. это такой вид взаимодействия языков, при котором обогащаются все контактирующие языки. При этом объем вклада одного языка в другой (или другие) может быть неодинаковым. Языки с наибольшим общественным значением, более развитыми литературными традициями и разнообразной терминологией обычно вносят больший вклад в развитие других языков, чем получают от них сами. Типичным примером в этом отношении могут служить многие старописьменные языки национальных республик бывшего СССР, взаимодействующие с местными младописьменными, бесписьменными языками и диалектами. Скажем, такие языки с древними литературными традициями, как армянский, грузинский, таджикский, значительно обогатили лексику языков малочисленных соседских народов с более молодой письменностью (или вовсе не имеющих письменности на родном языке).

Другая особенность процесса взаимодействия заключается в его исторической определенности. Это значит, что характер взаимодействия двух (или нескольких) данных языков может с течением времени претерпевать определенные изменения. В зависимости от конкретных исторических условий сила воздействия одного языка на развитие другого зачастую резко меняется. Общеизвестно, например, что в нашу эпоху из русского языка и через него в другие языки России попадает гораздо большее количество слов, чем из них в русский. Однако в разные периоды своего развития и сам русский впитал немало лексических единиц из других языков. К сожалению, еще достаточно не изучены вопросы, связанные с обогащением русского языка в процессе взаимодействия с языками соседних народов – тюркских, иранских, кавказских, финно-угорских и др. Как показывают исследования, наиболее ранние языковые контакты славян происходили с иранскими, финскими (в первых веках нашей эры) и тюркскими племенами (в V–VII вв.). Специалисты выделяют несколько

периодов в истории обогащения русского языка, каждый из которых имеет свои специфические особенности.

1) I–VIII вв. (до образования Киевской Руси). Этот период характеризуется широким проникновением в язык восточных славян древнеиранских (ср., например, сармато-аланские заимствования: *див, рай, хворый*), финских (ср. старую топонимику и гидронимику: *Москва, Кама, Пермь, Урал* и проч.), адыгских и тюркских лексических элементов (ср. булгаро-хазарские заимствования в русском языке: *ковер, товар, валух, каган, бек* и проч.).

2) IX–XII вв. (Киевская Русь) характеризуются развитием русско-иранских (ср. *бадья, баштан, болван, булат, бумага, гиря, караван, корда, люлька, сарафан, сарпинка, сафьян, топор, чердак, шаровары, шатер, шах* и проч.), русско-финно-угорских (ср. *карбас, камбала, ляпка, палтус, пурга, сайда, салака, семга, сиг, сорога, таймень, тундра, хариус, нерпа, шуга* и проч.), русско-тюркских языковых связей (ср. печенего-половецкие заимствования в русском языке: *курган, ковш, кабан, очаг, башмак, чугун, чубук, чапран, кибитка, камыш* и др.).

3) XIII–XV вв. Это период монгольского нашествия, который ознаменован воздействием на русский язык языка Золотой Орды, через которую шли также заимствования из арабского, персидского, монгольского и более древних – из санскрита, китайского, тибетского и проч. (ср. золотоордынско-кипчакские заимствования: *ярлык, камча, башлык, балык, сарай* и др.).

4) XVI–XIX вв. Период присоединения к России народов бывшего Казанского, Астраханского, Сибирского, Крымского ханств, Средней Азии и Кавказа. Новые интенсивные контакты привели к новым заимствованиям (ср. кавказские заимствования: *сакля, абрек, бурка, лаваш, папаха, мацони; инжир, изюм, коран, мулла, дервиш, шаariat* и проч.).

5) Период после Октябрьской революции. К заимствованиям этого периода относятся, например, тюркские: *пиала, паранджа, кетмень, арык, чайхана, кишлак, аксакал, басмач, карагач* и проч.

Особенно значительное место занимают тюркские заимствования, которые проникли в русский язык в разные периоды из разных языков и диалектов. По своей тематике тюркские заимствования относятся к самым различным лексическим пластам русского языка. Ср., например:

а) явления природы и географические понятия: *буран, бархан, такыр, курган*;

б) растения: *карагач, тал, тут, саксаул, шафран, сабза, инжир, изюм, алыча, урюк, кунжут* и др.

в) животный мир: *архар, джейран, кишк, сайга, балык* и др.;

г) административно-социально-экономическая терминология: *меджлис, хан, эмир, есаул, мирза, аксакал, чайхана, караван-сарай, базир, майдан, мулла, муфтий, казий, коран, аллах, газават, дервиш, имам, ишан, гюр, мазар, шаariat, адат, шейх, халиф, гурия, пери, шайтан, джин, минарет, мечеть* и др.

д) поселения, дом и домашняя утварь: *кишлак, аул, очаг, сандал, мангал, кизяк, пиала, кумган, кетмень, арба, аркан, камча*;

е) одежда: *халат, тулуп, чалма, паранджа*;

ж) пища, напитки: *плов, кавардак, шурпа, катык, бешбармак, манты, кумыс, айран, какчай, арака, шербет, чилим*;

з) косметика: *хна, амбра, сурьма* и др.

В русском языке почти нет непосредственных заимствований из монгольских языков (если не считать диалектных инфильтраций в пограничных с Бурятией и Калмыкией районах). Об этом свидетельствует и фонетический облик имеющихся в русском монгольских корней, проникших через тюркские языки. Все эти слова выступали в тюркском звуковом оформлении (кыпчакский с уйгурским элементом), являвшегося в период монгольского нашествия на Русь официальным как устным, так

и письменным языком. Общие тюркско-монгольские корни имеют такие слова, как *каймак, карий, бугай, ясак, темляк, маклак, кочерга, курень, бунчу, буран, тесьма, очаг, кайма, кутерьма, буза, бурый* и др., выступающие, однако, в тюркском фонетическом облике. Это же можно сказать о явных собственно монгольских словах: *нукер "дружинник", мерин, ямицик*, вошедших в русский язык через тюркское посредство. Однако отдельные исследователи (например, Т.А. Бергатаев) выдвигают положение о непосредственном заимствовании ряда монгольских слов, например: *мерин, конь, кочерга, богатырь, караул, орда, тесьма, таран, капкан, есаул, ясак, ярлык, ямицик, тайга, конура, волдырь, Ирга* и др.

Влияние финно-угорских языков больше всего ощутили северно-русские диалекты, но и литературный язык воспринял определенное количество слов. Прежде всего это топонимы, например: *Москва, Кама, Волга, Пермь, Вологда, Рязань, Урал* и т.д. Финно-угорское происхождение имеют почти 50% названий рек и озер северной и средней частей России. В литературный язык вошло сравнительно небольшое число финно-угорских слов, например: *камбала, карабас, кулига, лох, палтус, пахтарь, пурга, сайда, салака, семга, сиг, сорога, таймень, тундра, хариус, нерпа, шуга, ясель* и др. Значительно большее количество заимствований финно-угорского происхождения в говорах и диалектах. Так, в "Этимологическом словаре русского языка" М. Фасмера их насчитывается 315 (включая слова западнофинского происхождения). Отдельные слова, разумеется, попали и в литературный язык (*тундра, пельмени* и др.).

В русском языке прочно осели молдавские слова, усвоенные в результате тесных взаимоотношений между восточнороманскими (молдавский и румынский) и славянскими народами. Эти слова в большинстве своем обозначают скотоводческие понятия: *брынза* – вид сыра из овечьего молока, *кошара* – овечьий загон, *муругий* (о животных) – рыже-бурой или черно-бурой масти, *пануша* – пачка, связка сухих листьев, *цигейка* – стриженный и обычно крашенный мех козы, куртка из такого меха, *арнаут* – ополченец войск гетеристов; добровольный ополченец, слуга, *гальбин* – старинная молдавская золотая монета, *каруца* – молдавская телега. Эти и другие молдавские заимствования широко использованы в произведениях Гоголя, Пушкина, Л. Толстого, Шолохова и др.

Несомненен и факт проникновения в русский язык лексических элементов близкородственных украинского и белорусского народов. Однако далеко не все случаи заимствования можно определить, так как генетическая и структурная близость не всегда позволяет отделить "свое" от "чужого". Тем не менее уже выявлены десятки таких заимствований, например, украинские: *вареники, бублики, черевички, хутор, хлопец, парубок, косовица* и мн. др. Украинскому обязан русский язык наличием образований типа *Одессина, Полтавщина* и др. В русском бытует также немало пословиц и поговорок, например: *Вкусные вареники у нас, да готовили, пане, не про вас. Без музыки, без дуды идут ноги не туды* и под.

Обогащение русского языка за счет других языков народов страны вопреки утверждениям некоторых языковедов, – не пройденный этап. Местные русские диалекты, как и прежде, испытывают влияние национальных языков соседних народов. Как показывают специальные исследования, заимствуемые слова чаще всего бывают связаны с топонимикой или предметами и специфическими понятиями данного народа. Как отмечает, например, Л.Е. Элиасов, из 12 тыс. взятых на учет в пределах Бурятской АССР и Читинской области мест, гор, рек, озер, проток, долин, урочищ, сел, приисков, охотничьих и сельскохозяйственных угодий, около 11 тыс. носят нерусские названия. Нерусские названия в Забайкалье составляют более 90% от общего числа зарегистрированных местных названий. Они, безусловно, даны бурятами и эвенками. Характерно, что местные русские не осознают уже иноязычное происхождение сотен заимствованных слов и выражений.

Существует ряд других аналогичных исследований местных русских диалектов. В них выявлены интересные закономерности, свидетельствующие о непрерывающихся процессах взаимодействия русских диалектов с местными языками. Усвоенные диалектами слова выступают как часть обычной диалектной лексики, являющейся резервуаром дальнейшего пополнения богатств литературного языка. В настоящее время можно считать общепринятым положение о том, что в результате проникновения заимствованных слов язык не только не теряет своей национальной самобытности, но и совершенствуется. Однако в прошлом существовали отдельные концепции, согласно которым считалось, что заимствованные слова лишали языки их национального колорита. Еще А.С. Пушкину приходилось давать отпор авторам подобных "установок". В 1825 г. в статье "О предисловии г-на Лемонте к переводу басен Крылова" он писал: "Г-н Лемонте напрасно думает, что владычество татар оставило ржавчину на русском языке. Чуждый язык распространяется не саблею и пожарами, а собственным обилием и превосходством". Говоря о заимствованиях в русском языке, необходимо отметить обширные лексические пласты, усвоенные из различных зарубежных языков. Трудно указать какой-нибудь раздел словаря русского языка, где бы нельзя было обнаружить заимствованных слов. Как указыывают проведенные языковедами исследования, различные группы иностранных слов проникали в русский язык в разные эпохи и из разных языков. При этом, в зависимости от конкретных исторических событий и взаимоотношений русского народа с другими, поток заимствований из одних языков усиливался, а из других, наоборот, убывал.

Процессы взаимодействия и взаимообогащения языков народов нашей страны за последние десятилетия характеризуются особыми закономерностями. Во-первых, заимствуемая лексика в основном утверждается через литературный язык, хотя и через устную речь (в особенности диалектную) по-прежнему продолжается усвоение иноязычных слов. Именно литературный язык благодаря печати, радио, телевидению становится главной ареной процессов взаимообогащения языков. Во-вторых, основные процессы взаимообогащения языков народов страны приобретают, если так можно сказать, "централизованный" характер. Это значит, что из ограниченных, локальных, эти процессы становятся неограниченными благодаря посредству русского языка. Если раньше речь могла идти в основном о взаимообогащении языков соседних народов, то теперь богатства многочисленных языков, попадая в русский, могут быть далее усвоены другими языками. На эту роль русский язык, вобравший в себя богатства также многих зарубежных языков, выдвинула сама история.

Русский язык – родной язык многомиллионного русского и близкородственный язык украинского и белорусского народов. В силу исторических особенностей развития нашей страны знание русского языка издавна распространено и среди других наций и народностей. Будучи языком наиболее развитой нации, оказавшейся во главе революционных преобразований в нашей стране и заслужившей любовь и уважение всех других народов, русский язык стал, естественно, превращаться в язык общения и сотрудничества всех народов многонационального государства, по мере того как усиливались экономические и производственные межнациональные связи, интенсифицировалась интернационализация населения, стирались психологические преграды и на их месте расцветали братская дружба, доверие и взаимопомощь. Сходства и соответствия в языках страны, обусловленные воздействием русского языка, проявляются: 1) в расширении сферы влияния русских, особенно новых, советских выражений в калькировании их; 2) в стремительном распространении советизмов, в их движении из одного языка в другой; 3) в освоении основного фонда интернациональной лексики через посредство русского языка; 4) вообще усилившейся тенденции к языковой интернационализации, в особенности к советской языковой интернационализации [Виноградов 1945: 165].

Наиболее быстро развивающимся разделом словарного состава любого литературного языка является терминология. В большинстве языков народов страны

70–80% новых научно-технических, общественно-политических, учебно-педагогических и других терминов составляют заимствования из русского языка и через него из других языков. Таким образом, вопрос о развитии терминологии литературных языков имеет прямое отношение к вопросам о роли русского языка в развитии других языков народов страны, о месте русских лексических заимствований в их словарном составе. Влияние русского языка по-разному сказывается на литературных языках, что во многом связано с давностью литературных традиций тех или иных языков. В старописьменных языках – таких, как украинский, армянский, грузинский, азербайджанский, узбекский, таджикский, литовский, латышский, эстонский и др., – еще до революции сложилась довольно богатая терминология. Поэтому они меньше нуждались в заимствовании терминов, чем младописьменные (аварский, башкирский, лезгинский, кабардино-черкесский, чеченский, ингушский, карачаево-балкарский, адыгейский, каракалпакский, алтайский, хакасский и др.). В младописьменные языки заимствованы из русского и через его посредство тысячи слов и терминов из самых различных областей общественной жизни: а) общественно-политические термины: *партия, совет, колхоз, космонавт, совхоз, социализм, капитал, съезд, философия* и др.; б) термины, связанные с производством: *бригада, звено, веялка, сортировка, трактор, поток* и т.д.; в) названия учреждений: *институт, техникум, педучилище, совнархоз, поликлиника, книготорг, филиал* (Академия наук) и др.; г) виды транспорта: *автобус, самолет, такси, катер, паровоз, автомобиль* и др.; д) военные термины: *танк, колонна, миномет, лейтенант, майор, маршал, катюша, старшина* и т.д.; е) меры веса, длины и т.п.: *тонна, грамм, литр, пол-литра, метр, километр, сантиметр* и др.; ж) наименования профессий: *шофер, летчик, тракторист, комбайнер, механик, монтер* и др.; з) глаголы, связанные с развитием промышленности и сельскохозяйственной науки и техники и т.д. Разумеется, заимствованные из русского (и через него) слова и термины осели в разных языках по-разному. Входя в активный состав словаря, они не могли известным образом не адаптироваться под влиянием внутренних законов конкретных языков. В этом отношении характерно деление всех заимствований на три больших пласта – дореволюционный и после-революционный (советский), постсоветский. В постсоветский период во взаимоотношениях между языками народов страны происходят определенные изменения.

Последний, **шестой этап языкового планирования**, начинается с так называемых "переломных лет" (1989–1995), о которых необходимо сказать несколько более подробно, хотя о них уже говорится в ряде специальных работ этнолингвиста М.Н. Губогло и языковедов В.М. Алпатова, А.Н. Баскакова, В.Ю. Михальченко, В.П. Нерознака, В.М. Солнцева и некоторых других. Последнее десятилетие очевиднейшим образом показало, в какой непосредственной связи могут оказаться судьбы языков и культур от политики, проводимой правящими кругами. В конце восьмидесятых – начале девяностых годов значительно утрированные языковые проблемы оказались на острие движения союзных республик за национальный суверенитет. Как подчеркивает М.Н. Губогло, "события, факты и документы позволили относительно логично обозначить суть трех переломных лет, в том числе 1989 г. – как года языковой реформы, 1990 г. – как года суверенизации бывших союзных республик и, наконец, 1991 г. – как года формального распада бывшего СССР" [Губогло 1998: 167]. Однако истоки событий этого периода следует искать в событиях, произошедших десятилетием раньше, ибо основным содержанием всего данного периода языкового планирования служит принятие многочисленных законодательных актов, включая конституционные. Как известно, еще В.И. Ленин резко выступал против идеи *государственного языка*, подчеркивая, что "потребности экономического оборота сами собой определяют тот язык данной страны, знать который большинству выгодно в интересах торговых сношений. И это определение будет тем тверже, что его примет добровольно население разных наций тем быстрее и шире, чем последовательнее будет демократизм..." (Ленин, Т. 23: 424–425). В полном соответствии с этой доктриной в

научной и пропагандистской литературе советского периода к понятию государственного языка существовало негативное отношение. Даже русский язык по существу ставший *государственным*, не именовали таковым; ограничивались лишь названием "языка межнационального общения". Эту картину несколько "портили" традиционные положения в конституциях Армянской и Грузинской ССР, в которых соответственно армянский и грузинский определялись как государственные языки этих республик. Фактически же языковая политика в обеих республиках соответствовала общесоюзным стандартам, согласно которым все языки Союза провозглашались равноправными. Все, казалось бы, в этом плане было благополучно и ничто не предвещало "лингвистической бури", первые порывы которой подули во второй половине 70-х гг., когда "обновлялись" конституции союзных республик.

Так, статья 75 грузинской конституции, провозглашавшая грузинский *государственным языком* в ГССР, теперь в опубликованном в марте 1978 г. проекте новой редакции формулировалось следующим образом: "Грузинская ССР обеспечивает употребление в государственных и общественных органах, культурных и других учреждениях грузинского языка и осуществляет всемерную заботу о его развитии. В Грузинской ССР на основе равноправия обеспечивается свободное употребление во всех органах и учреждениях русского, а также других языков, которыми пользуется население. Какие-либо привилегии или ограничения в употреблении тех или иных языков не допускаются". Проект новой формулировки языковой статьи (№ 75) вызвал настоящую бурю у грузинского студенчества, поддержанного частью профессуры и деятелей культуры. Накануне обсуждения проекта новой конституции на сессии Верховного Совета Грузинской ССР (назначенного на 14 апреля 1978 г.) они организовали внушительную демонстрацию в 10 тысяч человек и, прорвав милицейскую цепь, подошли к Дому правительства под лозунгами "Родной язык". После сложных и жестких переговоров руководство Грузии полностью отступило и было восстановлено конституционное положение о государственном грузинском языке. События в Грузии послужили сигналом и для защитников армянского государственного языка, но их успех уже не был результатом каких-либо силовых актов. Более того, вслед за этим, и в новой конституции Азербайджанской ССР появилось положение, провозглашавшее азербайджанский государственным языком в данной республике.

Тбилисские "лингвистические события" стали детонатором для "языковых бунтов" в Абхазии и Южной Осетии, где до сих пор молча переносили мертворожденное положение о грузинском государственном языке на всей территории Грузинской ССР. Общественность обеих автономий первоначально хотела лишить грузинский язык статуса государственного на их территориях. Затем, после долгих переговоров, пришли к компромиссу, согласно которому в обеих автономиях провозглашалось по т р и государственных языка: в Абхазии – абхазский, грузинский и русский, в Осетии – осетинский, грузинский и русский.

События конца 70-х гг. явились прелюдией того законодательного половодья, которое наступило в стране спустя десять лет. Наиболее активно действовали в этом отношении определенные силы в Прибалтике. Так, 18 января 1989 г. появляется в Эстонской ССР Закон "О языке" республики, согласно которому эстонский язык становится единственным государственным языком на территории республики. Почти одновременно, а именно, 25 января 1989 г. появляется Указ Президиума Верховного Совета Литовской ССР "Об употреблении государственного языка Литовской ССР". 5 мая 1989 г. принимается "Закон Латвийской Советской Социалистической республики о языках". В том же году соответствующие законы о языках были приняты в Таджикистане, Молдавии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Украине. На год позже, в 1990 г. законы о языках появились также в Белоруссии и Туркменистане, а также поспевший, наконец, "Закон о языках народов СССР" (24 апреля 1990 г.). С опозданием на год, в 1991 г. был принят и Закон РСФСР "О языках народов РСФСР". Как справедливо отмечает В.П. Нерознак, «"Закон о языках народов СССР" фактически только подытожил результаты "огосударствления" титульных языков

союзных республик и наметил перспективы развития титульных автономных республик по этому же пути» [Нерознак 2002: 8].

Это привело к тому, что во всех национальных республиках Российской Федерации уже приняты (в некоторых подготовлены, но еще не приняты) соответствующие законодательные акты в области языкового существования.

Хронология принятия законов о языках

№ п/п	Республика	Название закона	Дата принятия
1.	Чувашия	О языках Чувашской ССР	27 октября 1990
2.	Тыва	О языке в Тувинской АССР	14 декабря 1990
3.	Калмыкия	О языках Калмыкой ССР – Хальмг Тангч	30 января 1991
4.	Татарстан	О языках народов Республики Татарстан	8 июля 1992
5.	Коми	О государственных языках Республики Коми	28 мая 1992
6.	Бурятия	О языках народов Республики Бурятия	10 июля 1992
7.	Саха (Якутия)	О языках в Республике Саха (Якутия)	16 октября 1992
8.	Хакасия	О языках Республики Хакасия	20 октября 1992
9.	Алтай	О языках	3 марта 1993
10.	Адыгея	О языках народов Республики Адыгея	1994
11.	Кабардино-Балкария	О языках народов Кабардино-Балкарской Республики	1995
12.	Марий-Эл	О языках в Республике Марий-Эл	1995
13.	Карачаево-Черкесия	О языках народов Карачаево-Черкесской Республики	1996
14.	Ингушетия	О государственных языках Республики Ингушетия	1996
15.	Башкирия	О языках Республики Башкортостан	1999

В других республиках Российской Федерации как было уже замечено, обсуждаются языковые законодательства. Однако их принятие в дальнейшем, по-видимому, не будет столь фатальным. Дело в том, что параллельно происходят в обществе процессы, направление которых как бы противоположное. Имеется в виду работа над текстами республиканских конституций по их освобождению от положений, противоречащих конституции Российской Федерации. А это как раз те положения (скажем положения о "суверенитете"), на которые опираются во многом законодательные акты в области языка. Думается, настало время некоторого "отрезвления", когда необходимо приостановиться и дать оценку всему сделанному в этой области за последнее десятилетие.

Оценивая языковую реформу в СССР, затем в Российской Федерации, трудно отделаться от мысли, что некоторыми "реформами" руководила не одна забота о более благоприятном развитии и функционировании национальных языков. К сожалению, факты заставляют полагать, что порой "языковой вопрос" становился *новодом* для подготовки и постановки "национального вопроса" в целом. В этой связи особенно огорчительно муссирование языковых проблем в бывших автономных республиках. Показательно, что постановка вопроса о придании языку титульной нации статуса **государственного** сопровождалось появлением в законодательных документах (вплоть до конституций) понятия суверенитета.

Другая мысль, которая также может возникать – это степень целесообразности заниматься лингвистом так тщательно и так долго правовыми проблемами языкового планирования. Зная ограниченность кадров по многочисленным языкам страны, приходишь к выводу, что они значительную часть времени и сил тратят на

бесплодные дискуссии, связанные с принятием многочисленных "законодательных актов". В то же время подлинные проблемы языкового развития и обучения языкам учащейся молодежи остаются без разрушения. Так, почти повсеместно не находят своего полного решения проблемы соответствующих учебников и пособий по родному языку для школьников. То же самое можно сказать о вузовских пособиях по родному языку и литературе. В большинстве республик не составлены толковые словари национальных языков, не ведутся (или прерваны) работы по составлению национальных терминологических словарей и т.д. Вместо непрерывных сетований о слабом использовании родных языков, по-видимому, целесообразнее было бы определение для каждого из них реальных сфер функционирования и создавать условия для их оптимального использования. При этом, разговоры о "конкуренции языков" или "вытеснении родных языков русским" малопродуктивны. Предпочтительнее говорить о "разделении труда" между языками, которые использует тот или иной народ. В этом плане заметно некоторое пренебрежение к проблеме билингвизма в нашей многонациональной стране, хотя двуязычие имеет место в жизни каждого народа и не замалчивать его надо, а реалистически изучать его процессы и использовать его естественные преимущества в каждом регионе, у каждого народа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Алексеев М.Е.* 1994 – Языковое законодательство в Дагестане // Языковые проблемы Российской Федерации и законы о языках. М., 1994
- Алпатов В.М.* 1994 – Об эффективности языкового законодательства // Языковые проблемы Российской Федерации и законы о языках. М., 1994.
- Алпатов В.М.* 1997 – 150 языков и политика: 1917–1997. М., 1997.
- Баскаков А.Н.* 1994 – Социолингвистические аспекты языкового законодательства в Российской Федерации // Языковые проблемы Российской Федерации и законы о языках. М., 1994.
- Виноградов В.В.* 1945 – Великий русский язык. М., 1945.
- Губогло М.Н.* 1998 – Языки этнической мобилизации. М., 1998.
- Исаев М.И.* 1979 – Языковое строительство в СССР (Процессы создания письменностей народов СССР). М., 1979.
- КПВ 1931 – Культура и письменность Востока. Т. VII–VIII. М., 1931.
- Михайльченко В.Ю.* 1994 – Концепция законов о языках в республиках Российской Федерации: проблема социально-лингвистической адекватности // Языковые проблемы Российской Федерации и законы о языках. М., 1994.
- Нерозник В.П.* 2002 – Языковая ситуация в России 1991–2001 // Государственные и титульные языки России. М., 2002.
- Пиголкин А.С.* 1994 – Законодательное регулирование языковых проблем в Российской Федерации // Языковые проблемы и законы о языках. М., 1994.
- РП 1933 – Письменность и революция. Вып. 1. М.; Л., 1933.
- РП 1932 – Революция и письменность. Вып. 1–2. М., 1932.
- Тышлер И.С.* 1964 – К вопросу о борьбе между английским языком и нормано-французским в Англии в XI–XIV столетиях // Язык и общество (тезисы научных сообщений). Саратов, 1964.
- Шухардт Г.* 1950 – Избранные статьи по языкознанию. М., 1950.
- Щерба Л.В.* 1958 – Избранные работы по языкознанию и фонетике. Т. 1. М., 1958.

© 2002 г. А.П. РОМАНЕНКО

**СОВЕТСКАЯ СЛОВЕСНАЯ КУЛЬТУРА:
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ ЕЕ ИЗУЧЕНИЯ****ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ**

Под словесной культурой понимается, во-первых, языковая жизнь общества как часть его культуры. Она имеет дело с фактами культуры, которые, в отличие от других, представляют собой либо правило, либо прецедент, являются уникальными и имеют свои хронотопы [Рождественский 1996а: 13]. Другими словами, словесная культура – это система нормативов, по которым строится языковая жизнь общества. Во-вторых, словесная культура – это те общие принципы, которые лежат в организации и языка, и речи, и языковой личности, и словесности, и филологических описаний – всей языковой жизни общества. Эти общие принципы задаются культурой общества.

Очень близко этому содержанию понятие словесности Ю.В. Рождественского, но оно более строго сформулировано и несколько уже [Рождественский 1996б]. Близко и понятие речевой культуры В.Е. Гольдина и О.Б. Сиротининой [Гольдин, Сиротинина 1997], но оно не включает в себя свойств "общности" и "нормативности" рассматриваемых фактов. Кроме этого, разработанная авторами типология речевых культур относится, в основном, к современному обществу и не учитывает специфику общества советского.

Советская словесная культура имеет собственную историю изучения, то есть обладает рефлексией. Однако эта рефлексия довольно своеобразна: она, являясь частью словесной культуры, соответствует периодизации ее истории, коррелирует с советскими культурно-историческими нормативами, даже абстрагируясь (на последних этапах советской истории) от них.

Отсюда двоякая задача настоящей статьи: описать историю изучения советской словесной культуры (обзорно-справочный аспект) и выявить зависимость этой истории от культуры, другими словами, показать взаимодействия и соответствия советской общественно-языковой практики и теории языка (историко-лингвистический аспект).

Как правило, описания советской словесной культуры делят на апологетические и критические. В этом есть смысл, но есть и много неясного и неопределенного. Во-первых, трудно провести четкое деление множества исследований, и вряд ли разумно пытаться выявить в этих исследованиях соотношение апологетического и критического. Во-вторых, такой подход неисторичен, так как оценка научных работ часто сводится к оценке личности ученого.

Попробуем взглянуть на проблему иначе: с учетом культурного детерминизма. Ведь наука (не только прикладная, но и теоретическая) зависит от практики. Филология и лингвистика также зависят от потребностей общественно-языковой практики. И теория, и практика науки обусловлены культурой как системой прецедентов и правил. Поэтому в основу периодизации истории вопроса положим периодизацию истории советской словесной культуры.

Периодизация истории советской словесной культуры, может быть проведена с учетом трех аспектов речи: этоса, пафоса и логоса (условий коммуникации, источника смысла речи, стиля речи). При таком подходе эта история предстает как чередование рефлексии / нерефлексии слова [Романенко 2000: 194–195]. Разумеется, с этим свойством культуры непосредственно связана и история ее изучения, ее самоанализ, самоидентификация.

Можно выделить пять периодов истории советской словесной культуры и ее изучения. Оговоримся, что временные границы между периодами очень условны, их нельзя понимать буквально. То же, впрочем, можно сказать и о других параметрах периодизации. Нельзя понимать нерелексивность как абсолютное отсутствие описаний словесной культуры: научные традиции имеют и свои имманентные закономерности развития.

1 период – 20-е годы, время рождения культуры. Этос периода определяется устно-ораторическими условиями коммуникации и неграмотностью аудитории (масс); вождем, лидером, риторическим и этическим идеалом является Ленин. Пафос периода носит критически-разрушительный характер. Логос представляет собой языковой стандарт, ориентированный на ораторику ("язык революционной эпохи"). Период характеризуется очень активной филологической и семиотической релексивностью: рождающаяся культура нуждается в самосознании.

2 период – 30–50-е годы, время установления и стабилизации норм культуры. Этос периода определяется письменно-документальными условиями коммуникации и относительной грамотностью аудитории (масс); вождем, лидером, риторическим и этическим идеалом периода является Сталин. Пафос периода носит созидательно-апологетический характер. Логос – языковой стандарт, ориентированный на документ ("новояз", "канцелярит"). Период характеризуется отсутствием филологической и семиотической рефлексии.

3 период – 60-е годы, время отрицания предыдущего периода ("культ личности") и возрождения 1-го ("возврат к ленинским нормам"). Этос периода – массовая коммуникация (к массовой печати прибавляется радиовещание и телевидение) с довольно полной включенностью массовой аудитории в эту систему. Вождь, лидер, риторический и этический идеал – Хрущев. Пафос периода можно определить как критически-разоблачительный. Логос периода – языковой стандарт с ориентацией на ораторику массовой информации. Филологическая и семиотическая релексивность активна, но не достигает степени активности 20-х годов.

4 период – 70-е – первая половина 80-х годов ("застой"). Этос периода – массовая коммуникация со все усиливающейся ритуализацией и условий общения, и речевых действий раторов и аудитории. Вождь, лидер, риторический и этический идеал (тоже ритуализованный) – Брежнев. Пафос периода – апологетически-созидательный. Логос характеризуется ориентацией языкового стандарта на документ, ораторские формы речи ритуализуются (лозунги, призывы, обращения). Релексивность слова нерелевантна, ее формы ритуализованы.

5 период – вторая половина 80-х–90-е годы ("перестройка"), период, границы которого определить затруднительно. Это время умирания культуры, хотя о полном исчезновении ее норм говорить не приходится. Этос периода – массовая коммуникация с явным преобладанием устно-разговорных условий общения и с высокой степенью включенности аудитории в эту коммуникацию. Вождь, лидер, риторический и этический идеал – Горбачев, затем Ельцин. Пафос периода носит критически-разоблачительно-разрушительный характер. Логос – разрушающийся языковой стандарт с ориентацией на устно-разговорную стихию. Филологическая и семантическая релексивность не только достигает уровня 1-го периода, но и значительно превосходит его.

Перейдем к характеристике отечественного изучения советской словесной культуры в связи с предложенной периодизацией.

Первый период: 20-е годы. Словесная культура этого времени получает всестороннее описание. Языковые и речевые особенности хорошо заметны и для носителей, и для исследователей-филологов. Эти новые черты словесной культуры сразу же становятся предметом филологической рефлексии [Баранников 1919; Горнфельд 1922; Черных 1923; 1929; Делерт 1924; Габо 1924; Пешковский 1925; Щерба 1925; Винокур 1923; 1925; 1928а; 1928б; Селищев 1968а; 1968в (1925); 1968б (1927); 1928; Шор 1926; Поливанов 1927; 1928; 1931; Ларин 1928; Успенский 1928; Шпильрейн 1929 и др.]. Предпринимаются и попытки лексикографической кодификации советских сокращений, символов революционного языка, по выражению Л.В. Щербы (например, "Словарь советских терминов" под редакцией П.Х. Спасского [Словарь 1924]). Обзоры некоторых из этих работ см., например [Кожин 1963; Протченко 1975; Мещерский 1981; Скворцов 1987]. Особой значимостью (как по анализу материала, так и по постановке теоретических проблем), на наш взгляд, обладают работы А.М. Селищева, Е.Д. Поливанова, Г.О. Винокура (их разберем подробнее ниже).

Кроме описаний новых черт языковой и речевой жизни всего общества, исследуются особенности речи отдельных классов речевого коллектива. Речь масс: рабочих [Суворовский 1926; Данилов 1929], рабочих подростков [Добромыслов 1932], крестьян [Меромский 1930], красноармейцев [Шпильрейн и др. 1928], уголовников (см. литературу по этому вопросу и работы Д.С. Лихачева [Лихачев 1993]), школьников [Капорский 1927; Лупова 1927] и т.п. Речь ратора-вождя: сразу после смерти Ленина вышел номер журнала ЛЕФ со статьями о стилистике и риторике его речи (значит, материал собирался и анализировался еще при жизни Ленина) [Эйхенбаум 1924; Якубинский 1924; Казанский 1924 и др. (см. также [Финкель 1925; Якубинский 1926]).

Исследуются и функциональные разновидности языка и словесности: язык газеты ([Винокур 1925; Гус и др. 1926], см. об этом [Костомаров 1971]); деловая речь [Гус 1929; 1931; Верховской 1930]; речь поэтическая (см. об этом [Леонтьев 1968]); искусственные международные языки как функциональные части советской словесной культуры [Дрезен 1928; 1933; Рево 1933 и др.].

Помимо исследований по лингвистике и поэтике актуализируется и развивается риторическая проблематика (см. литературу по этому вопросу [Сычев 1995]). Риторическая практика требует как практических руководств (например [Миртов 1924; 1927; 1930], так и теоретического осмысления (например [Гофман 1932; 1935а; 1935б]). Риторика разрабатывается не только для ораторики (об этом см. [Граудина, Миськевич 1989]), но и для практической деловой речи в составе деятельности по рационализации управления и делопроизводства [Корицкий и др. 1990]. Риторика как теория современной прозы начинает осмысливаться теоретической филологией. В.В. Виноградов в книге "О художественной прозе" (1930 г.) отмечает интерес отечественных филологов и философов (Г.О. Винокура, Н.И. Жинкина, Г.Г. Шпета) к "риторическим формам речи", говорит о формировании (в первую очередь в западной лингвистике) новой риторики как теории убеждающей речи разных сфер (деловой, бытовой и др.), дает образцы риторического анализа произведений речи [Виноградов 1980: 55–175].

Рефлексивная деятельность общества не ограничивается словесной культурой, она носит общесемиотический характер. Активно изучаются и нормируются новые советские ритуалы [Глебкин 1998], разрабатываются теоретические основания изобразительного искусства (например, работы К. Малевича, П. Филонова).

Книга А.М. Селищева "Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком последних лет (1917–1926)" [Селищев 1928] уникальна в истории отечественной русистики: она всеохватна и в то же время, думаем, еще недостаточно оценена. Она описывает не только и не столько язык и имеет не строго лингвистический

характер, за что ее и критиковали (см. рецензии: [Винокур 1928а; Ольгин 1928; Поливанов 1928; Лобов 1928; Георгиади 1929; Рожанский 1935]). Автором рассматриваются источники языка, его носители, речь, особенности условий коммуникации и речемыслительной деятельности говорящих, некоторые черты словесности, а свое исследование характеризуется как "результаты (...) наблюдений над языковой деятельностью в связи с событиями и обстоятельствами периода 1917–1926 гг. (...) Цель работы – осветить различные стороны языковых переживаний последний лет" (с. 3). А.М. Селищев не случайно употребляет для объяснения характера своего труда неопределенные и нетерминированные выражения "*языковая деятельность*", "*языковые переживания*". Он описывает не только языковые изменения, но новую формирующуюся словесную культуру как систему прецедентов, норм, правил связи языка с мыслительной и социально-практической деятельностью носителей, норм обращения с языком, норм, имеющих культуросозидающий характер.

Такая особенность исследования проявляется в его структуре и в составе теоретических понятий. За исключением первого (теоретическое введение) и шестого разделов (изменение значения слов), более или менее лингвистических, остальные разделы (их 7) имеют речеведческий характер. После общей характеристики "языковой деятельности революционного времени" описываются коммуникативная, эмоционально-экспрессивная и номинативная функции "речи".

А.М. Селищев описывает именно эти функции, опуская эстетическую, так как видит предмет исследования не в поэзии, художественной словесности, а в прозе, словесности нехудожественной (с. 9). Г.О. Винокур как лингвист в своей рецензии усомнился в правомерности выделения такого состава функций языка [Винокур 1928а], не принимая во внимание "филологичности" подхода исследователя. У А.М. Селищева это функции *речи*, а не языка, их состав определен описываемой общественно-речевой практикой, а не теорией языка.

Описание базируется на анализе речи определенной группы носителей – деятелей (партийных и советских) революции (то есть риторов – А.Р.) с учетом условий общения. И только после этого характеризуются "языковые новшества" в речи других носителей, представителей масс: рабочих, крестьян, представителей национальных меньшинств. Подчеркнем, что в качестве основной для советской словесной культуры автором избирается публичная сфера общения. Поэтому источником исследования стали в основном пресса, документы, ораторская проза. Этот выбор оправдан филологическим характером описания (анализ этоса, пафоса и логоса официальной речи), с лингвистической же точки зрения он выглядит сомнительным. Поэтому Б.А. Ларин писал: «Большинство фактов, приводимых в отдельных параграфах книги, относится к литературному (книжному) языку, некоторая часть относится к литературной разговорной речи, кое-что наблюдается и во внелитературных говорах, но не только городских, а и деревенских. (...) Относительно мало в книге непосредственных наблюдений и записей. Преобладает "книжный" материал, особенно беллетристический, без минимальной и совершенно необходимой критики источников. Для автора кроме литературного языка и крестьянских диалектов нет никакой третьей категории языковых явлений» [Ларин 1928: 73]. С подобных же лингвистических позиций критиковал А.М. Селищева и Г.О. Винокур: «Книга эта написана в манере столь крайнего и ригористического эмпиризма, что значение ее, собственно, и исчерпывается тем, что она есть "собрание" соответствующих "материалов". От научного труда, тем более труда лингвистического, мы вправе требовать большего. (...) книга его превращается в своего рода сборник материала по отклонениям от старого русского литературного языка за время революции, (...) сам язык революции как обладающий собственным содержанием культурный феномен совершенно ускользает от его исследовательского понимания» [Винокур 1928а: 182–183] (кстати, сводить методологическое по сути противостояние А.М. Селищева и Г.О. Винокура к европейскому вопросу, как это сделал М.П. Одесский [Одесский 1999], несерьезно: масштаб этих фигур иной).

Критика Б.А. Ларина и Г.О. Винокура в высшей степени лингвистична и не учитывает преимущественно филологическую, речеведческую задачу работы А.М. Селищева: выделить наиболее представительную сферу современной общественно-речевой практики ("языковой деятельности") и описать речь наиболее авторитетных, влияющих на формирование языковой жизни общества, носителей (риторов). Их этос оказывает влияние на речь других носителей, на речь масс и тем самым определяет "языковые новшества" эпохи.

Вот почему А.М. Селищев довольно подробно описывает происхождение революционных деятелей, условия их деятельности, общественный статус, формы и методы партийной и советской жизни. "Язык революционной эпохи" (и его пафос – источник смысла и его логос – стиль) формируется именно в этой среде, в этих условиях коммуникации, этими носителями (риторами), в этом этосе. Другие члены языкового коллектива, массы, рабочие и крестьяне тоже вовлекаются (не обязательно принудительно) в этот этос, чем и определяется новая специфика их речи. "Данные, собранные мною, – оговаривает автор, – характеризуют не обыденную речь рабочих, а ту речь, какой пользуются они в моменты обсуждения вопросов общественно-экономической и политической жизни. И еще одно ограничение. Эти данные относятся к речи **активных** (выделено автором. – А.Р.) рабочих. Речь пассивных членов рабочей среды представляет меньше новых черт, связанных с явлениями революционного времени" (с. 198). "Активные рабочие" – это формирующиеся из масс риторы, вторые по значимости информанты для изучения "языка революционной эпохи". В более поздней работе "О языке современной деревни" (1939 г.) проводится подобная дифференциация и для крестьянских информантов: выделяются "активисты" [Селищев 1968а: 428–486].

Рассмотрим характер, состав, подачу и анализ материала в книге. На первый взгляд, описывается, как и в большинстве работ 20-х годов на эту тему, лишь новая лексика. Однако у А.М. Селищева имеется и дополнительная информация. Слова приводятся в составе обширных контекстов, это не только фразы, но и выдержки из текстов. Кроме отдельных слов и выражений, анализируются функции некоторых текстообразующих оборотов, клаузул: "Так полагается кончать речь на торжественных собраниях" (с. 132). Уделяется внимание построению некоторых характерных для словесной культуры жанровых форм, например, "катехизисной форме" (с. 132–133). Помимо выдержек из газетных, ораторских, документных текстов привлекаются (в качестве вторичных источников) фрагменты художественных, а именно сатирических (рассказы М. Зощенко, М. Колосова) произведений, изображающих современную речь. Привлекаются и суждения о речи самих носителей – журналистов, партийных работников. С помощью таких средств рисуется выразительная картина, создается образ новой речи.

Такой образ создается и продуманным составом примеров: они подаются либо по одному, комментируя и иллюстрируя авторское суждение, либо группой, которая в определенном контексте книги несет информацию именно об образе речи. При этом А.М. Селищев выделяет специфически "советские" слова курсивом, что дает возможность видеть их как цельное множество. При обращении к их контекстам возникает представление и о синтаксическом своеобразии новой речи. Приведем пример. Второй раздел книги "Общий характер языковой деятельности революционного времени" является своеобразным рефератом остальной части книги (он занимает всего пять страниц). Тезисные положения этого раздела развиваются в последующих частях книги. И приводимые в нем примеры явно отобраны как ключевые слова, наиболее характерные для эпохи. Приведем эти примеры списком: *массовки; конференции; пленумы; коллегии; бюро; ячейки; кампании; безоговорочное выполнение директив, идущих от центра, от верхушки; культработа; штамп; командные высоты; партийная и советская среда; тезисы; лозунги; хищники империализма; даешь повышение производительности труда; диспропорция; режим экономики; увязка; смычка; международное положение; активист; трескотня;*

говорильня; на местах; Октябрь (с. 23–27). Этот перечень дает, безусловно, образ речи в контексте культуры. С одной стороны, этот образ обращен к политическому ораторству, с другой – к канцелярии. Дихотомия "ораторская – канцелярская стихия" получает развитие в дальнейшем описании. Кроме этого, приведенные примеры описывают и этос, и пафос, и логос культуры.

Образ речи создается также включением примеров (и даже выдержек из текстов) в авторское повествование, например (слова выделены нами. – А.Р.): *"Отсюда, с этих командных высот и от их блюстителей – от верхушки, исходят руководящие указания, диктуются директивы. Многочисленные представители партийных организаций, партаппарат, низовые организации проводят в жизнь те или иные указания, идущие из центра. Руководящие указания центра внимательно изучаются, прорабатываются на местах (...)* При проработке тех или иных директив центра деятельное участие должен принимать местный аппарат. Вопросы обсуждаются во многотысячных ячейках, на бюро, на пленумах. Термины директивы, аппарат, бюро, пленум (...) в общем употреблении и в непартийной среде" (с. 98–99). Такой прием хорошо известен в отечественной филологии, он позволяет создавать не только образ новой лексики и речи, но и речемыслительной деятельности.

Таков материал исследования. Теперь рассмотрим его анализ, развивающий информацию, содержащуюся в примерах.

Описывая "коммуникативную функцию речи", А.М. Селищев называет источники, стилистические ресурсы "языка революционной эпохи": варваризмы, канцеляризм, партийная и военная терминология, вульгаризмы.

Иноязычные элементы описаны очень подробно, при этом отмечаются два момента. Во-первых, варваризмы органичны в речи революционеров (учитывая историю социал-демократического движения и интеллигентское происхождение риториков). Но при употреблении в речи широких малообразованных слоев партийных и советских работников они становятся речевой помехой при общении с массами. Возникает реальная опасность непонимания риторика массами. Отсюда борьба с злоупотреблением варваризмами. А.М. Селищев приводит высказывания авторитетных деятелей по этому поводу. Во-вторых, широкое употребление варваризмов способствует канцеляризации и шаблонизации языка.

Другой стилистический источник современной речи – канцеляризм. А.М. Селищев объясняет их распространение большой значимостью для советской культуры этой сферы функционирования речи – "воздействие всевозможных канцелярий" (с. 59). Для речи Ленина, отмечает автор, характерно "ироническое значение" этих элементов, хотя и его тексты несвободны от них (с. 60–61). Другие же примеры, в частности из советских газет, свидетельствуют о том, что канцелярская стилистика становится почти нормой общения (с. 60–62).

Еще один источник – термины партийной жизни, работы. Поскольку партия выполняет управленческие функции, функции канцелярии, данная терминология канцеляризуется и шаблонизируется, что касается даже терминов "для проведения пропаганды" (с. 102). А.М. Селищев описывает этот материал в параграфе "Партия. Отражение ее программы и деятельности в языке" (с. 97–116). Здесь, по существу, разбирается источник смысла советской словесности, пафос, и его речевое воплощение.

Подобное же (смыслообразующее) значение имеет другой важный источник – военная терминология: "Эти термины обусловлены самим характером программной деятельности революционеров" (с. 85). Из сферы революционного ораторства эта терминология перешла практически во все области жизни советского общества: "Военные элементы соответствующим образом отразились в языке. Термины военной жизни, военного строя, режима стали употребляться часто не только для явлений партийной, общественной и культурной жизни. Эти термины нашли себе широкое

применение за пределами военщины" (с. 87). Данный источник, как и другие, подвержен оканцеляриванию и шаблонизации.

Последний из наиболее значимых источников – вульгаризмы. А.М. Селищев отмечает серьезную "склонность коммунистических деятелей к крепким словам и выражениям" (с. 69) и приводит большие списки вульгаризмов и примеров их использования в речи (от Ленина до рядовых коммунистов). В речи революционеров эти средства использовались, в основном, для оценочного обозначения врагов. Кроме того, брань имела и фактическое значение: "Вращаясь в среде широких масс населения, революционеры употребляют крепкие словечки и выразительные сочетания языка деревни, фабрики, низших слоев населения города" (с. 69). В массовой аудитории подобные риторические средства революционеров получили отзыв: "Эта манера находит себе широкое распространение в советской общественности, в особенности в молодом поколении" (с. 68), которое даже склонно было видеть в этом элементы "пролетарского языка" (с. 80). Вульгаризмы, как и прочие источники, шаблонизировались, теряя экспрессию. Заметим, что этот источник характеризует, по А.М. Селищеву, и этос, и пафос, и логос советской словесной культуры.

В разделе об эмоционально-экспрессивной функции речи анализ примеров свидетельствует, главным образом, о все той же шаблонизации языковых средств. Появляется множество постоянных эпитетов, в которых первоначальная образность исчезает (например, *красный, железный, стальной, беспощадный* и т.п.). Это обычный языковой процесс, но на фоне тотальной канцеляризации языка он приобретает особую значимость. Большинство же выразительных элементов становятся настоящими канцеляризмами, что показывается материалом (с. 134–146).

В разделе о номинативной функции особое внимание обращено на сокращенные слова. Подбором примеров и оценок этого явления современниками показана связь активизации аббревиации с канцеляризацией языка. Говорится и об обеспокоенности этими явлениями (в связи с опасностью взаимного непонимания риториков и масс) власти: "На необходимость устранения сокращения указывала и комиссия по усилению борьбы с бюрократизмом" (с. 168).

Подведем итоги разбора. Исследование А.М. Селищева носит не ортодоксально лингвистический, а филологический характер, поскольку предмет описания не только язык, но словесная культура как единства этоса, пафоса и логоса. Поэтому лингвистическая критика этого труда не может быть совершенно корректной.

Материал и его анализ в работе вполне отвечают предмету и задачам исследования. Автор не использует лингвистическую догматику для описания материала, он создает образ новой словесной культуры с помощью филологического и лингвистического инструментария. У А.М. Селищева нет теории, он работает интуитивно, не имея прецедентов. Но выбирает он этот путь не случайно: новый, небывалый материал адекватно не описывается в традиционно-лингвистических категориях. Поэтому в характере его работы нужно видеть скорее не недостатки, а достоинства.

Созданный образ новой речи и речевой деятельности (и социальной, и мыслительной) показывает специфические черты советской словесной культуры: тотальную канцеляризацию, в результате которой ораторическая стихия, присущая "языку революционной эпохи", шаблонизируется и ритуализируется. Этот процесс охватывает этос, пафос и логос словесной культуры и языковой личности. Словесная культура, по А.М. Селищеву, не может быть относительно адекватно описана без обращения к языковой личности, поэтому так много внимания в книге уделено носителям языка и культуры.

И наконец, о пафосе самого исследования. М.П. Одесский считает: "По Селищеву, воздействие социального катаклизма сводится преимущественно к деградации, к разрушению" [Одесский 1999: 388]. По нашему мнению, книга не дает оснований для такого утверждения. "Социальный катаклизм", революционная культура носила именно разрушительный характер, и, разумеется, это проявилось в языке. А.М. Селищев это хорошо видел. Но также он видел и элементы послереволюционного

созидания. В своем же описании от оценок по поводу приводимых фактов он воздерживался. Единственное, что осложняет объективистскую модальность книги, это легкая ирония автора, выраженная, впрочем, имплицитно.

Чрезвычайно значимы для истории вопроса разбираемого периода работы Е.Д. Поливанова: [Поливанов 1927; 1928; 1931], статьи о современном языке и марксистском языкознании, перепечатанные в посмертном сборнике его трудов [Поливанов 1968], "Толковый терминологический словарь по лингвистике" (1935–1937) [Поливанов 1991: 317–506]. У Е.Д. Поливанова нет целостного описания нового материала, но он разработал принципы и понятия теории нового языкового стандарта, что в определенной степени восполняет теоретическую недостаточность труда А.М. Селищева. Кроме того, нормализаторская деятельность Е.Д. Поливанова носила не эмпирический, а теоретический характер и потому, что ученый не был русистом и работал преимущественно с неиндоевропейским материалом (что не помешало марристам называть его индоевропейцем [Романенко 2001: 113–114]). Ученых различала и исследовательская позиция: А.М. Селищев – наблюдатель, Е.Д. Поливанов, кроме этого, преобразователь (в соответствии со взглядами своего учителя И.А. Бодуэна де Куртенэ). Е.Д. Поливанов был активным деятелем революции и убежденным марксистом [Романенко 2001: 111].

Е.Д. Поливанов, как и А.М. Селищев, "увидел" новизну советского языкового стандарта ("языка революционной эпохи", по А.М. Селищеву) и указал его отличия от дореволюционного языкового стандарта [Поливанов 1968: 233]. Вместе с тем он, в отличие от А.М. Селищева, "видел" и связи нового стандарта (носителями которого были, в основном, российские революционеры) со стандартом предшествующей эпохи (носителями которого были, в основном, русские интеллигенты, предшественники революционеров) [Поливанов 1968: 213]. Эти связи определялись, прежде всего, двуязычным характером языкового мышления, присущего интеллигенции как классу речедеятелей [Поливанов 1968: 217]. "Видел" он и отличия этого стандарта ("языки революционной эпохи") от идущего ему на смену второго, с другим "субстратом" – составом носителей – "пионерско-комсомольским поколением" [Поливанов 1968: 190]. Е.Д. Поливанов подробно охарактеризовал состав новых источников этого нового, второго стандарта (в дополнение указанной А.М. Селищевым партийной словесностью): «...в стандартный словарь проникают элементы следующих классовых и профессиональных диалектов:

- 1) словаря фабрично-заводских рабочих;
- 2) матросского словаря (что не трудно себе объяснить, если мы вспомним ту роль проводников революции, которую сыграла "морская братва" в самой толще нашего, главным образом провинциального, населения);
- 3) "блатного" жаргона людей темных профессий (сюда относятся, например, *липа* и прилагательное *липовый*, глаголы *хрять*, *зекать* [слова выделены автором. – А.Р.] и т.д., которые сейчас далеко вышли за первоначальный круг их носителей).

Вот тот перечень, который можно сделать по моим наблюдениям; весьма возможно, что его следует и расширить. Но во всяком случае большинство новшеств данного порядка (заимствований из классовых и профессиональных диалектов) волеется в вышеуказанные рубрики» [Поливанов 1968: 194].

В этом перечне нет рубрики "крестьянские диалекты", хотя в составе данного "субстрата" комсомольцы из крестьян занимали значительное место. Но Е.Д. Поливанов не ошибся: с 30-х годов начинает утверждаться взгляд на территориальные диалекты как на порчу литературного языка. Этот взгляд активно пропагандируется и ведет к борьбе с диалектами.

Е.Д. Поливанов социолингвистически и теоретически обосновал нормализаторский процесс, называемый "упрощением" языка [Романенко 2000: 154–157]. При этом он коснулся всех лингвистических сторон процесса: письма [Поливанов 1968: 257], словаря [Поливанов 1968: 229], грамматики – активизации аббревиации [Поливанов 1991: 318–319]. Последнее явление оценивалось ученым как подлинно революционное

по времени и по культурному значению. О советской аббревиации Е.Д. Поливанов сочувственно, как о прогрессивном явлении писал во многих теоретических статьях, в соответствующей статье "Литературной энциклопедии" (Т. 1. М., 1930, стб. 9), в статье, открывающей его опубликованный лишь в 1991 году "Толковый терминологический словарь по лингвистике" (заметим, что в "Грамматическом словаре" Н.Н. Дурново такой статьи нет вообще).

В своем терминологическом словаре, как и в других работах, Е.Д. Поливанов писал и о так называемой "марксистской лингвистике". Эта тема занимает особое положение в творчестве ученого, это было лингвофилософское обоснование новой советской словесной культуры, противопоставленное лингвофилософской концепции Н.Я. Марра [Романенко 2001].

Нельзя особо не сказать о работах Г.О. Винокура. Некоторые из них носили сугубо нормативный характер, автор в большей степени, чем Е.Д. Поливанов, выступал в амплуа преобразователя-практика и нормализатора языка и риторики [Винокур 1923; 1925]. Особое внимание Г.О. Винокур уделял шаблонизации речи в связи с риторической проблемой действенности слова. Разбирая советские лозунги, Г.О. Винокур говорил, что штамп формы ведет к штампу содержания, делает недейственным этот жанр (как, впрочем, и другие): «Нельзя отделяться словами: "то была эпоха военного коммунизма, а теперь эпоха нэпа". Во-первых, не надо так увлекаться, не надо до бесчувствия повторять: "военный", "военный коммунизм". Что же это, как не мышление штампами? Наклеили люди ярлычок: "военный коммунизм" – и успокоились. А когда приходится подумать, то к этому ярлыку в качестве утешающего сомнения средства и апеллируют: сказано ведь – "военный коммунизм" – чего уж тут беспокоиться; теперь "эпоха нэпа" – ничего не попишешь. И именно то обстоятельство, что "военный коммунизм" (...) вовсе не был только военным – к чему привыкли любители ярлычковой фразеологии – самым блестящим и полным образом иллюстрирует утверждение о том, что неощущаемая форма делает невозможным и реальное ощущение содержания» [Винокур 1923: 114]. Г.О. Винокур был прав, критикуя подобным образом советскую ораторику. Но он не увидел, как увидел А.М. Селищев, тотальности шаблонизации советской словесности, ее канцеляризации, в результате которой советская ораторика становилась документом, теряя свою стилистику. А документ имеет другой характер действенности – это действенность именно штампа.

В более поздней работе "Глагол или имя?" Г.О. Винокур обратился к проблеме шаблонизации и канцеляризации языка с целью прояснить ее характер и причины [Винокур 1928б]. Для анализа и стилистической интерпретации было выбрано явление лавинообразного распространения в современной речи отглагольно-именных конструкций вместо глагольных форм. Это явление, по Г.О. Винокуру, относится "к продуктам канцелярского стиля" [Винокур 1928б: 75]. Задачу своего исследования автор формулирует следующим образом: "если в языке в известных случаях наблюдается стремление освободиться от семантического груза глагольности, то какие стилистические условия порождают и поддерживают это стремление?" [Винокур 1928б: 87]. Ответ на этот вопрос дается не социолингвистический, а риторический: стилистические условия определяются функциональной уместностью: «Невыносимы, разумеется, "сверх-клише", насквозь проштампованный язык какой-либо канцелярской бумаги, где штампуются вовсе не то, что нужно, но все же и эти утрированные случаи находят себе, по крайней мере, естественное объяснение в потребности "выдержат стиль". (...) Все дело лишь в том, чтобы эти штампы действительно стояли там, где нужно, чтобы приятельская беседа не велась в штампах терминологических, а в научном сочинении – не фигурировали штампы застольной болтовни» [Винокур 1928б: 91–92]. В заключение статьи Г.О. Винокур обращается к волнующей его проблеме действенности ораторики. В ораторской речи, говорит он, условий для штампов нет, не должно быть. Ведь иначе речь теряет действенность: "риторические по преимуществу задания ораторской речи и препятствуют существенно устранению

глагольности, поскольку глагол есть категория конкретного действия и может быть противопоставлен в этом отношении всегда возникающим из абстракции глагольным именам" [Винокур 1928б: 92]. "Убеждают не термином, – все равно научным или канцелярским, – а только живым примером" [Винокур 1928б: 93]. Но практика советской словесной культуры была иной: ее ораторика функционировала как документ и стилистически приближалась к нему. Г.О. Винокур не мог этого не замечать, а также того, что такая ораторика не теряла действенности. Ответ этому он нашел также лингвостилистический: в качестве примера компенсации "нагромождения отглагольных слов" повторяющимися эпитетами, сохраняющими действенность и убедительность ораторской речи, он привел фразу (слова выделены автором. – А.Р.): *"Наша промышленность вступила в такую фазу развития, когда серьезный рост производительности труда и систематическое снижение себестоимости промышленной продукции становится невозможным без применения новой, лучшей техники, без применения новой, лучшей организации труда"* [Винокур 1928б: 93]. Разумеется, сомнительно, чтобы повторяющийся эпитет *лучший* придавал этой фразе убедительность и действенность, был "живым примером". Действенность этой фразы обеспечена документно: этосом (это фраза Сталина), пафосом (ее смысл соответствует партийным документам), логосом (канцелярским стилем, штампами). Документная действенность не уступает в эффективности ораторической, хотя реализуется другими средствами. Как видно из приведенного примера, силу этой действенности испытал на себе и Г.О. Винокур.

"Язык революционной эпохи", выросший из ораторики, стремительно оканцелярировался. Наиболее авторитетные и значимые свидетельства этого – работы А.М. Селищева и Г.О. Винокура.

Второй период: 30 – 50-е годы. Нельзя говорить об абсолютной филологической нерелексивности этого культурного периода. Она относительна и касается прежде всего объективистских, собственно научных самоописаний культуры. Нормативные же описания были необходимы, поскольку это было время установления норм словесной культуры и в первую очередь языка.

"Толковый словарь русского языка" в 4-х томах под редакций Д.Н. Ушакова (М., 1935–1940) и имел целью "отразить процесс переработки словарного материала в эпоху пролетарской революции, полагающей начало новому этапу в жизни русского языка и вместе с тем указать установившиеся нормы употребления слов" [Толковый словарь 1996. Т. I: IX–X]. Этот словарь во многом – продукт культуры предыдущего периода, но отразил он в качестве нового материала черты не "языка революционной эпохи", а пришедшего ему на смену языкового стандарта, впоследствии получившего названия "канцелярита" и "новояза".

Вслед за этим словарем и во многом на его основе вышел однотомный нормативный словарь С.И. Ожегова, одного из составителей четырехтомного словаря [Словарь 1949]. Правда, особую популярность этот словарь получил уже в следующем периоде истории советской культуры. Работы С.И. Ожегова 50-х годов о русском языке советской эпохи принадлежат уже следующему периоду.

Типичным примером нормативного руководства по словесной культуре для массового читателя является "Введение в стилистику" М.А. Рыбниковой [Рыбникова 1937]. Современный материал в книге занимает значительно меньше места, чем исторический, и это тоже не факты "языка революционной эпохи" (о А.М. Селищеве не упоминается).

Этим самописание советской словесной культуры второго периода, в общем-то, и ограничивается. Такие факты, как работы о языке современной колхозной деревни [Чистяков 1935; Селищев 1968(1939): 428–486 и др.], о языке Ленина [Рыт 1936; Якубинский 1931 и др.] – это, скорее, филологические традиции предыдущего периода, не потерявшие политической и культурной уместности.

Аналитических исследований современной словесной культуры даже в таких традиционных направлениях, как лексикология, язык современной литературы, история литературного языка не было. При этом активно исследовался разнородный материал: история и современное состояние "чужих" языков, история русского языка и литературы. В.В. Виноградов уже в 1959 году констатировал факт отказа филологов от исследования материала советской словесности: "Однако, как это ни покажется парадоксальным, многим нашим филологам представлялась стилистическая почва русской классической литературы XIX в. более твердой и удобной базой для решения общих проблем изучения языка художественной литературы – в связи с исследованием закономерностей развития русского литературного языка" [Виноградов 1978: 239] (см. также [Виноградов 1955]). Виноградовские исследования языка А. Ахматовой, М. Зощенко относятся к первому периоду.

Марризм, претендовавший на статус "марксистского языкознания", материал современной русской речи игнорировал. Риторика и как филологическая теория, и как практика не разрабатывалась и была удалена из учебного предмета.

Отношение к разработкам предшествующего периода было соответствующее: они не были востребованы, а часто – запрещены. Так обстояло дело с исследованиями А.М. Селищева и Е.Д. Поливанова. Оба ученых были репрессированы, но А.М. Селищев остался жив и вернулся к филологической работе. Он попытался переработать свою запрещенную книгу, "исправить ошибки", указанные критикой, но в конце концов понял неосуществимость этой задачи [Ашнин, Алпатов 1994: 155]. Его книга была квалифицирована как "клевета на нашу революцию" [Ашнин, Алпатов 1994: 27], "как гнусная клевета на партию, на наших вождей, на комсомол, на революцию" [Ашнин, Алпатов 1994: 152].

Таким образом, культура этого периода избегала и даже запрещала аналитическое самописание. Это связано с присущей ей своеобразной "магией слова", отождествлявшей знак и денотат. А поскольку любой анализ – это разрушение целостности, аналитическое слово приравнивалось к разрушительному действию. Речь идет не только об обыденном сознании, но обо всей культуре. Вот пример реализации "магии слова" в филологической критике (слова выделены авторами. – А.Р.): «*Р.И. Аванесов и В.Н. Сидоров имели в программе по сбору диалектной лексики неосторожность написать, что новую советскую лексику типа **трактор**, **МТС** записывать не следует, поскольку она приходит из литературного языка сразу во все диалекты и не характеризует их специфику. Бесспорность этого положения очевидна, но Марьямов заявил: "Трудно поверить, что в наши дни, накануне тридцатилетия Великого Октября высказываются подобные мнения, да еще на страницах "Известий Академии наук"*» [Ашнин, Алпатов 1994: 178].

Приведем в заключение характеристики периода 30–50-х годов слова В.Г. Костомарова, "перебрасывающие мостик" к следующему периоду: "В результате к 50-м годам мы пришли с весьма закосневшей и строго насаждавшейся литературной нормой, вполне отвечавшей социально-политической ситуации тоталитарного государства. К концу первого послевоенного десятилетия против нее стали бороться – как своей практикой, так и теоретически – свободомыслящие писатели, и в первых их рядах был К.И. Чуковский" [Костомаров 1994: 248].

Третий период: 60-е годы. Филология предыдущего периода "не видела" в качестве объекта исследования советскую словесную культуру, в 60-е годы этот объект был не только "увиден", замечен, но и подвергнут (разумеется, не в полном объеме) и критическому, нормативному, и объективному анализу. Первым заговорил на эту тему К.И. Чуковский в книге "Живой как жизнь" [Чуковский 1990]. Пафос этой книги – критика канцелярита, который связывался, главным образом, с 30-ми годами. Канцелярит у К.И. Чуковского – это не только "болезнь языка", состоящая в употреблении элементов канцелярского стиля за его пределами. Это проблема советской словесной культуры, проявляющаяся и в речемыслительной

деятельности носителей культуры, и в словесности (в ее устройстве, функционировании, стиле). Разбор критики К.И. Чуковским канцелярита см. [Романенко 1997].

Лингвистическое "прояснение" проблемы советской словесной культуры связано, в первую очередь, с именем М.В. Панова, стоявшего "у истоков" московской школы функциональной лингвистики [Земская, Крысин 1998: 1]. В научной деятельности М.В. Панова с точки зрения рассматриваемой проблемы можно выделить два направления (тесно взаимосвязанных, но все же разных): социолингвистическое изучение русского языка советского времени и теоретическое обоснование выделения и изучения разговорной речи.

Первое направление развивало традиции отечественной филологической науки: «Тема "Русский язык и советское общество" была выдвинута академиком В.В. Виноградовым и профессором С.И. Ожеговым в 1958 г.» [Русский язык 1968а: 5]. Эта тема уже получила предварительную разработку в исследованиях С.И. Ожегова [Ожегов 1974], которые, хотя и были выполнены в 50-х годах, по своему пафосу принадлежали рассматриваемому периоду, были одной из его предпосылок (об этом см. [Скворцов 1982: 65–76; 2000]). Коллективную работу над темой возглавил М.В. Панов, обосновав и теоретически разработав принципы социолингвистического исследования материала [Панов 1962; 1963], руководя циклом изданий, описывающих русский язык в связи с историей советского общества [Земская, Крысин 1998]. Главным результатом этой деятельности явился капитальный четырехтомный труд [Русский язык 1968а; 1968б; 1968в; 1968г].

Это исследование по своей научной и культурной значимости вполне сопоставимо с филологической рефлексией 20-х годов, с работами А.М. Селищева и Е.Д. Поливанова. И не случайно авторы монографии постоянно апеллируют к ним. Рассмотрим, во-первых, черты монографии, сближающие ее с рефлексией 20-х, во-вторых, различающие.

Сближает монографию с работами первого периода, и в частности с книгой А.М. Селищева, широкий охват материала: от литературного языка до народных говоров. Такой широкий охват нужен для общей цели: выявить новое качество языка. Авторы не склонны говорить об особом "социалистическом" или "советском" языке. "Но определенное целостное единство всех процессов, протекающих в языке социалистического общества, характерно именно для этого общества" [Русский язык 1968а: 36]. Это значит, что признается культурно детерминированная новизна языка. Пафос исследования и заключается в выявлении такой новизны. В связи с этим пафосу монографии присуща и антипуристическая окрашенность [Русский язык 1968а: 37–39]. Соответственно формулируются и теоретические принципы описания материала. Социальная обусловленность языка проявляется в том, что внутренние, имманентные причины языкового развития не противопоставляются внешним, собственно социальным, наоборот, вслед за В.В. Виноградовым, говорится об их зависимости от внешних, о единстве тех и других [Русский язык 1968а: 35–36]. При этом специально оговаривается условность знака, что сближает методологию работы с взглядами, например, Е.Д. Поливанова и отгораживает ее от теории языка предшествующего периода [Русский язык 1968а: 19]. Эта теоретическая предпосылка дала возможность разработать принципы и приемы структурного описания материала (система антиномий), показать системный детерминизм знака.

Отличия монографии от рефлексии 20-х в следующем. Охват материала все же уже, чем, скажем, у А.М. Селищева (но, разумеется, не только у него). Исследуется только литературный язык, нелитературная, просторечная языковая стихия, в которой новизна также проявлялась, для описания не привлекается. Не привлекается для анализа и речь вождей, партийные и правительственные документы, хотя эта часть словесности была во многом источником новшеств. Это объяснимо различиями в объекте исследования: А.М. Селищев исследовал, как говорилось, не столько язык, сколько речь, в монографии же описывается именно язык, причем не послере-

волюционной эпохи, а современный литературный. Кроме того, были и определенные этические мотивы ограничения материала (например, партийные документы не могли слушать лингвистическим источником из-за их ритуальной значимости). Задача оплзания современного языка была решена социологически, методами опроса информантов – это материал сугубо современный. Впрочем, авторы монографии прекрасно видели необходимость расширения материала и намечали в качестве дальнейших исследований по теме широкое описание речи, и художественной, и нехудожественной [Русский язык 1968а: 49].

Такого рода исследования проводились тогда же. В 1968 году вышел сборник, посвященный исследованию динамики функциональных стилей (разговорного, публицистического, научного, делового) в советскую эпоху [Винокур 1968; Логинова 1968; Сиротина и др. 1968]. В провинциальных вузах тематика, связанная с изучением русского языка советской эпохи, стала актуальной [Протченко 1975: 5].

Второе направление, связанное с деятельностью М.В. Панова и способствовавшее "прояснению" в качестве объекта советской словесной культуры, это теоретическое обоснование изучения разговорной речи.

В 1967 году М.В. Панов дал социокультурную характеристику понятию разговорной речи, придав ей статус особого языка, противопоставленного литературному письменному по признаку неофициальность/официальность отношений между говорящими [Русская разговорная речь 1973: 22]. Развернутый анализ этого вопроса содержится в его монографии об истории русского произношения, написанной в 60-х, законченной в 1970-м, опубликованной в 1990 году [Панов 1990]. В ней дана и периодизация русского литературного языка советской эпохи, и характеристика советской официальной словесной культуры 30–50-х годов. О последней говорится как о "среднекультурном, сероватом уровне литературной речи", о "однообразно-невывразительной речи, (...) с безразличием к стилистическим различиям" [Панов 1990: 16]. Это "нейтральный стиль", на фоне которого выделяется "разговорный язык": "Последние десятилетия – время оказывания языка, перегрузки его штампами, понижения его стилистической гибкости и отзывчивости. Мы говорим не о языке писателей – среди них никогда не исчезали талантливые мастера (но к языку литературы классического социалистического реализма эта характеристика приложима вполне. – А.Р.). Имеется в виду повседневная речь, официальная и полуофициальная. Она заполнила наш быт и полностью господствует в служебных, деловых, общественных и производственных, тем более – официально учрежденческих отношениях.

И вполне естественно, что появился противовес этой казенной речи. Возникла особая коммуникативная система: разговорный язык (РЯ). Он противопоставлен кодифицированному литературному языку (КЛЯ), тому языку, который является героем всех учебников, описаний и руководств" [Панов 1990: 19]. Уточним: "герой учебников" (КЛЯ) – это не только канцелярит, о котором здесь идет речь и в "противовес" которому возникает РЯ. КЛЯ шире и используется не только в официальной сфере.

Существенно также отметить, что разграничение проводится в сфере "отношений" носителей, то есть в этосе, а не в логосе: "Всякое разграничение в языке имеет смысл, наделено значением. Значимо и разграничение КЛЯ – РЯ. На РЯ говорят в тех случаях, когда нужно показать, что отношения между говорящими дружеские, приятельские, добрососедские, отношения хороших знакомых или незнакомых, но расположенных друг к другу людей. Таким образом, РЯ говорит о самом говорящем и о его собеседнике (или собеседниках), об их отношениях" [Панов 1990: 19]. Пафос этого противопоставления – это пафос и К.И. Чуковского, который закончил книгу о канцелярите словами: "Когда нам удастся уничтожить вконец бюрократические отношения людей, канцелярит сам собою исчезнет" [Чуковский 1990: 651].

РЯ, по М.В. Панову, реализуется прежде всего в устной речи и проявляется лишь при условии отхода от официальности общения. "Именно из-за этой скрытности РЯ

(появляется только в определенных условиях, не способен точно и всесторонне фиксироваться на письме) он долго оставался незамеченным исследователями. Подлинное его открытие произошло в 60-х годах нашего века" (как и официальный языкового стандарта, несмотря на его открытость. – А.Р.). Разумеется, РЯ был заслонен канцеляритом, но "незамеченной" оставалась в 30–50-е годы вся советская словесная культура. В 60-х же годах филологи "заметили" РЯ и канцелярит одновременно в результате рефлексивности этого периода истории культуры.

Далее М.В. Панов ставит вопрос: когда возникает РЯ? Анализируя факты отражения живой речи в письменной словесности, он приходит к выводу: «Не говорит ли это о том, что РЯ возник в XX в.? "Накапливался", может быть, долго, но как целостная система он, скорее всего, дитя XX в. Возник в качестве отпора слишком строгой официальной жизни» [Панов 1990: 21]. Таким образом, РЯ как реакция на официальный языковой стандарт (канцелярит) возникает либо одновременно с ним, либо позже. Хотя, конечно, разговорная речь, не имеющая такого социокультурного противопоставления, существовала и раньше. Существует она и сейчас и часто называется разговорным стилем. По этому поводу М.В. Панов делает специальное примечание: «Следует различать: а. Разговорный стиль. Он существует в пределах КЛЯ. Это о нем помета в словарях – "разг." Язык "Горе от ума" – разговорный – это тоже о нем, о стиле. б. Разговорный язык. Существует вне пределов КЛЯ. Вместе с ним образует современный русский язык. О нем мы здесь и говорим» [Панов 1990: 21]. Если не руководствоваться описанным пафосом противопоставления, то подобный же материал можно интерпретировать иначе – не как язык, а как речь. Такой подход реализован в саратовской школе изучения разговорной речи, возникшей также в 60-х годах.

Итак, выделение разговорного языка вызвано антиканцелярским пафосом и проведено по критериям этоса (а не логоса, лингвистическим). Это говорит о том, что данный факт относится не столько к истории литературного языка, сколько к истории советской словесной культуры.

Исследовательская концепция М.В. Панова противостояла нерефлексивной культурной позиции предшествовавшего периода. И, естественно, не могла встретить понимания со стороны представителей этой позиции. Для иллюстрации этого приведем оценку концепции РЯ Ф.П. Филиным, использовавшим для этого характерную лексику своего времени (слова в цитате выделены нами. – А.Р.): «**Некоторые лингвисты** склонны считать неподготовленную разговорно-бытовую речь особым "разговорным языком", имеющим свою самостоятельную систему. Это **явное преувеличение**, которое **доказать невозможно**. Письменно-литературная и разговорно-бытовая разновидности литературного языка органически переплетаются друг с другом, постоянно взаимодействуют, питая и обогащая друг друга, причем **ведущая роль** остается за письменно-литературной разновидностью. Говорим и пишем мы при всех жизненных обстоятельствах на одном, а не на двух литературных языках. **Утверждать обратное – значит превратно толковать** понятия "язык" и "языковая система".

Попутно следует заметить, что вообще **не следует злоупотреблять** термином "язык"» [Русский язык 1974: 118]. В той же работе Ф.П. Филин возражает против термина Е.Д. Поливанова "стандартный язык", обозначающего литературный норматив эпохи: «Однако название "стандартный" **неприемлемо**, по крайней мере, на русской почве, потому что одно из двух значений этого термина – **лишенный оригинальности**, своеобразия; **шаблонный, трафаретный**» [Русский язык 1974: 107]. Нельзя не видеть во взглядах Ф.П. Филина тревоги по поводу возможного "прояснения" канцелярской сущности советского языкового стандарта. Но это реакция на рефлекссию 60-х последующего периода, 70-х.

К 60-м годам нужно отнести и сборник работ о языке советской художественной литературы [Вопросы 1971]. Этот сборник, как и упоминавшийся ранее [Развитие 1968], развивал неразработанное, но намеченное группой М.В. Панова направ-

ление – исследование речи. Н.А. Кожевникова, один из авторов сборника, впоследствии продолжила исследование советской художественной литературы с точки зрения отражения в ее языке особенностей советской словесной культуры [Кожевникова 1971а; 1971б; 1977; 1998].

Филологическая рефлексия этого периода выразилась и лексикографически. Вышел 17-томный толковый словарь (М., 1950–1965), составленный на широком круге источников. Но особую значимость для разбираемой проблемы имеет выход словаря сокращений [Словарь 1963] Д.И. Алексеева и др. Материал этого словаря имеет прямое отношение к проблеме специфики советской словесной культуры и продолжает традицию филологической рефлексии первого периода (словарь П.Х. Спасского).

И наконец, показательны для характеристики 60-х годов публикации сборников трудов Е.Д. Поливанова [Поливанов 1968] и А.М. Селищева [Селищев 1968а], в которых нашли место и работы ученых о языке советской эпохи.

Четвертый период: 70-е – первая половина 80-х. Изучение различных аспектов советской словесной культуры в это время не прекратилось, но исследовательская активность 60-х не только не поощрялась, но и осуждалась (имеем в виду не только политическое давление власти, а культурное противодействие).

Так, материалы по теме "Русский язык и советское общество", полученные с помощью вопросников, были использованы лишь частично и работа по их анализу и описанию прекратилась. В 1970 году М.В. Панов был вынужден уйти из Института русского языка [Земская, Крысин 1998: 3]. Его книга по истории русского произношения, завершенная в 1970 году, 20 лет лежала в архиве Института и была опубликована в 1990 году.

Но работа по изучению темы продолжалась, хотя во многом и утратила аналитизм и критичность. Так, монография И.Ф. Протченко [Протченко 1975], содержащая интересный фактический материал, по своей методологии была апологетична, избегала критического анализа языковых фактов, старалась придать их интерпретации пропагандистский характер и поэтому как источник для изучения словесной культуры оказалась малозначимой. Такого рода описаний, в основном, учебного характера, появилось множество.

В качестве же вполне научно достоверных, аналитических исследований нужно назвать монографии В.Г. Костомарова [Костомаров 1971], Д.Н. Шмелева [Шмелев 1977] и Д.И. Алексеева [Алексеев 1979]. Последний, один из авторов упоминавшегося словаря сокращений (1963 г.), выполнил исчерпывающее описание русских графических сокращений, на фоне которого советские аббревиатуры предстают как факт советской словесной культуры.

Появилось в это время и систематическое нормативное руководство по советской ораторике [Ножин 1981]. Правда, в нем содержались рекомендации общего характера, и советская риторическая практика отражения в нем почти не получила.

Нужно сказать еще об одном важном научном мероприятии этого времени: в 1972 году началась работа по составлению словаря языка Ленина. Изучение языка Ленина не прекращалось в советской филологии, хотя приобрело, по сравнению с 20-ми годами, пропагандистски-идеологический характер. Создание такого словаря было необходимо для исследования советской словесности. Впрочем, работа над словарем приобрела идеологизированный характер, что привело в дальнейшем к закрытию (все же неразумному) темы.

Пятый период: вторая половина 80-х–90-е годы. Литература этого периода – это современное состояние вопроса. Несмотря на вал разоблачительных публикаций о советской культуре в массовой печати второй половины 80-х, научная продукция появилась лишь в 90-х годах после осмысления проблемы в изменяющемся на глазах этосе.

В 1990 году вышла уже упоминавшаяся книга об истории русского произношения М.В. Панова. В 1992 году в журнале "Театр" появилась большая статья театрального критика Н. Велеховой "Мистерия русского языка" [Велехова 1992], в которой с поразительной точностью охарактеризованы некоторые принципиально важные черты советской словесной культуры. В 1995 году выходит в свет монография Н.А. Купиной "Тоталитарный язык", в которой на материале толкового словаря под редакцией Д.Н. Ушакова описываются закономерности формирования и структурирования "советской" (идеологизированной) семантики. При этом важно, что автор, стараясь описать специфику семантики, не ограничивается языком, а разрабатывает понятие сверхтекста [Купина 1995]. В 1997 году издается в Польше коллективная монография российских лингвистов [Русский язык 1997], в которой описание начинается с 1945 года. Эта дата имеет значение не для истории русского литературного языка, а для истории экспансии советского тоталитаризма (в том числе словесного), но все же это первое описание русского официального языка сталинской эпохи. Важны и интересны также работы менее объемных жанров [Михеев 1991; Нерознак, Горбаневский 1991; Федосюк 1992а; 1992б; Шмелева 1993; 1994; Кронгауз 1994; 1999; Левин 1994; 1998; Басовская 1995; Земская 1996а; 1996б; Крысин 1996а; 1996б; Ермакова 1996; 1997а; 1997б; 2000 (анализ изменений в семантике в связи с изменениями культурными) и др.].

Изучение советской риторики началось раньше. Ю.В. Рождественский охарактеризовал такие существенные черты этой риторики (и словесной культуры в целом), как тенденция к единству семантической информации, устройство речевой жизни общества в соответствии с принципом демократического централизма и др. [Рождественский 1984; 1985; 1996б; 1997; 1999]. В 1996 году А.К. Михальская издает свои книги по риторике [Михальская 1996а; 1996б], в которых (особенно в последней) ставятся проблемы советской словесной культуры и теоретически, и описательно (например, анализ речи Сталина). Особенно интересны разработки понятий риторического идеала и логосферы, близкие понятиям словесной культуры и образа ратора. В 2001 году в России вышла в свет книга М. Вайскопфа "Писатель Сталин" [Вайскопф 2001], в которой впервые анализируется язык и риторика Сталина. Причем автор, хотя и именует Сталина писателем, видит в нем прежде всего ратора, постоянно, кроме индивидуальных черт стиля вождя, отмечая черты культурно и социально значимые.

Нельзя не упомянуть и выход в свет "Толкового словаря языка Совдепии" В.М. Мокиенко и Т.Г. Никитиной [Мокиенко, Никитина 1998]. Однако научная значимость этого издания сомнительна: принципы формирования словника основаны не на анализе материала и не на следовании русской лексикографической традиции, а на пафосе сегодняшней массовой информации; источниками для словаря послужила словесность, в основном, 60–90-х годов; среди источников лингвистических нет даже книги А.М. Селищева; сами толкования значений, когда они выходят за пределы использованных словарей, мягко говоря, непрофессиональны (см., например, статью "Новояз").

Важны для понимания специфики советской словесной культуры и исследования по истории советского языкознания, особенно по истории "марксистского языкознания", тем более что эти проблемы имели общекультурное значение в связи с ролью в их разработке Сталина. Эту тему, насколько нам известно, начал В.А. Звегинцев [Звегинцев (1989) 2001]. В 1991 году появляются книги по истории марризма и его сталинской критики [Горбаневский 1991 (популярная); Алпатов 1991]. В.М. Алпатов продолжил эту тему [Алпатов 1992; 1994; 1995; Алпатов, Ашнин 1994]. В 2001 году вышла очень важная для исследования истории советской лингвистики антология под редакцией В.П. Нерознака [Сумерки лингвистики 2001].

Проблемы советской словесной культуры затрагиваются и в работах литературоведческого, культуроведческого, исторического характера. Назовем лишь те, без которых история советской словесной культуры была бы неполна. Это литературо-

ведческие работы В Н Турбина, Е А Добренко, М О Чудаковой [Турбин 1990, 1994, Добренко 1993, 1997, 1999, Чудакова 2001]

Принципиально важна монография В З Паперного «Культура "Два"» [Паперный 1996] Она была написана в 70-х годах, опубликована за рубежом в 1985, в России – в 1996 году В З Паперный впервые показал гетерогенность и динамичность советской культуры (вопреки установившемуся в культуроведении взгляду на монолитность и монологизм тоталитаризма)

Особую значимость для исследования советской словесной культуры имеет монография В В Глебкина "Ритуал в советской культуре" [Глебкин 1998] Разрабатываемое автором понятие экзистенциала (не в смысле М Хайдеггера) показывает культурно-семиотическую осмысленность советского ритуала (отграничивая его от церемонии), что чрезвычайно важно для характеристики речевого поведения советского человека, для понимания советского образа ратора Одну из задач исследования В В Глебкин формулирует так «Нас () интересует "советский человек" – "идеальный носитель" советской культуры, реконструируемый по ее письменным источникам, то есть по газетным и журнальным материалам Подчеркнем, что речь идет об "идеальном типе" советского человека, а не о реальной картине, которая была значительно более сложной и соответствовала "идеальному типу" лишь в первом приближении» [Глебкин 1998 112] Это, разумеется, образ ратора В В Глебкин весьма плодотворно использует для анализа своего материала понятия потенциального текста и симпрактической культуры

Чрезвычайно ценна работа историков по публикации неизвестных архивных материалов [Литературный фронт 1994, История 1997, Общество и власть 1998, Власть 1999 и др]

Таким образом, изложенная история изучения советской словесной культуры показывает непосредственную связь общественно-языковой практики и теории языка, которую необходимо учитывать при изучении как истории науки, так и истории словесной культуры В советской истории эта связь проявилась, по-видимому, особенно четко, что, безусловно, зависело от авторитаризма и тоталитаризма культуры Но, заметим, не исчерпывалось этим обстоятельством

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Алексеев Д И 1979 – Сокращенные слова в русском языке Саратов, 1979
- Алпатов В М 1991 – История одного мифа Марр и марризм М, 1991
- Алпатов В М 1992 – Марксизм и марризм (заметки неисторика) // Восток 1992 № 3
- Алпатов В М 1994 – Общественное сознание и языковая политика в СССР (20–40 гг) // Язык в контексте общественного развития М, 1994
- Алпатов В М 1995 – Книга Марксизм и философия языка и история языкознания // ВЯ 1995 № 5
- Ашин Ф.Д., Алпатов В М 1994 – Дело славистов 30-е годы М, 1994
- Баранников А 1919 – Из наблюдений над развитием русского языка в последние годы 1 Влияние войны и революции на развитие русского языка // Уч зап Самарского ун-та 1919 Вып 2
- Басовская Е Н 1995 – Художественный вымысел Оруэлла и реальный советский язык // РР 1995 № 4
- Вайскопф М 2001 – Писатель Сталин М, 2001
- Велехова Н 1992 – Мистерия русского языка // Театр 1992 № 9
- Верховской П В 1930 – Письменная деловая речь Словарь, синтаксис и стиль Разбор бюрократических шаблонов и нарушений грамматики в языке документов М, 1930
- Виноградов В В 1928 – Язык Зощенки (заметки о лексике) // Михаил Зощенко Статьи и материалы Л 1928
- Виноградов В В 1955 – Заметки о языке советских художественных произведений // Вопросы культуры речи М, 1955 Вып 1
- Виноградов В В 1978 – История русских лингвистических учений М, 1978

- Виноградов В В* 1980 – О языке художественной прозы Избранные труды М, 1980
- Винокур Г О* 1923 – О революционной фразеологии (один из вопросов языковой политики) // ЛЕФ 1923 № 2
- Винокур Г О* 1925 – Культура языка Очерки лингвистической технологии М, 1925
- Винокур Г О* 1928а – Печать и революция 1928 Кн 2 Рец – Селищев А М Язык революционной эпохи Из наблюдений над русским языком последних лет (1917–1926) М, 1928
- Винокур Г О* 1928б – Глагол или имя? // Русская речь Новая серия Л, 1928 III
- Винокур Г О* 1945 – Русский язык М, 1945
- Винокур Т Г* 1968 – Об изучении функциональных стилей русского языка советской эпохи (к постановке вопроса) // Развитие функциональных стилей современного русского языка М, 1968
- Власть 1999 – Власть и художественная интеллигенция Документы ЦК РКП(б) – ВКП(б) ВЧК – ОГПУ – НКВД о культурной политике 1917–1953 М, 1999
- Вопросы 1971 – Вопросы языка современной русской литературы М, 1971
- Габо В* 1924 – Новые слова в русском языке // Русский язык в советской школе 1924 № 5
- Георгиади Я* 1929 – Ценный материал, но плохо использован // Вопросы просвещения на Северном Кавказе 1929 Кн 14
- Глебкин В В* 1998 – Ритуал в советской культуре М, 1998
- Гольдин В Е, Сиротинина О Б* 1997 – Речевая культура // Русский язык Энциклопедия М, 1997
- Горбаневский М В* 1991 – В начале было слово Малоизвестные страницы истории советской лингвистики М, 1991
- Горнфельд А Г* 1922 – Новые словечки и старые слова Речь на съезде преподавателей русского языка и словесности в Петербурге 5 сентября 1921 г Пг, 1922
- Гофман В* 1932 – Слово оратора (Риторика и политика) Л, 1932
- Гофман В* 1935а – Реторика, или риторика // Литературная энциклопедия М, 1935 Т 9
- Гофман В* 1935б – Речь ораторская // Литературная энциклопедия М, 1935 Т 9
- Граудина Л К, Миськевич Г И* 1989 – Теория и практика русского красноречия М, 1989
- Гус М* 1929 – О вреде бюрократического языка // Журналист 1929 № 4
- Гус М* 1931 – Принципы рационализации делового языка // Революция и язык 1931 № 1
- Гус М, Загорянский Ю, Каганович Н* 1926 – Язык газеты М, 1926
- Данилов Г К* 1929 – Программа по собиранию материалов для словаря русского рабочего послеоктябрьской эпохи (1917–1929) М, 1929
- Делерт Д* 1924 – Новые имена Ростов на-Дону, 1924
- Добренко Е* 1993 – Метафора власти Литература сталинской эпохи в историческом освещении Munchen, 1993
- Добренко Е* 1997 – Формовка советского читателя Социальные и эстетические предпосылки рецепции советской литературы СПб, 1997
- Добренко Е* 1999 – Формовка советского писателя Социальные и эстетические истоки советской литературной культуры СПб, 1999
- Добромыслов В А* 1932 – К вопросу о языке рабочего подростка М, 1932
- Дрезен Э К* 1928 – За всеобщим языком (Три века исканий) С предисл Н Я Марра М Л, 1928
- Дрезен Э* 1933 – Языки контрреволюции Реакционные теории в современной космоглотике // Новые проблемы языкознания М 1933
- Ермакова О П* 1996 – Глава I Семантические процессы в лексике // Русский язык конца XX столетия (1985–1995) М, 1996
- Ермакови О П* 1997а – Советская экономика и быт в семантике слов // Studia slavica Finlandensia Т XIV Оценка в современном русском языке Helsinki, 1997
- Ермакова О П* 1997б – Тоталитарное и посттоталитарное общество в семантике слов // Русский язык Орле, 1997
- Ермакова О П* 2000 – Новые семантические оппозиции старых названий лиц // Культурно-речевая ситуация в современной России / Под ред Н А Купиной Екатеринбург, 2000
- Звезинцев В А* 2001 – Что происходит в советской науке о языке // Сумерки лингвистики Из истории отечественного языкознания Антология М, 2001
- Земская Е А* 1996а – Введение // Русский язык конца XX столетия (1985–1995) М, 1996

- Земская Е А* 1996б – Клише новояза и цитация в языке постсоветского общества // *ВЯ* 1996 № 3
- Земская Е А, Крысин Л П* 1998 – Московская школа функциональной социолингвистики Итоги и перспективы исследований М, 1998
- История* 1997 – История советской политической цензуры Документы и комментарии М, 1997
- Казанский Б* 1924 – Речь Ленина Опыт риторического анализа // *ЛЕФ* 1924 № 1 (5)
- Капорский С А* 1927 – Воровской жаргон в среде школьников (по материалам обследований ярославских школ) // *Вестник просвещения* 1927 № 1
- Карцевский С И* 2000 – Из лингвистического наследия М, 2000
- Кожевникова Н А* 1971а – О типах повествования в советской прозе // *Вопросы языка современной русской литературы* М, 1971
- Кожевникова Н А* 1971б – Отражение функциональных стилей в советской прозе // *Вопросы языка современной русской литературы* М, 1971
- Кожевникова Н А* 1977 – Из истории языка советской литературы // *Облик слова* Сб статей М, 1997
- Кожевникова Н А* 1998 – Язык советского общества в изображении М А Булгакова // *Лики языка К 45-летию научной деятельности Е А Земской* М, 1998
- Кожин А Н* 1963 – Из истории изучения развития словарного состава русского языка в советском обществе // *Уч зап МОПИ* 1963 Т 138 Вып 8
- Корицкий Э Б, Лавриков Ю А, Омаров А М* 1990 – Советская управленческая мысль 20-х годов Краткий именной справочник М, 1990
- Костомаров В Г* 1971 – Русский язык на газетной полосе М, 1971
- Костомаров В Г* 1994 – Языковой вкус эпохи Из наблюдений над речевой практикой масс медиа М, 1994
- Кронгауз М А* 1994 – Бессилие языка в эпоху зрелого социализма // *Знак* Сб статей по лингвистике, семиотике и поэтике памяти А Н Журицкого М, 1994
- Кронгауз М А* 1999 – Обращения как способ моделирования коммуникативного пространства // *Логический анализ языка Образ человека в культуре и языке* М, 1999
- Крысин Л П* 1996а – Религиозно-проповеднический стиль и его место в функционально-стилистической парадигме современного русского литературного языка // *Поэтика Стилистика Язык и культура Памяти Татьяны Григорьевны Винокур* М, 1996
- Крысин Л П* 1996б – Эвфемизмы в современной русской речи // *Русский язык конца XX столетия (1985–1995)* М, 1996
- Купина Н А* 1995 – Тоталитарный язык Словарь и речевые реакции Екатеринбург, Пермь, 1995
- Купина Н А* 1999 – Языковое сопротивление в контексте тоталитарной культуры Ека теринбург, 1999
- Ларин Б А* 1928 – О лингвистическом изучении города // *Русская речь* Новая серия Л, 1928 III
- Левин Ю И* 1994 – Истина в дискурсе // *Семиотика и информатика* М, 1994
- Левин Ю И* 1998 – Семиотика советских лозунгов // *Левин Ю И Избранные труды Поэтика Семиотика* М, 1998
- Леонтьев А А* 1968 – Исследования поэтической речи // *Теоретические проблемы советского языкознания* М, 1968
- Литературный фронт* 1994 – Литературный фронт История политической цензуры 1932–1946 гг Сборник документов М, 1994
- Лихачев Д С* 1993 – Статьи ранних лет Тверь, 1993
- Лобов Л* 1928 – Просвещение на Урале 1928 № 4 Рец – Селищев А М Язык революционной эпохи Из наблюдений над русским языком последних лет (1917–1926)
- Логинава К А* 1968 – Деловая речь и ее стилистические изменения в советскую эпоху // *Развитие функциональных стилей современного русского языка* М, 1968
- Лупова Е П* 1927 – Из наблюдений над речью учащихся в школах II ступени Вятского края // *Труды Вятского научно-исследовательского института краеведения* 1927 Т III
- Меромский А Г* 1930 – Язык селькора М, 1930
- Мещерский Н А* 1981 – История русского литературного языка Л, 1981
- Миртов А В* 1924 – Техника доклада Артемовск, 1924

- Миртов А В* 1927 – Уменьше говорить публично М, 1927
- Миртов А В* 1930 – Об агитации и пропаганде Ростов-на-Дону 1930
- Михальская А К* 1996а – Основы риторики Мысль и слово М, 1996
- Михальская А К* 1996б – Русский Сократ Лекции по сравнительно-исторической риторике М, 1996
- Михеев А* 1991 – Язык тоталитарного общества // Вестник АН СССР 1991 № 8
- Мокиенко В М, Никитина Т Г* 1998 – Толковый словарь языка Совдепии СПб, 1998
- Нерознак В П Горбаневский М В* 1991 – Советский "новояз" на географической карте (О штампах и стереотипах речевого мышления) М, 1991
- Ножин Е А* 1981 – Основы советского ораторского искусства М., 1981
- Общество и власть 1998 – Общество и власть 1930-е годы Повествование в документах М 1998
- Одесский М П* 1999 – Вокруг полемики Г О Винокура и А М Селищева научный и социальный аспекты // Язык Культура Гуманитарное знание Научное наследие Г О Винокура и современность М, 1999
- Ожегов С И* 1974 – Лексикология Лексикография Культура речи М, 1974
- Ольгин А* 1928 – Изучение языка // Журналист 1928 № 1
- Панов М В* 1962 – О развитии русского языка в советском обществе (К постановке проблемы) // ВЯ 1962 № 3
- Панов М В* 1963 – О некоторых общих тенденциях в развитии русского литературного языка XX века // ВЯ 1963 № 1
- Панов М В* 1990 – История русского литературного произношения XVIII–XX вв М, 1990
- Паперный В* 1996 – Культура Два М, 1996
- Пешиковский А М* 1925 – Сборник статей Методика родного языка, лингвистика, стилистика, поэтика Л, М, 1925
- Поливанов Е Д* 1927 – О литературном (стандартном) языке современности // Родной язык в школе М, 1927 Сб 1
- Поливанов Е Д* 1928 – Родной язык и литература в трудовой школе 1928 № 3 Рец – Селищев А М Язык революционной эпохи Из наблюдений над русским языком последних лет (1917–1926) М, 1928
- Поливанов Е Д* 1931 – За марксистское языкознание Сборник популярных лингвистических статей М, 1931
- Поливанов Е Д* 1968 – Статьи по общему языкознанию М, 1968
- Поливанов Е Д* 1991 – Труды по восточному и общему языкознанию М, 1991
- Протченко И Ф* 1975 – Лексика и словообразование русского языка советской эпохи Социолингвистический аспект М, 1975
- Развитие 1968 – Развитие функциональных стилей современного русского языка М, 1968
- Рево Л* 1933 – Международный язык – орудие борьбы за единство рабочего класса // На путях к международному языку М, Л 1933
- Рожанский А* 1935 – За коммунистическое просвещение 1935 22 янв Рец – Селищев А М Язык революционной эпохи Из наблюдений над русским языком последних лет М, 1928
- Рождественский Ю В* 1984 – Актуальные проблемы социалистической советской риторики // Риторика и стиль М, 1984
- Рождественский Ю В* 1985 – Слово в нашей жизни // Вопросы лекционной пропаганды М, 1985 Вып 9
- Рождественский Ю В* 1996а – Введение в культуроведение М, 1996
- Рождественский Ю В* 1996б – Общая филология М, 1996
- Рождественский Ю В* 1997 – Теория риторики М, 1997
- Рождественский Ю В* 1999 – Принципы современной риторики М, 1999
- Романенко А П* 1997 – Канцелярит риторический аспект (О книге К И Чуковского Живое как жизнь) // Риторика 1997 № 1 (4)
- Романенко А П* 2000 – Советская словесная культура образ ратора Саратов, 2000
- Романенко А П* 2001 – Советская философия языка Е Д Поливанов – Н Я Марр // ВЯ 2001 № 2
- Русская разговорная речь 1973 – Русская разговорная речь М, 1973
- Русский язык 1997 – Русский язык Opole, 1997

- Русский язык 1974 – Русский язык в современном мире М, 1974
- Русский язык 1962 – Русский язык и советское общество Проспект Авторы С И Ожегов, М В Панов Алма-Ата, 1962
- Русский язык 1968а – Русский язык и советское общество (социолого-лингвистическое исследование) Лексика современного русского литературного языка / Под ред М В Панова М, 1968
- Русский язык 1968б – Русский язык и советское общество (социолого-лингвистическое исследование) Словообразование современного русского литературного языка / Под ред М В Панова М, 1968
- Русский язык 1968в – Русский язык и советское общество (социолого-лингвистическое исследование) Морфология и синтаксис современного русского литературного языка / Под ред М В Панова М, 1968
- Русский язык 1968г – Русский язык и советское общество (социолого-лингвистическое исследование) Фонетика современного русского литературного языка Народные говоры / Под ред М В Панова М, 1968
- Рыбникова М А* 1937 – Введение в стилистику М, 1937
- Рыт Е М* 1936 – Ленин о языке и язык Ленина М, 1936
- Селищев А М* 1928 – Язык революционной эпохи Из наблюдений над русским языком последних лет (1917–1926) М, 1928
- Селищев А М* 1968а – Избранные труды М, 1968
- Селищев А М* 1968б – Революция и язык // Селищев А М Избранные труды М, 1968
- Селищев А М* 1968в – Выразительность и образность языка революционной эпохи // Селищев А М Избранные труды М, 1968
- Сиротинина О Б и др* 1968 – Некоторые жанрово-стилистические изменения советской публицистики // Развитие функциональных стилей современного русского языка М, 1968
- Скворцов Л И* 1982 – С И Ожегов Пособие для учащихся М, 1982
- Скворцов Л И* 1987 – О языке первых лет Октября // РР 1987 № 5
- Скворцов Л И* 2000 – Сергей Иванович Ожегов – человек и словарь (к 100-летию со дня рождения) // ВЯ 2000 № 5
- Словарь 1949 – Словарь русского языка / Сост С И Ожегов М, 1949
- Словарь 1924 – Словарь советских терминов и наиболее употребительных иностранных слов / Под ред П Х Спасского П Новгород, 1924
- Словарь 1963 – Словарь сокращений русского языка 12 500 сокращений / Под рук Д И Алексеева Под общей ред Б Ф Корицкого М, 1963
- Суворовский А М* 1926 – Язык труда Ярославль, 1926
- Сумерки лингвистики 2001 – Сумерки лингвистики Из истории отечественного языкознания Антология / Составление и комментарии В Н Базылева, В П Нерознака М, 2001
- Сычев О А* 1995 – Избранные отечественные публикации по проблемам риторики за 1790–1927 годы // Риторика 1995 № 2
- Толковый словарь 1996 – Толковый словарь русского языка В 4 т / Под ред проф Д Н Ушакова М, 1996
- Турбин В Н* 1990 – Прощай, эпос? Опыт эстетического осмысления прожитых нами лет М, 1990
- Турбин В Н* 1994 – Незадолго до Водолея М, 1994
- Успенский Л В* 1928 – Язык революции // Пять искусств Л, 1928
- Федосюк М Ю* 1992а – Выявление приемов демагогической риторики как компонент полемиического искусства // Тезисы научной конференции 'Риторика в развитии человека и общества' Пермь, 1992
- Федосюк М Ю* 1992б – Лингвистические признаки демагогических текстов // Теория текста Лингвистический и стилистический аспекты Екатеринбург, 1992
- Финкель А* 1925 – О языке и стиле В И Ленина Харьков, 1925 Вып 1
- Черных П Я* 1923 – О новых словах // Этнографический бюллетень Иркутск, 1923 № 3
- Черных П Я* 1929 – 1 Современные течения в лингвистике 2 Русский язык и революция Иркутск, 1929
- Чистяков В Ф* 1935 – К изучению языка колхозника Смоленск, 1935
- Чудакова М О* 2001 – Избранные работы Т 1 Литература советского прошлого М, 2001
- Чуковский К И* 1990 – Живой как жизнь // Чуковский К Сочинения в двух томах М, 1990 Т 1

- Шмелев Д Н* 1977 – Русский язык в его функциональных разновидностях М, 1977
- Шмелева Т В* 1993 – Ключевые слова текущего момента // Collegium 1993 № 1
- Шмелева Т В* 1994 – Жанровая система политического общения // Политическое поведение и политические коммуникации Психологические, социологические и филологические аспекты Тезисы и тексты докладов российско-американской конференции Красноярск, 1994
- Шпильрейн И Н* 1929 – О перемене фамилий (социально-психологический этюд) // Психотехника и психофизиология труда 1929 П
- Шпильрейн И Н, Рейтынбарг Д И, Нецкий Г О* 1928 – Язык красноармейца Опыт исследования словаря красноармейца Московского гарнизона М, Л, 1928
- Шор Р О* 1926 – Язык и общество М, 1926
- Шерба Л В* 1925 – Культура языка // Журналист 1925 № 2
- Эйхенбаум Б* 1924 – Основные стилевые тенденции в речи Ленина // ЛЕФ 1924 № 1 (5)
- Якубинский Л П* 1924 – О снижении высокого стиля у Ленина // ЛЕФ 1924 № 1 (5)
- Якубинский Л П* 1926 – Ленин о революционной фразе и смежных явлениях // Печать и революция 1926 № 3
- Якубинский Л П* 1931 – Классовый состав современного русского языка // Литературная учеба 1931 № 7

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

© 2002 г. О.А. РАДЧЕНКО

**ПОНЯТИЕ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА
В НЕМЕЦКОЙ ФИЛОСОФИИ ЯЗЫКА XX ВЕКА***

Лингвофилософский концепт языковой картины мира можно было бы признать одним из антикварных украшений философии языка, ведь древность его вполне сопоставима с древностью последней. Однако эпитет "антикварный" совершенно не применим к этому лингвистическому *sine qua non*, о чем свидетельствуют не только тысячи отечественных и зарубежных публикаций, но и более шести тысяч сайтов во Всемирной паутине, так или иначе связанных с описанием различных качеств, структуры, гносеологической роли языковой картины мира, равно как и поиску доказательств в пользу ее существования и аргументов против такового. Историограф современной отечественной философии языка испытал бы, тем самым, значительные трудности, решишь он составить относительно полный каталог работ и список авторов, подпадающих под данную рубрику, тем более что подобный прецедент в мировой лингвоисториографии уже создан: когда в 1966 г. федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия начала финансирование издания "Библиографического словаря по исследованию языковых содержаний" для каталогизации европейских и американских работ о картине мира, ни авторы, ни ответственные лица министерства культуры не предполагали, что этот проект будет завершен лишь в 1988 г. и окажется в ряду самых трудоемких и дорогостоящих многотомных энциклопедических изданий, посвященных языку [Gipper, Schwarz 1966].

Не ставя перед собой подобной задачи относительно российской науки о языке, следует, тем не менее, курсивно обозначить тематику лингвофилософских штудий в нашей стране, тех "строительных блоков", из которых все же создается необходимая для изучения каждого языка обсерватория его картины мира.

Среди теоретических работ выделяются монографии, посвященные философскому осмыслению картины мира в русском и других славянских языках [Степанов 1997; Лихачев 1993; Арутюнова 1998; Булыгина, Шмелев 1997; Апресян 1995; Караулов 1987; Корнилов 1999; Кубрякова 1981; Пименова 1999; Постовалова 1987; Бондарко 2002], диалектным картинам мира [Закуткина 2001], мифологическому декодированию картин мира индоевропейских языков [Маковский 2000; Топорова 1994], словообразовательным и фразеологическим ресурсам картины мира [Вендина 1998; Телия 1996; Хайруллина 1996], истории идиоэтнического направления в философии языка [Радченко 1997]. В начале нового столетия уже проведены конференции по языковой картине мира в русском языке, например, международная конференция "Русский язык в кругу мировых языков в новом тысячелетии", которую в ноябре 2001 г. организовали Московский государственный лингвистический университет, Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН и Государственный институт

* Автор благодарит за помощь в подготовке этой статьи фонд им. Александра фон Гумбольдта (ФРГ).

русского языка им. А.С. Пушкина. Многочисленные научные проекты и направления российских вузов обращены к освещению языковой картины мира в самых разных ее модификациях.

"Картина мира" в ее дефинитивном аспекте многолика и поливариантна, обнаруживает множество частных признаков в рамках каждой авторской концепции, не опирается на общепризнанные определения. Терминологическая диффузность, зыбкость, эфемерность дополняются тем фактом, что картина мира вовсе не стала аксиоматичным феноменом в лингвистике, хотя ее вполне можно считать одним из фундаментальных признаков идиоэтнической парадигмы в современной философии языка. Логичная взаимосвязь первичной номинации, осуществлявшейся небольшими коллективами в уникальных географических и исторических условиях и отражавшей в каждом случае особую коллективную точку зрения на мир, закрепленную в конкретном языке, с одной стороны, и наличия особого этнического видения окружающей действительности в современном мире, с другой стороны, оспаривается универсалистами, прибегающими к тяжелым осадным орудиям – языковым контактам, заимствованиям, интернационализации и глобализации бытия и связанным с этим мутациям языков, следам исчезнувшей онтологической общности языков и т.п.

В этой связи поиски определения "картины мира" с позиции философии языка завершаются слишком гипотетичными выводами, а прикладные исследования навлекают на себя обвинения во фрагментарности доказательств существования особой картины мира в каждом языке.

Упомянутые эфемерность, зыбкость, диффузность концепта "языковой картины мира" – реликты романтической эпохи в языковедении, когда выстраивание языковой теории вовсе не превращалось в анатомический театр понятий и роскошное дефиле дефиниций и когда неспешно трудившийся в тиши своего кабинета философ языка мало походил на боевого генерала, подробно и обстоятельно разъясняющего своим штабным смысл предстоящих маневров. И даже если эти философы (как, к примеру, В. фон Гумбольдт) совершали революции и перевороты в юной еще науке, то, как правило, эти революции и перевороты оставались кабинетными и нередко обнаруживались изумленными современниками *postum* [Радченко 2001].

Не успев приобрести ранг категории в немецкой философии языка, где она была рождена, языковая картина мира оказалась во второй половине XIX века в роли непригодной для компаративных исследований фантазмагоргии. Лишь в начале XX века в Германии, а затем – и в европейском языкознании возрождается научный интерес к изучению "внутренней формы языка" в канаве "гумбольдтианского ренессанса".

Поиск устойчивой платформы для научного описания картины мира осуществляется в этот период, однако, не только с позиций философского и интралингвистического дескриптивизма. Между этими двумя крайними полюсами было найдено (под воздействием идей Ф. де Соссюра) среднее звено, которого всегда недоставало предыдущей традиции – социолингвистическое. Картина мира обрела, наконец, в философских размышлениях свою вторую сторону – среду, в которой она формируется и бытует, языковое сообщество.

Наиболее важную роль в формировании социологического подхода к проблеме картины мира в Германии прошлого века сыграла, без всякого сомнения, концепция А. Фиркандта (1867–1953), в особенности его *антиномия общества и сообщества* и его *теория групп*. Эта антиномия, однако, не была изобретением Фиркандта. Дихотомия "статуса" и "контракта" Г. Мейна (Sir Henry Maine) уже помогла к тому времени Ф. Тённису (1855–1936) и Э. Дюркгейму (1858–1917) обосновать антиномию "сообщества" (*Gemeinschaft*) и "общества" (*Gesellschaft*) [Tönnies 1887: 152].

В России становление этнической психологии под знаменем интерпретации Г. Штейнталя (1823–1899) сказалось на отечественных ремарках по поводу картины мира и языкового сообщества. По крайней мере, Г.Г. Шпет (1879–1940) признавал свою приверженность "магистралу Штейнталя" [Шпет 1927: 9]. Шпет исходит из понятия коллектива как "субъекта совокупного действия, которое по своей психологи-

ческой природе есть не что иное, как общая субъективная реакция коллектива на все объективно совершающиеся явления природы и его собственной социальной жизни и истории", причем «каждый исторически образующийся коллектив – народ, класс, союз, город, деревня и т.д. – по-своему воспринимает, воображает, оценивает, любит и ненавидит объективно текущую обстановку, условия своего бытия, само это бытие, – и именно в этом его отношении ко всему, что объективно есть, выражается его "дух", или "душа", или "характер" в реальном смысле» [Шпет 1927: 10–11].

Нетрудно заметить, что трактовки, предлагаемые Шпетом в отношении народного духа, существенно отклоняются от избранной им изначально "магистральной", тем более что в качестве канвы для рассуждений ему служит весь предыдущий контекст этно-психологических исследований, и он не зря припоминает заслуги отцов этнологии в развитии этих исследований, начиная с Гиппократ (ок. 460–ок. 370 гг. до н.э.), Д. Локка (1632–1704), Ш.Л. Монтескье (1689–1755), Й.Г. Гердера (1744–1803) и заканчивая немецкой этнической психологией, французской социологической школой и отдельными концепциями английских социологов, например, Г. Спенсера (1820–1903), Д.С. Милля (1806–1873) и др.

Шпет, естественно, обращает внимание на такой важный элемент этнической психологии и философии языка в Германии, как "сообщество", однако он квалифицирует его как "духовное общежитие" или "*духовный коммунизм*", хотя и предполагает из его взаимосвязей объяснить общие явления духовной жизни [Шпет 1927: 39]. Однако для Шпета это понятие остается "весьма туманным термином", по крайней мере, в трактовке В. Вундта (1832–1920) [Шпет 1927: 40]. В рамках своей философии он расставляет совершенно иные акценты: на *дух народа* и на *коллективность*.

Носителем такого духа является, по Шпету, особого рода коллектив, который он характеризует не как организацию, разнобразное действие которой основано на внутренней согласованности членов ее в порядке координации и субординации [Шпет 1927: 102], а скорее, как "динамический коллектив". Такой коллектив не имеет своей организации, поскольку он не имеет постоянных и устойчивых членов, находящихся в "текущем состоянии". Динамический коллектив «в целом... живет "своей" жизнью, но всякая попытка фиксировать хотя бы один момент в ней необходимо требует соотнесения этого момента к вещам и отношениям, находящимся вне этого коллектива», причем «ни один момент не "действует" здесь в собственном смысле, а только "участвует" в целом, будучи направлен на нечто "вне" себя и целого» [Шпет 1927: 105]. Затрудняясь дать точное название такому коллективу, Шпет приблизительно именуется его "коллективом типов", считая чрезвычайно сложным описание того, как каждый тип данного коллектива реагирует на внешние феномены, поскольку это описание может смешаться с описанием самих этих феноменов.

В целом же «социальные явления, язык, миф, нравы, наука, религия, просто всякий исторический момент, вызывают соответствующие переживания человека. Как бы индивидуально ни были люди различны, есть типически общее в их переживаниях, как "откликах" на происходящее перед их глазами, умами и сердцем» [Шпет, 1927: 107]. Такие отклики Шпет не связывает, однако, только с объективной природной средой коллектива, помещая рядом с ним в качестве равно важных факторов социальную и историческую обстановку, а также "душевное отношение к понятиям и идеям", которые "предстоят индивиду и коллективу как равным образом объективное, от них независимое обстояние" [Шпет 1927: 108]. Шпет существенно ограничивает область таких идей, приводя в пример философские и этические понятия, а также вообще созданные данным коллективом духовные ценности, и таким образом редуцирует сферу отношений коллектива и внешней реальности к типическим эмоционально-интеллектуальным обычаям данного коллектива. Главное, что подчеркивает Шпет, – это его отказ считать дух объясняющим началом и отнесение его, таким образом, к вторичным, проистекающим из прочих, феноменам [Шпет 1927: 109].

И все же Шпет не последовательно идиоэтничен в своих поисках, поскольку, с одной стороны, он отмечает продуктивность идеи языка как выражения и при-

знака характера народа и даже ставит перед этнической психологией задачу выяснить, "как переживается язык как социальное явление данным народом и в данное время" [Шпет 1927: 139–140], но, с другой стороны, он вслед за А. Марти признает единственным основанием этнической психологии "чистую" и всеобщую семасиологию (и тем самым невольно уходит в сферу универсализма), а затем вслед за Г. Штейнталем и М. Лацарусом (1824–1903) подчеркивает изменчивость духовного уклада народа и его зависимость от участия конкретного человека в его создании, так что «человек, действительно, сам духовно определяет себя, относит себя данному народу, он может даже "переменить" народ, войти в состав и дух другого народа, однако, опять – не "произвольно", а путем долгого и упорного труда пересоздания детерминирующего его духовного уклада» [Шпет 1927: 146].

Равенство "духовный уклад индивида и есть дух его народа" толкуется Шпетом как способность человека воспринять этико-психологические обыкновения и нормы реагирования данного коллектива на окружающие феномены. Шпет не затрагивает тем самым основ формирования понятийной картины мира человека и, очевидно, предполагает, что эта картина в понятийном отношении универсальна. На этом фоне коллективный "дух" и личный "уклад" человека выглядят как нечто вторичное и второстепенное, заменимое, и это объясняет точку зрения Шпета на "дух народа" и участие человека в его формировании.

Вместе с тем, свою работу о внутренней форме слова Шпет предваряет весьма важным замечанием, вполне согласующимся с оценкой характера языка как феномена у немецких гумбольдтианцев: "Прежде чем вступить во внешний мир, каждое человеческое действие совершается внутренне: ощущение, желание, мысль, решение, поступок, а также и язык. Последний исходит из такой глубины человеческой природы, что его даже нельзя назвать собственным творчеством народов: он обладает видимо проявляющейся, хотя и необъяснимой в своем существе, самодеятельностью. Народ пользуется языком, не зная, как он образовался, так что представляется, что язык не столько проявление сознательного творчества, сколько произвольное истечение самого духа. С самого начала язык порождается не только внешнею необходимостью общения, но и чисто внутренними потребностями человечества, лежащими в самой природе человеческого духа. В этом последнем качестве язык служит для развития самых духовных сил и для приобретения мировоззрения, которое достигается, когда человек доводит свое мышление до ясности и определенности в общем мышлении с другими людьми. Но как ни всесторонне язык проникает во внутреннюю жизнь человека, все же он имеет независимое, внешнее бытие, оказывающее свое давление на самого человека" [Шпет 1927а: 11–12]. Шпет отмечает эту самодеятельность языка как его способность "выбирать из бесконечного разнообразия возможных направлений одно определенное" и модифицировать "во внутренней самодеятельности всякое оказанное на него внешнее воздействие" [Шпет 1927а: 12].

Непоследовательный идиоэтизм Шпета скрывает от его взгляда практически все подходы к картине мира конкретного языка. Его этнопсихологическая позиция в этом отношении ничуть не ближе к разгадке "мистерии" языка, чем универсально-социологическая позиция Фиркандта, и это становится тем яснее, чем ближе мы знакомимся с неогумбольдтианской социологической концепцией, отказавшейся от эмоциональной трактовки языкового сообщества и даже противопоставившей ей новое понимание этого социального факта, не имеющее точной аналогии в немецкой философии языка XIX века.

Воззрения Фиркандта на языковое сообщество, как, впрочем, и некоторые другие фрагменты его социологической концепции, нашли непосредственное отражение в докторской диссертации Й.Л. Вайсгербера (1899–1985). Однако он сразу же оставляет в стороне принятое у Фиркандта различие общества и сообщества как более свободной и более узкой формы человеческого общежития [Vierkandt 1923: 174], указывая, что это различие для его концепции несущественно [Weisgerber 1925: 95]. С другой стороны, он вслед за Фиркандтом применяет тот же концепт *общество* для

общения обеих указанных форм с одной оговоркой: "Нужно, однако, различать общества, основанные на личностных качествах индивидуума, и такие, которые основаны на участии в определенном общем социальном достоянии" [Weisgerber 1925: 95].

Подобное деление не является, впрочем, заимствованием деления на личностные и надличностные сообщества у Фиркандта ("Сущность первых исчерпывается личными отношениями между участниками, основу вторых составляют объективные формы" [Vierkandt 1923: 223]). Язык относится, по Вайсгерберу, к *неличным объективным социальным образованиям* [Weisgerber 1930a: 603]. Что же касается общества, то оно "имеет то общее с организмом, что решающее заключается не в отдельных составных частях как таковых, а в структуре. Посредством скрепляющего созидания возникают совершенно новые качества и силы, которыми не располагают отдельные части" [Weisgerber 1925: 109].

Для второго типа, *надличностных сообществ*. Вайсгербер осторожно подбирает такой термин, который не использовался бы ранее в другом смысле (как Sprachgruppe или Sprachkreis) и не акцентировал бы процесс общения как основу объединения индивидуумов (как Sprechkreis или Sprechgruppe); более удачным вариантом понятийного оформления такого вида сообщества Вайсгербер считает Verständigungskreis ("круг общения"). По этой причине он поначалу останавливается на дефиниции "совокупности носителей одного объективного социального образования" как "языкового товарищества" (Sprachgenossenschaft) [Weisgerber 1925: 95], подкрепляя тот тезис, что "определение языка теснейшим образом связано с определением языкового товарищества, которое является его носителем" [Weisgerber 1925: 95]. Причем носители одного и того же письменного языка обозначаются им как "искусственное языковое товарищество", поскольку они "обретают свой язык в значительной степени путем систематического обучения" [Weisgerber 1925: 98].

Продолжая рассуждения Вайсгербера, можно предположить, что "естественные языковые товарищества" представляют собой сообщества носителей родного бесписьменного языка, в которых обретение этого языка основано на устной традиции.

Важно отметить, что Вайсгербер рассматривает в качестве базового языкового сообщества лишь "совокупность носителей одного языка" [Weisgerber 1930a: 604], отодвигая на второй план сообщества отдельных личностей, сословия, классы, семью, круг друзей, различные кружки и т.п.

Однако и позднейшие рассуждения Вайсгербера преследуют цель найти обоснование языкового сообщества, для которого он выделяет три предпосылки: 1) оно складывается из отдельных людей, 2) оно выделяется как группа из более обширного единства всего рода человеческого, 3) оно обретает свою целостность и свой состав благодаря несущей силе языка, произрастающего как культурное достояние из трудов языкового сообщества и, в свою очередь, оказывающего воздействие на жизнь его носителей [Weisgerber 1934: 152]. Это воздействие, точнее, взаимовлияние, существующее между языком и языковым сообществом в процессе их исторического развития, распределяет роли между языковым сообществом как источником языкового прогресса и языком как источником предпосылок, основ и направления этого прогресса, причем "в перспективе язык оказывается в этом воздействии все же более мощной силой, поскольку заложено в нем содержание становится все более всеохватным, все сильнее воздействует на все жизненные проявления языкового сообщества и, наконец, его приходится принимать как данное без возможности перепроверки. И если уж язык для всего сообщества выступает как сила, в значительной мере не зависящая от воли и осознанного воздействия его носителей, то тем более отдельный человек является, по сравнению с языком как культурным достоянием, кратковременным, почти бессильно подвергающимся влиянию языка" [Weisgerber 1934: 155].

Когда Вайсгербер отмечает, что "человек обретает свой язык, прежде всего, в том, что касается чувственных составляющих, не в своем качестве индивидуума в результате свободы выбора, а в качестве члена языкового сообщества (Sprachgemeinschaft): он усваивает язык" [Weisgerber 1925: 87], то тем самым пока не акцентируется роль

содержательной стороны языка как основного, если не равноправного с формальным, аспекта усвоения языка в среде языкового сообщества. Но уже в начале тридцатых годов прошлого века Вайсгербер пишет, что "языковое сообщество вызывает одинаковые мыслительные предпосылки у всех членов сообщества, позволяет создать однородное понимание и оценку процессов и впечатлений и тем самым то, что воспринимается как нечто само собой разумеющееся – взаимопонимание (*Verständigung*) относительно всего того, что происходит и протекает внутри данного жизненного пространства" [Weisgerber 1931: 359].

В этом свете Вайсгербер объясняет сущность языкового сообщества, опираясь на тезис Й.Г. Фихте (1762–1814), стремившегося показать, "какое неизмеримое влияние на все человеческое развитие конкретного народа может иметь характер (*Beschaffenheit*) его языка, языка, который сопровождает каждого вплоть до сокровенных глубин его духа в размышлениях и желаниях и ограничивает либо открывает, который соединяет всю человеческую массу, говорящую на нем, на ее территории в единый общий разум, который есть воистину точка обоюдного соприкосновения мира чувственного и мира духовного, сплавляющий края этих миров воедино" [Fichte 1808: 326].

Анализируя различия между "кругом общения" и "языковым товариществом", в которых задействован индивидуум, Вайсгербер дает развернутую характеристику круга общения как охватывающего "всех тех, с кем данный человек может без проблем общаться в силу прямых или косвенных отношений (опосредованно предками или современниками) по всему объему общих для них идей" [Weisgerber 1925: 98]. К языковому товариществу он относит всех тех, "кто в силу своего языкового организма способен настроиться на это товарищество в своем использовании языка в случае применения этой способности; прямое языковое общение между всеми членами языкового товарищества не обязательно" [Weisgerber 1925: 105]. Этим он подчеркивает главное отличие языкового товарищества, охватывающего всех носителей данного родного языка и выходящего за рамки обоснования только лишь коммуникативными возможностями, и сравнительно небольшого круга общения, который формируется вокруг носителя языка как уже вторичное сообщество. Потенциально каждый языковой товарищ может войти в круг общения другого, причем определяющим моментом такой возможности является то, "насколько общий словарь ограничен знанием традиционного для данного языкового товарищества материала"; именно это имеет в виду Вайсгербер, говоря о совпадении круга общения с языковым товариществом [Weisgerber 1925: 106].

Однако в начале 30-х гг. XX в. Вайсгербер еще не поднимается до философского осмысления гносеологического предназначения языкового сообщества, отмечая лишь, что языковое знание обретает смысл только тогда, когда оно служит фундаментом для решения специфических задач сообщества, основной из которых он считает "создание ценностей, которые основывают и составляют народное (*Volkstum*)" [Weisgerber 1931: 360].

К числу специфических задач сообщества, поначалу охарактеризованных им как единственно важные, он относит *культурные достижения*: "Ясно, что языковое сообщество готовит почву для всякого совместного труда; эти связи столь тесны, что можно с полным правом попытаться найти и научиться понимать зависимость отдельных культурных достижений сообщества от состояния его языка" [Weisgerber 1932: 58]. Даже признавая первичность гносеологического предназначения языкового сообщества, Вайсгербер отмечает, что оно всегда выступает и как сообщество историко-культурной деятельности, оно «заключено в мирозидании родного языка. Это означает, что с действительностью родного языка все члены языкового сообщества выходят на общий уровень, на котором может состояться и духовная встреча... Это означает, что к содержанию одного языкового сообщества обязательно относится подведение к определенным способам поведения, следствиям, задачам, вопросам, которые внутри всего языкового сообщества "понимаются", т.е. осознаются как нужные, верные, возможные, осмысленные» [Weisgerber 1951: 121].

Базовое положение позднейшей концепции Вайсгербера сформулировано им уже в самой первой его работе на эту тему: "Языковое товарищество, без сомнения, является типичной и важной формой человеческого общества" [Weisgerber 1925: 106]. Это положение выделяет его концепцию из ряда социологических теорий того времени, он идет, к примеру, дальше Тённиса и Фиркандта с их эмоциональным обоснованием языкового сообщества как третьестепенной формы человеческого общежития, и уж, конечно, гораздо дальше дюркгеймовского объективизма. Но фундамент этой "типичной и важной формы" пока еще излишне ориентирован на условия идиолекта носителя языка: "Предварительным условием языкового товарищества является лишь то, что каждый его член способен с помощью общих для всего языкового товарищества языковых средств воздействовать на языковой организм другого члена и, наоборот, подвергается воздействию любого другого члена товарищества" [Weisgerber 1925: 107].

На базе этих размышлений Вайсгербер формулирует закон языкового сообщества: "Человечество делится с естественной необходимостью, без исключения и в непрерывной взаимосвязи на языковые сообщества", причем "никто не может избежать действия этого закона" [Weisgerber 1936: 39].

В начале мировой войны он акцентирует внимание на *жертвенности в поведении членов языкового сообщества*. Он ищет особые способы поведения членов сообщества в "чувстве непосредственной судьбоносной связи с языковым спутником, *соответственности* за общее народное достояние высшей ценности, в готовности вступить за эту сохраняющую народ силу, даже с жертвами, которые может вызвать ожесточенная языковая борьба, в сознании того, что возможно участвовать в сфере родного языка в ежедневной кропотливой работе над внутренней сплоченностью и внешней пробивной силой (Stoßkraft) народа", причем эти способы поведения "в годы бедствий всплывают с инстинктивной настойчивостью", и Вайсгербер считает необходимой сознательную работу по пробуждению и укреплению такого образа действия. Он замечает, что для этого "есть бесчисленные способы", ведь "всякое проникновение в чудесный мир родного языка, его строй, его истоки, его своеобразие, его переплетенность с судьбами народа, в борьбу, которая велась и ведется за него, — не суть ли это тысячи возможностей помочь человеку осознать свое собственное место в этом процессе?" [Weisgerber 1939: 83]. Он по-прежнему исходит из признания того, что "народы всегда являются историческими действительностями, которые по природе своей с неизбежностью приобретают значимость (Geltung) и которые давно являются фактами в событиях истории, еще до того, как постигнут их размышлениями и закрепят как ведущие силы" [Weisgerber 1943: 157].

Завершая в 60–70-х гг. работу над последней версией закона языкового сообщества, Вайсгербер называет главным препятствием для развития специальной науки о языковом сообществе его слишком большую естественность: «Наши первые наблюдения привели нас к закону языкового сообщества, поскольку мы увидели, что человечество расчленено общеобязательным образом на языковые сообщества. Поскольку это членение обнаружило многие признаки "естественного" порядка (отсутствие лакун в пространственном и временном отношении, неосознанность, сопротивляемость против случайности и произвола и пр.), мы сделали вывод, что посредством него должны быть обеспечены процессы, которые необходимы для созидания человеческой жизни в сообществе» [Weisgerber 1951: 28].

Уточненная дефиниция закона языкового сообщества гласит: "Человечество делится с необходимостью, без лакун и непрерывным образом на языковые сообщества. Тем самым языковые сообщества характеризуются как неотъемлемая базовая форма жизни людей в сообществе" [Weisgerber 1951: 29]. Это определение усиливает характеристику языкового сообщества как неотъемлемой формы человеческого сообщества, в то время как более ранние дефиниции говорили о "важной" форме. Сплошное и без лакун деление человечества на языковое сообщество трактуется Вайсгербером как в телеологическом, так и в реалистическом смысле: "Все человечество

объединяется в сотрудничестве при воссоздании мира с помощью слова, тот же, кто не участвует в этом процессе, духовно и физически деградирует. То, что духовная жизнь конкретной личности начинается с включения в языковое сообщество, также становится понятным: конкретный человек должен сопережить языковое мирозидание, которое проходит в его языковом сообществе, и лишь тем самым он обретает участие в историко-культурной жизни" [Weisgerger 1966: 18].

Характеризуя закон языкового сообщества, Вайсгербер неоднократно подчеркивает его *имплицитный характер*: "Ни языковое сообщество, ни отдельные его члены не осознают того, что скрывается под законом языкового сообщества. Языковое сообщество не имеет представления о масштабах его деятельности. Тем самым процесс воссоздания мира посредством слова в своем ядре недоступен запланированному вторжению, а тем более произволу. Языковое сообщество совершает свое дело с уверенностью само собой разумеющегося феномена и оказывается тем самым вновь одной из неотъемлемых основ человеческой жизни" [Weisgerber 1966: 19]. Неосознанность воздействий языкового сообщества усматривает Вайсгербер и в его влиянии на общественные процессы, в частности, в тех случаях, когда "путем возникновения новых базовых понятий переоформляется образ мысли целого поколения" [Weisgerber 1934: 191].

Но все же гораздо более серьезные последствия имеет осознанное вмешательство языкового сообщества в исторический процесс, в особенности *четыре формы такого вмешательства*: 1) занятие родным языком как опора осознания народного своеобразия (в качестве примера приводится роль культивирования родного языка в процессе становления самостоятельности славянских и балтийских народов); 2) языковое сообщество как источник силы в момент высшей угрозы и государственного разлада (здесь Вайсгербер апеллирует к примерам из истории средневековой Германии и Германии времен нашествия Наполеона); 3) культивирование родного языка как путь к внутреннему единению сообщества; 4) язык как инструмент расширения сферы влияния. Здесь очевидны две частные формы такого воздействия: расширение сферы языкового сообщества путем вочленения приграничных частей других языковых сообществ и стремление придать своему языку влияние поверх государственных и народных границ, а по возможности и мировой статус.

Существенно то, что Вайсгербер делает оговорку в отношении универсальности защищаемой им теоремы: "Конечно, нельзя утверждать, что языковое сообщество есть источник всех созидающих историю сил или что оно само остается незатронутым воздействиями таких сил. Но особое положение языкового сообщества среди форм человеческой общественной жизни оправдывает это подчеркивание исторической действительности уже в тех сферах, которые не относятся к первичной цели существования языкового сообщества" [Weisgerber 1934: 213].

В связи с этим Вайсгербер добавляет к характеристике языковых сообществ как духовно-культурных единств сравнение их с "историческими потоками, которые непрестанно сводят и скрепляют людей посредством одной из самых сильных духовных сил, данных человеку, — силы языка" [Weisgerber 1964: 8–9]. Они выступают как "систематичное место языкового мирозидания; всякое конкретное языковое сообщество реализует себя в специфической исторической форме такого мирозидания, в своем родном языке" [Weisgerber 1966: 18]. *Отсутствие языкового сообщества* и есть основной признак мертвого языка, ведь такие "языки, доступные нам лишь через корпус дошедших до нас текстов", не обладают в данном случае языковым сообществом *alias* "контрольной инстанцией для многих выведенных из этих текстов констатаций" [Weisgerber 1971: 21]. Мир исторического *со-зидается* языковым сообществом в решающей степени, более того, языковое сообщество выступает, по мысли Вайсгербера, "как питательная почва для самых разных форм культурного взаимодействия, как устойчивая, самостоятельная величина внутри государственно-политической жизни, как предпосылка и сфера народной жизни" [Weisgerber 1934: 190].

Важной является и констатация *тройного аспекта* языкового сообщества и родного языка. Полагая, что общее *географическое пространство* является одним из нормальных, хотя и не необходимых, условий существования языкового сообщества, Вайсгербер отводит решающую роль *историческому пространству*, которое в социологии первой половины XX века часто именовалось как "фатальное пространство" (Schicksalsraum). Это означает, что "границы и направление развития языковых сообществ не предначертаны в неизменных послылках естественного пространства", но "лишь в жизни и действиях самих языковых сообществ обретают очертания те пространственные условия, которые, со своей стороны, бесспорно, влияют на жизнь этих людей, но не определяют их как языковое сообщество" [Weisgerber 1951: 123].

Наличие у языкового сообщества *фатального пространства* выдвигается на передний план, к примеру, Х. Фрайером, оно образует жизненный мир, выступающий для членов сообщества как единство и общий горизонт и объединяющий эту группу людей в "Мы". Это такое пространство, "в котором живут все и которое одновременно живет во всех, которое налагает на всех свой отпечаток, с которым все чувствуют внутреннюю связь" [Freyer 1929: 17]. Сообщество превращается в некую сущность собственного рода с признаками длительного существования и даже бессмертия именно в силу действия единого пространства данной группы, так что это сообщество "никогда не сможет быть расчленено на пучки отношений между его сиюмоментными членами" [Freyer 1931: 133].

То же касается и второго аспекта языкового сообщества – *связи на основе общего происхождения* [Радченко 2000].

Таким образом, языковое сообщество не сводимо ни к природным условиям, ни к феноменам человеческой воли, оно построено на своем, совершенно особом принципе. "Закон языкового сообщества, очевидно, не происходит ни из какого принципа в смысле жесткой, застывшей предопределенности и зависимости. Он не является также и следствием принципа силы в смысле умышленного, произвольного, насильственного созидания и управления человеческой жизнью" [Weisgerber 1951: 124]. Вайсгербер приходит к *трихотомии* "природного понятия" Rasse, государственного понятия Nation и духовного понятия Volk [Weisgerber 1951: 129]. Причем понятие народа в большей степени увязывается им с историчностью совместного существования группы людей, а родной язык оставляется для характеристики только языкового сообщества.

Соответственно определяются отношения между родным языком и языковым сообществом: "Нам следует... определить языковое сообщество как воплощение людей, стоящих в двойственной взаимосвязи того же родного языка. Здесь уже видна неразрушимая взаимообусловленность языкового сообщества и родного языка: всякое языковое сообщество вырабатывает себе родной язык на протяжении тысячелетий, оно находится с самого начала под воздействием этого родного языка, и лишь в этой целостности действенной взаимосвязи оба становятся тем, чем они и являются по сути: языковое сообщество – сущностным единством, а созданный язык – родным языком. В этой взаимосвязи проявляет свою значимость трехкратная энергия родного языка" [Weisgerber 1951: 121], то есть языка как мирозидания, как со-зидателя истории и как со-созидателя культуры.

Языковые сообщества являются не только аренами событий, но и активными создателями внутренней и внешней жизни. Превращение человека в дееспособного члена языкового сообщества предполагает усвоение достигнутого сообществом состояния в воссоздании мира посредством слова. Человек делает для себя обязательной совокупность тех случаев духовного освоения фрагментов мира (Zugriffe), которые значимы в данном языковом сообществе, и в этом заключается смысл *закона родного языка* [Weisgerber 1963: 84]. Этот закон является законом духовной сферы,

ибо всякий родной язык есть "действующий 'объективный дух' и как таковой создающий принцип общественной жизни" [Weisgerber 1951: 124].

Языковое сообщество "следует принципиально рассматривать как *автономный феномен* (оно нигде не предписано, а становится сообществом лишь в языковом процессе); оно "связует и неразрывно сводит своих членов одной сущностной чертой их человеческого бытия, а именно их языковой способностью"; оно "расчленяет человечество согласно настоящему, не подверженному произволу закону и тем самым координирует решение стоящей перед всем человечеством задачи, с которой можно справиться лишь многообразием способов осуществления"; оно "по отношению к своим членам является главенствующей величиной, охватывая подрастающее поколение в самом раннем детстве, и подчиняет процессу изучения, в котором в значительной мере доминирует родной язык"; однако "его действительность большей частью остается неосознанной, так что при всей масштабности несомого им процесса ни языковое сообщество как таковое, ни кто-либо из его членов не проникают в этот исторический процесс" [Weisgerber 1975: 195].

Более того, "человек как гражданин мира останется без корней, без возможностей обеспечить результатам своих трудов действительность; лишь как член языкового сообщества он есть историческое существо, он способен основываться на достижениях прежних поколений и сам может оказывать воздействие на последующие" [Weisgerber 1934: 432]. Обращает на себя уверенность Вайсгербера в том, что "ни одна сила в мире не способна отменить связи с языковым сообществом волевым решением и нарушить тем самым воздействия языка" [Weisgerber 1934: 432–433].

Смысл существования языкового сообщества теснейшим образом связывается с картиной мира, живущей в языке данного сообщества, причем эта картина мира «не может выдвигать претензий на универсальность, она не привлекает "реальность" как таковую в мыслительную форму, но так, как языковое сообщество увидело, осознало и устроило ее" [Weisgerber 1934: 434–435]. Этнические силы языкового сообщества коренятся в том, что "язык есть вход в мир духа: человек – по сути своей одаренное языком существо, на его языковой способности основана возможность большинства других духовных свершений" [Weisgerber 1934: 435].

Эти мысли Вайсгербер отразил в своем послевоенном определении языкового сообщества: "Языковое сообщество – эти люди, спаянные вместе картиной мира общего родного языка, а именно в тройном смысле: в смысле совладения (*Teilhabe*), в том отношении, что они все вместе несут картину мира, каждый формируется путем вращающегося в родной язык и так обретает членство в языковом сообществе; в смысле исчерпания (*Ausschöpfen*), когда совладение мыслительным миром родного языка создает ту основу, на которой возможно совместное творчество во всех областях жизни, так же, как оно создает рамки, в которых такой труд сообщества может выразиться во временном и пространственном отношении; в смысле дальнейшего строительства, когда результат духовного труда, получая длительную форму, должен войти в общее достояние, чтобы быть понятным, воспринятым, закрепленным и оцененным" [Weisgerber 1934: 135–136]. Но в целом языковое сообщество все же есть в каждом случае группа людей, взаимодействующая в процессе преобразования мира в собственность духа и сама подчиняющаяся проявлению мирозидания родного языка. Так на первый план выдвигается *cognito communis* как главная характеристика языкового сообщества. "Построенное на языке понятие народа имеет в виду чисто духовно обоснованное и определяемое духом обстоятельство. Членение человечества на языковые сообщества – это предварительное условие духовного порядка человечества, и этот порядок принципиально стоит вне природы и власти" [Weisgerber 1951: 8].

Впервые устанавливая в своей работе "Положение языка в общей системе культуры" закон языкового сообщества, Вайсгербер придает ему статус *непреложного закона*, ибо он обеспечивает предоставление языком таких "возможностей в жизни человека, без которых человеческое бытие распалось бы" [Weisgerber 1934: 156].

Отличие языкового сообщества, к примеру, от круга общения – это "происходящее из всех языковых взаимосвязей осознание языковой правильности и возможностей (Leistungen) языка" [Weisgerber 1925: 116], то есть *языковое чутье* (Sprachgefühl).

Здесь языковое чутье выступает уже не как результат языкового формирования конкретной личности или методический принцип обработки родноязычного материала, а как персональная форма "языкового гения", того самого "духа группы", приобретающего характер нормативного фильтра, но фильтра живого, меняющегося, трансформирующегося по мере продвижения языковой личности к достижению идеала – слиянию языкового организма с полномасштабной картиной мира родного языка.

Вайсгербер вносит существенную коррекцию в психологическую и коммуникативную трактовку языкового сообщества, пользуясь более важным признаком группы, подчерпнутым у Фиркандта – *групповым духом*.

Дух группы объясняет, по мысли Вайсгербера, тот факт, что группа является органичным единством, означающим больше, чем сумма его членов, а применительно к языковому товариществу это означает, что «каждый, действующий как член языкового товарищества и пользующийся соответствующим материалом, также подвержен соответствующему "языковому духу"» [Weisgerber 1925: 112–113]. Принципиальный вопрос заключается, однако, в том, способен ли этот "языковой дух", в соответствии с определением Фиркандта, "отпускать" члена языкового товарищества в случае, если он "покидает" его, то есть применимо ли фиркандтово определение "духа группы" к языковому сообществу. По всей видимости, этот аспект определения пока остается для Вайсгербера не столь существенным, поскольку для него важнее оказывается сущность группового духа и группы в целом, связанная с "определенным способом мышления, чувства или действия", их надиндивидуальность и каузальные взаимосвязи духа группы и ее членов. Так что "языковое товарищество остается со своей специфической каузальностью основой всякого языкового события: исходя из него, объясняются процессы изучения языка, оно регулирует самим своим существованием и (с помощью фиксированных объективаций) использование языка определенными индивидуумами, оно описывает с помощью основанного на взаимодействии языкового чутья возможности индивидуальных модификаций и определяет их направление. Индивидуум разворачивает свою языковую индивидуальность только при помощи и в рамках языкового товарищества" [Weisgerber 1925: 117].

Позже Вайсгербер возвращается уже на новом витке размышлений к способности выйти из-под власти группового духа и связанной с этим возможности сменить языковое сообщество (вспомним мнение К. Фосслера (1872–1949) по поводу родного языка: "его *исповедуют*, значит его можно сменить"!)). Исходя из определения человека, который, «будучи обученным языку, является менее "индивидуумом", чем человеком, сформированным языком, который он перенял», Вайсгербер пишет, что человек "как член языкового сообщества является менее самостоятельным и независимым лицом, чем связанным крепкими языковыми нитями с другим языковым попутчиком (Sprachgefährte)" [Weisgerber 1931: 356].

Вайсгербер отмечает, что отказ от родного языкового сообщества есть "нечто практически невозможное; переход в другое сообщество потребует годы для переучивания, которое лишь в весьма редких случаях ведет к действительному вочленению в новое сообщество" [Weisgerber 1931: 359]. Если же складывается все же особая ситуация, то "народ, который отказывается от своего языка, отказывается сам от себя, а часть народа, меняющая свой язык, одновременно делает тем самым решающий шаг к смене народной принадлежности" [Weisgerber 1930: 71].

Несколько подробнее анализирует Вайсгербер идеи М. Шелера (1874–1928), в частности его понятие *относительно естественного мировоззрения*, чтобы подобраться ближе к пониманию "духа группы". Как известно, Шелер выделял в структуре видов знания некий базовый массив, на котором строятся формы мировоззрения, связанного с образованием. Именно этот массив получил у него титул "относительно естественного мировоззрения", под которым понимается "все то, что считается среди

людей безусловным, предметы и содержания мнений, которые считаются в целом не нуждающимися в доказательствах и не способными к ним" [Weisgerber 1930a: 607]. Вайсгербер согласен с Шелером в том, что подобное "относительно естественное мировоззрение относится к самым глубинным центрам групповой души, но оно ограничено в своем проявлении конкретной человеческой группой" [Weisgerber 1930a: 607]. Указанным условиям отвечает в концепции Вайсгербера только один феномен – языковая картина мира, так что «основные черты, определяющие относительно естественное мировоззрение группы, одновременно суть основные линии языковой картины мира этого сообщества, и по мере вхождения в язык каждый новый член сообщества включается в это "мировоззрение"» [Weisgerber 1930a: 607].

Проблематика относительно естественного мировоззрения диктовала необходимость разграничить концепты *языкового сообщества* и *народа*, над чем Вайсгербер, по его признанию, работал сорок лет. Однако ему, видимо, то и дело представлялось не до конца удовлетворительным найденное им толкование соотношения языкового и этнического аспектов социальной жизни, и он вновь и вновь возвращается к вопросу о взаимосвязи и отличительных качествах языкового и народного сообществ.

В качестве исходного момента служит ему понятие *этоса совладения*, введенное Н. Гартманном (1882–1950) [Hartmann 1933: 148]. Вайсгербер полагает: "Языковое сообщество не исчерпывается имевшейся в виду статичной формой простого совладения, спокойного пожинания общего достояния; наоборот, оно, благодаря своему собственному жизненному закону, побуждается к исчерпанию заложенных в нем возможностей" [Weisgerber 1934: 223]. "Этос совладения" охватывает поэтому задачу, стоящую перед всеми членами языкового сообщества – сохранять и обустроить родной язык и отношения между его носителями, и подобный этос распространяется на всех членов языкового сообщества.

От постулата об этосе совладения и неполитическом характере языкового сообщества лишь один шаг отделяет распространение идеи народа на оставшуюся вакантной политическую сферу, поскольку "в каждом языковом сообществе живет убежденность в своем праве в крайнем случае с оружием в руках завоевать свободу для своих языковых товарищей, которые испытывают помехи в своем духовно-культурном взаимодействии с языковым сообществом со стороны политических властей. Это право неоспоримо, поскольку оно проистекает из естественно данного членения человечества на языковые сообщества и из основанных на нем возможностей народной жизни" [Weisgerber 1934: 226]. Более того, "борьба одного народа с другим отражается собственно в результатах языковых конфликтов. Если здесь говорится о борьбе народов друг с другом, то следует добавить, что в соответствии с сущностью языкового сообщества эта борьба не может быть взаимным уничтожением средствами насилия, а должна быть соревнованием в области духа" [Weisgerber 1934: 234]. Подобное соревнование "вызывает рост возможностей, ведет к отбору самого ценного, предотвращает чрезмерное дробление; и все это осмысленно, оно служит одновременно выполнению задач человечества, заложенных в многообразии языков" [Weisgerber 1934: 235].

Изначально Вайсгербер все же считал *народом* лишь группу говорящих на общем родном языке: "Обретенное таким образом языковое сообщество есть необходимая предпосылка и естественно данная сфера народного сообщества. Из языкового сообщества вырастает народное сообщество, если заложенные и ставшие возможными благодаря общему языку задачи подхватываются им и подводятся к разрешению" [Weisgerber 1934: 222].

Обращаясь вновь к типологии сообществ, предложенной Фиркандтом, Вайсгербер относит народ к *культурным сообществам*: народ – это "сообщество, которое в противоположность государственным формам сообщества характеризуется о б щ и м я з ы к о м. Невозможно дать определение народа с точки зрения расы, хотя известные связи здесь очевидны" [Weisgerber 1925: 197]. Родной язык выступает в его определении как общее достояние группы, которое "вообще позволяет существовать

народному сообществу; язык есть та связующая нить, которая объединяет совокупность теперешних говорящих на этом языке и связывает их с прошлыми и будущими поколениями, без него сообщества не смогли бы вообще существовать на больших пространствах и в длительных временных периодах" [Weisgerber 1930: 66]. Тот факт, что носителем родного языка выступает целая группа людей, "делает язык независимым от произвола и случайностей отдельной человеческой жизни" [Weisgerber 1930: 66].

Несколько более поздним является эксплицитное разделение *нации* "как единицы политической воли" и *народа* "как морально-духовного образования с творческим потенциалом своего рода". Признавая вслед за Х. Фрайером в качестве признака единства сообщества "проникнутость духовным содержанием одного пространства общей судьбы", Вайсгербер делает следующий замечательный вывод: "Духовное содержание народного пространства и заложенная в языке сообщества картина мира (Weltbild) совпадают в столь существенных моментах, что, если вообще можно выразить народное сообщество в одном признаке, то единственно пригодным таким признаком окажется общность языка" [Weisgerber 1930a: 607]. Поскольку же сущность родного языка состоит, по Вайсгерберу, в том, чтобы с помощью системы звуковых знаков выработать и зафиксировать мир содержаний, понятий и форм мышления, то становится понятно, "почему можно говорить о том, что сообщество закладывает в своем языке с в о ю картину мира в том виде, как она сложилась в историческом процессе, с в о и мыслительные средства, оказавшиеся в изменчивых духовных и материальных условиях нужными и пригодными для освоения жизни. В этом смысле язык есть духовное средоточие всего опыта сообщества, исходя из которого вновь вступающие в сообщество обретают все это наследие" [Weisgerber 1930a: 608].

Однако взгляды Фрайера подвигают Вайсгербера к поискам различий: "Хотя признак общего языка достаточен, чтобы отграничить вонне область народа, однако для настоящего народного сообщества общий язык – лишь одна предпосылка, пусть даже важнейшая. Но быть народом – не какой-то готовый феномен, это скорее цель, нечто, к чему следует стремиться в ежедневных усилиях. И все же, помимо той вовсе не осознанной большинством языковых товарищей этносозидающей силы языка, знание общего языка, судьбинной связанности языковым сообществом является также важным стимулом в той деятельности, которая возникает при о с у щ е с т в л е н и и з а л о ж е н н ы х в я з ы к о в о м с о о б щ е с т в е з а д а ч: вызвать в членах народа сознание участия в общем духовном мире, связать силы народа в единство исторической воли и сотворить, исходя из духовных и общественных напряжений осмысленный порядок труда и жизни" [Weisgerber 1932: 58–59]. Можно предположить, что Вайсгербер наделяет народ признаками "языкового сообщества в более высоком смысле".

Характеристика народа как культурного сообщества, связанного языком, и индивидуальность "языкового товарищества" образуют две стороны одного и того же феномена, но раздельное фиксирование этих двух сторон не случайно. Оно лишь указывает направление последующей интерпретации Вайсгербером этих двух понятий и поиска более существенных различий между "народом" и "языковым товариществом", причем Вайсгербер скорее интуитивно ощущал, что такие различия есть. Ведь уже существовала и экстремальная форма понимания таких различий, например, у М.Х. Бёма, не считавшего народ сообществом [Böhm 1932: 49].

Вайсгербер занимает в этом вопросе крайнюю глоттоцентрическую позицию, полагая, что "язык и данное вместе с ним языковое сообщество занимают решающее положение в системе слоев человеческой жизни; он означает вхождение в мир духовного и тем самым основу раскрытия всего духа, всякого сообщества и всякой историчности" [Weisgerber 1934: 187]. Он с самого начала переводит отношения между языком и народом в социологическую плоскость рассмотрения, ибо "необходимо прежде всего развернуть исследования обычного рода отношений между языком и наро-

дом в сторону вопроса о соотношении языкового сообщества и народного сообщества" [Weisgerber 1934: 221].

В конце 40-х гг. Вайсгербер вводит разделение всех языковых сообществ на *заложенные* (angelegte) и *реализованные* (erfüllte), характеризуя этими терминами степень проявления культурной и исторической действительности данного языкового коллектива [Weisgerber 1950: 85–86]. Именно в этом, последнем, виде языковое сообщество наиболее близко к народу.

Вмешательство политического аспекта в размышления о разнице между языковым и этническим сообществом ощущается в работах Вайсгербера в период нацизма.

Как же проходил в 1934 г. процесс выбора между *patio loquens* и расовым сообществом? Чтение работ Вайсгербера того периода поначалу действительно внушает множество подозрений, главное из которых – не впал ли он в "нордические бредни"? Это почти очевидно, когда он говорит относительно шедшей тогда дискуссии между неогумбольдтианцами и национал-социалистическими лингвистами: "Одна из наиболее важных задач – плодотворное сочетание идеи расы и идеи языка, чтобы обе стороны видели свое честолюбие не в обоюдной борьбе, а в обнаружении народного значения общих фактов и в пробуждении сил, которые из каждой из них следует добыть для созидания нашего народа" [Weisgerber 1934в: 293]. Или когда он призывает, чтобы "кровь, земля и дух объединили свое воздействие" [Weisgerber 1934в: 300]?

Но вчитаемся хотя бы в его рассуждения о том пути, который пролегает между языковым сообществом и народным сообществом. Принципиальная разница между ними просматривается уже более отчетливо: "Ведь здесь, в оценке открываемых языковым сообществом возможностей и исполнения заложенных в нем задач на первый план выступают ценнейшие этнические силы, носители лучшей наследственности, в то время как те, кто не желает сотрудничать в решении этих задач, сами себя исключают из народного сообщества, а все те, кто не может сотрудничать, остаются этнически мертвыми. Здесь, в этнической самореализации (*volkliche Bewährung*), осуществляется, таким образом, тот отбор, который языковое сообщество не способно предпринять само, поскольку оно должно охватывать человека в нежнейшем возрасте, чтобы передать ему возможности раскрытия его задатков, в то время как, с другой стороны, оно не обладает само по себе возможностями исключения бесполезных (*unbrauchbaren*) членов" [Weisgerber 1934в: 300].

Вайсгербер расставляет модальные акценты лишь подспудно, указывая все-таки на то, что обладающая способностью отбора этническая самореализация не имеет преимуществ перед языковым сообществом; так, он выделяет три основные идеи, описывающие взаимоотношения между человеком и языковым сообществом: 1) "Само собою разумеющаяся обязанность языкового сообщества вообще и каждого его члена в отдельности заключается в том, чтобы с максимумом усилий сохранить, использовать и обустроить общее достояние – родной язык" [Weisgerber 1934в: 301]; 2) "Одна из важнейших предпосылок для этого – чтобы каждый отдельный языковой попутчик беспрестанно работал над тем, чтобы пробудить и дать свободу воздействию мира родного языка – задача, стоящая на протяжении всей жизни" [Weisgerber 1934в: 301]; 3) "Однако нельзя останавливаться на этом труде над формированием в духе родного языка; из законов существования языкового сообщества и заложенных в нем народных задач вытекают возможность и обязательность воспитательного воздействия в смысле воспитания личности и народа" [Weisgerber 1934в: 302].

Языковое сообщество поднимается над другими формами человеческого общежития, подчиняясь особому закону, "который охватывает всех людей и все времена, куёт из людей народы, пролагает в качестве предпосылки путь к творениям культуры, преодолевает пространство и время, созидает и обеспечивает историческую взаимосвязь, в которой люди выступают как этнические члены и взаимодействуют в решении их задач" [Weisgerber 1934а: 357]. Наследие языка, охватывающее человека и сопровождающее его всю его жизнь, устремляет его в ту колею, общее направление

которой предопределяется живущей в родном языке картиной мира языкового сообщества, которая в свою очередь складывается "из взаимодействия крови, земли и духа" [Weisgerber 1934a: 362]. Именно владение этой общей картиной мира и проистекающие из нее возможности общения создают "плодотворное напряжение" в сообществе, которое позволяет использовать различия между конкретными носителями языка для "взаимного споспешествования" [Weisgerber 1934a: 362–363].

Правда, в указанный исторический период этническое приобретает для Вайсгербера черты политического и даже национального, что обуславливает и найденные им различия между ним и языковым сообществом. После войны этот аспект утратил свою актуальность, и к первоначальной идее тождества языкового сообщества и народа Вайсгербер практически не нашел никакого дополнения.

К началу тридцатых годов XX в. в немецком языкознании складывается целая группа ученых, так или иначе поддерживавших идею языкового сообщества и вносящих в эту идею свою особую интерпретацию.

Так, Х. Амманн еще в 1925 г. указывал во второй главе своей "Человеческой речи" на то, что "отдельный говорящий находится в кругу определенного языкового товарищества" [Ammann 1925: 17]. Это товарищество есть сообщество [Ammann 1925: 20], которое посредством общности языка скрепляется и отгораживается от стоящих вне этого языка людей. При анализе тезиса Вайсгербера о том, что языковые содержания выросли из общего опыта народа, что ничто так тесно не взаимосвязано с судьбой народа, чем взаимодействующий с ним язык, Амманн несколько поправляет этот тезис: «Здесь мне кажется, что понятие "взаимодействия" (Wechselwirkung) не вполне приемлемо для тесной связи языкового народа и языка, один из коих немислим без другого; скорее можно было бы говорить о взаимодействии между внешними судьбами народа и заложенным в его языке духовным достоянием (Besitz). Поэтому мне представляется, что вопрос о том, насколько духовное своеобразие народа создается его языком, поставлен не вполне логично; ведь язык и есть в сущности выражение этого своеобразия» [Ammann 1931: 64].

С другой стороны, он подчеркивает правоту Вайсгербера в том, что касается "судьбоносной связи народа и его языка", поскольку "понятие судьбоносного (schicksalhaft), если его продумать серьезно и до конца, позволяет углубить наше обычное каузальное объяснение, поскольку лишь этот поворот в осмыслении объясняет смысл борьбы за родной язык" [Ammann 1931: 64].

Г. Ипсен (1899–1984) отстаивает практически аналогичные идеи, утверждая: «Человеческий язык и сообщество суть, говоря конкретно, идентичные структуры... Язык есть развивающийся и превращающийся в мир, обнаруживающий и познающий себя как мир действенный дух сообщества; сообщество – это то "мы", которое осознает само себя и сообщает о себе в языке» [Ipsen 1931: 191]. Он полагает, что "все, что мы говорили здесь о языке – он есть человеческий мир как замкнутое и длительное жизненное пространство, он организм сам по себе и его полное содержание живет равномерно и спонтанно во всех его носителях – это не что иное, как конкретное понятие сообщества как такового: оно конституируется прямо-таки теми же моментами" [Ipsen 1931: 191]. Сходно с пониманием сообщества у Вайсгербера Ипсен обосновывает свое определение народа: "То сообщество, мир которого по сути есть мир языка и на которое язык воздействует, изначально созидая сообщество и сохраняя это сообщество, мы называем народом. Мир языка есть действительная основа и духовное предназначение народа, а жизнь народа – это историческая действительность языка" [Ipsen 1931: 191].

Г. Ипсен отмечает, что под народом (Volk) понимается та структура, которая одновременно является несущей основой и бесконечно значительным результатом нашей действительной истории, носитель как социальная структура органического слоя проистекающего; результат, в той степени и в том смысле, в которых ход и содержание нашей духовной и политической истории транспонируются в тот слой [Ipsen 1933: 11]. Народ выступает у Ипсена как некий "общий исторический субъект немецкой

истории, транспонированный в органический слой происходящего", но если общественные структуры этого слоя оказываются в известном смысле основой строения общественного организма, тогда Ипсен склонен говорить о *народности* (Volkheit) [Ipsen 1933: 16]. Этот термин, как известно, предпочитал и И.В. фон Гете, считая, что он более всех прочих отражает духовный характер народа, что он и есть характер народа. В отличие от него, концепт Volkstum выражает материальные и духовные элементы жизни народа, включая и его язык.

Такое мнение, граничащее с принижением роли сообщества как базового структурного закона социальной жизни, побудило Вайсгербера все же говорить о «слишком слабо подчеркнутом у Ипсена понимании социальной "действенности" отдельных языков как культурных достояний сообществ» [Weisgerber 1932a: 352]. С другой стороны, Вайсгербер соглашается с динамичной характеристикой народа, которую дает Ипсен: "Народ не есть, а происходит. Он осуществляется как непрерывное возрождение в смене поколений... Народ есть в существенной мере становление народа" [Ipsen 1931a: 51].

Практически слово в слово повторяет Вайсгербера Ф. Панцер, говоря о том, что язык есть "не отвлеченное бытие, не вещь, а возможность и достижение (Leistung)", поскольку "в каждый момент он должен заново созидаться каждым из его носителей и меняется таким образом с людьми, с которыми и посредством которых он живет" [Panzer 1926: 9]. Язык "непрестанно вбирает в себя новые настроения, новые мысли, новые впечатления" и становится тем самым "огромным архивом, в коем сохраняются все переживания нации – но не как запыленные пергаменты, а как вечно живые, вечно красноречивые свидетели ее деяний и страданий" [Panzer 1926: 9]. Силы, заложенные таким образом в языке, воздействуют на новые поколения и "передают друг другу через тысячелетия золотые ведра" – языковую картину мира [Panzer 1926: 9]. Столь высокая оценка языка заставляет Панцера уже в то время отстаивать необходимость создания государственного языкового ведомства для более активного культивирования родного языка [Panzer 1926: 21].

Весьма близка к идеям Вайсгербера позиция Х. Фрайера, который не считает социологическим определением сообщества тот случай, когда "всякое внутреннее, близкое, эмоциональное объяснение людей уже именуют сообществом", когда "людей не объединяет ясно выраженная цель" [Freyer 1931: 131]. Он трактует сообщество как "структурный закон общественной жизни, четко отличающийся от иных социальных структур, имеющий свои нерушимые предпосылки и несущий в себе определенную динамику" [Freyer 1931: 131]. Сообщество образуют люди лишь в том случае, если они выполняют три условия этого структурного закона: существование в рамках единого фатального пространства, единство духовного содержания, живущего в каждом члене сообщества, и структурирование этого содержания в особым образом устроенной жизненной взаимосвязи [Freyer 1929: 14].

Фрайер указывает и условие полной реализации этого структурного закона: "Только там, где целостным миром характерного духовного содержания с о о б щ а владеет целая группа". Это условие, по его мысли, в чистом виде воплощает в себе язык, ведь "существование языка в говорящей на этом языке общественной группе таково, что целое языка полностью живет в каждом конкретном члене языкового сообщества, наличествует в нем одновременно как владение (Besitz), которое реализуется в каждом акте говорения и понимания" [Freyer 1931: 132].

Фрайер подмечает одно исключительно важное качество языкового сообщества – *отсутствие элитарности*. Различия в индивидуальности "никогда не обосновывали исключительного владения определенными культурными достояниями, они никогда не обосновывали внутри группы социальных различий, несущих в себе идею господства" [Freyer 1931: 132]. Единственное преимущество тех, кто "наиболее совершенно воплощает в себе общее для всех владение миром", определяется Фрайером как авторитет. Авторитет – это самая характерная форма личности конкретных членов сообщества, означающая, в трактовке Фрайера, что "содержание

или достойные, также присущее всем прочим, репрезентируется определенным индивидуумом в совершенстве – но в качестве все того же содержания" [Freyer 1931: 132].

Фрайер гораздо более метафизичен, чем Ипсен, наделяя народ *этническим духом* в качестве особого его качества, но для него "всякий дух народа – индивидуальность метафизического порядка, не выводимая из чего-то иного, не сводимая друг к другу, своеобразная до своего основания", а народ "в своеобразии его природы и его предопределения становится прямо-таки *principium individuationis* духовного мира, он становится содержательным исполнителем морального императива и тем самым центральным понятием как этики, так и метафизики" [Freyer 1929: 17]. Давая такое определение этническому духу, Фрайер, естественно, ссылается на немецкую философскую традицию, прежде всего на гегелево учение о духе народа (*Volksgeist*), воплощающем в себе некие силы, которыми владеет и пользуется каждый народ при решении поставленных перед ним специфических задач. Однако и в целом для немецкой философии, как считает Фрайер, "народ прежде всего и в своей основе – не социальный продукт, не совокупность сословий, классов, общественных возможностей и политических прав, но это для нее прежде всего и в своей основе – фонд сил (*Kraftfonds*) и моральная индивидуальность, существующая с естественным своеобразием, творческая способность неповторимой ценности. Иначе говоря: народ для немецких философов есть, прежде всего, и в своей основе не политико-социальное образование, а эмоционально-духовное образование, он для них не является общественным порядком или государством, но он есть народный дух, народное" [Freyer 1929: 17]. Составными частями этого понятия народа являются для немецкого мышления те высшие духовные сообщества, которыми являются философия, религия, мораль, искусство и наука [Panzer 1926: 6].

Нетрудно заметить, что такому метафизическому толкованию народного духа Вайсгербер противопоставляет *отождествление духа народа с его языковой картиной мира*. Анализируя дефиниции Фрайера и Панцера, он добавляет к высшим сообществам, конституирующим народ, языковое сообщество, а затем приходит к выводу, что народ конституируется только языком [Weisgerber 1932: 53].

Еще одно различие между концепциями Фрайера и Вайсгербера связано с тем, что Фрайер считает сообщество структурным принципом, слоем в собственном смысле, обязательно присутствующим в каждом народе, но он отмечает, что "современный народ – конечно, не сообщество в том смысле, что его структурный закон был бы тем самым исчерпывающе определен" [Freyer 1931: 133]. Вайсгербер же считает, что духовное содержание народного пространства и картина мира языка этого народа в такой степени совпадают, что языковое сообщество следует рассматривать как основу народного сообщества. Народ для Фрайера – это языковое сообщество, сообщество политической судьбы, сообщество единого происхождения [Freyer 1931], и это определение указывает нам на некое формирующееся в тридцатые годы прошлого столетия особое понятие. По крайней мере, Фрайер недвусмысленно относит к условиям превращения этноса (*Volkheit*) в народ (*Volk*) "стремление стать автономным волевым субъектом, то есть сформироваться политически" [Freyer 1929: 21].

Неогумбольдтианец, а позднее – апологет национал-социалистического расового языковедения, Г. Шмидт-Рор в первой своей работе рассматривает языковое сообщество как *сообщество воли и сообщество совести* [Schmidt-Rohr 1917: 23], являющееся таковым "прежде всего в политической сфере, но не при всех условиях", причем он считает процесс складывания таких сообществ довольно новым явлением в истории народов, но не всех, а лишь "особо поощряемых судьбой" [Schmidt-Rohr 1932: 132]. Мнение Шмидт-Рора о языковом сообществе часто отзывалось на политическую злобу дня и выражало его отрицательное в тот момент отношение к нацизму: «Оно вовсе не обязательно представляет собой сообщество людей с выражаемыми в полный голос мыслительными и оценочными привычками, оно не обязательно есть "общество", несущее знамена, носящее форму и собирающееся под барабанный бой вокруг выпрепленных заверений в верности каким-либо взглядам. Это тихое

сообщество пути и сущности, сообщество воли в смысле народного этоса (намека на "Ethos der Teilhabe" Н. Гартманна. – *О.Р.*). Оно существует, невзирая на предательство и подлость. Оно существует, и мы не способны оградить себя от него, ведь оно нас формирует незаметно для нас самих» [Schmidt-Rohr 1932: 132]. Даже более того, "и способ чувствовать у конкретного человека подчиняется воспитательному влиянию языкового сообщества. Наше мышление и оценка в их связи с понятиями основаны на предпосылках, которые были созданы в столетнем труде языкового сообщества" [Schmidt-Rohr 1932: 126].

В этом превосходном определении языкового сообщества Шмидт-Рор выдвигает на передний план именно *волевой и сущностный характер* со-общественного объединения. Разъясняя этот аспект, он утверждает: "Единства сущности воли, имеющие собственно решающее значение среди всех групповых образований земли, – это все-таки языковые сообщества. Наш родной язык представляет собой великую ведущую нас эмоционально-духовную судьбу" [Schmidt-Rohr 1932: 133]. Существенной разницей между этими мыслями и идеями Вайсгербера нельзя не считать изначальную политизированность Шмидт-Рора, возобновившего свою активную научную деятельность после довольно длительного перерыва сразу же с работ, посвященных языковому империализму европейских держав, направленному против носителей немецкого языка [Schmidt-Rohr 1931].

Вайсгерберу же признание личности языкового сообщества было присуще даже в весьма сложное время потери ориентиров, во времена нацизма, когда он продолжал утверждать: «Язык как сформированный духовный мир характеризует языковое сообщество прежде всего как сообщество духовной природы. Доля, которую составляет участие языкового сообщества в становлении "объективного духа" и тем самым во всех прочих формах сообщества, ведет еще на один шаг дальше – к признанию языкового сообщества основной формой духовного сообщества», и даже более того – "тот, кто считает решающим для человеческого сообщества всякого рода возможность духовного объединения и общения внутри того же мыслительного мира, и тем самым одновременно историческое существование, для того... языковое сообщество должно быть основной формой человеческого сообщества вообще" [Weisgerber 1934: 159].

Шмидт-Рор предложил и свой вариант соотношения языкового и этнического. По его мнению, народ – "групповая личность в собственном смысле, особенность которой обусловлена ее языком, единичными эмоционально-духовными средствами формирования нашего видения мира (Weltanschauung), нашего человеческого бытия", и более того, – "народ есть в собственном смысле языковой народ" [Schmidt-Rohr 1932: 272]. Поэтому Шмидт-Рор делает идентичный взглядам Вайсгербера вывод о том, что немцы "являются немцами прежде всего благодаря своему языку, и если они откажутся от своего языка, то они откажутся тем самым и от своей немецкой души" [Schmidt-Rohr 1934: 412]. А это означает практически потребность в том, чтобы "везде в рейхе пробудить более четкое, уверенное осознание того, как неразрывно сущностно связаны язык и народ. Но одного знания еще не достаточно. Несгибаемая, упорная воля к борьбе за наш язык как нашу национальную святыню должна пробудиться во всем немецком народе", так что каждый немец внутри рейха и вне его должен считать свой язык священным и почитать его как мать "немецкости" [Schmidt-Rohr 1934: Sp. 412].

Здесь критики обнаруживают в тезисе Шмидт-Рора о выдающейся роли языка в формировании народного сообщества одно существенное слабое место – недостаточный учет религии как фактора народного единства. О. Лерх полагает в этой связи, что действие данного утверждения следовало бы ограничить Европой и Америкой, поскольку он "не справедлив для Ближнего Востока, где и ныне религия предшествует языковому сообществу... Магометанин-малаец чувствует себя намного ближе к своему единоверцу из Марокко, чем к своему соплеменнику-буддисту" [Lerch 1934: 122]. Справедливости ради надо сказать, что и относительно современной Европы

приходится делать серьезные оговорки, достаточно указать на конфликт между сербами, хорватами и боснийскими мусульманами, где языковые различия пока не так уж и велики, хотя процесс формирования автономных хорватского, сербского и боснийского языков по политическим причинам весьма педалируется.

В отличие от Вайсгербера, Шмидт-Рор отталкивается от тождества языкового сообщества и народа как данного заведомо. Тема его рассуждений была связана с другим концептом, никогда не игравшим для Вайсгербера никакой роли – *нацией*.

Отмечая весьма важные совпадения во взглядах Шмидт-Рора и других неогумбольдтианцев, прежде всего Вайсгербера, необходимо сделать принципиальное заключение о том, что Шмидт-Рору принадлежит не просто один из вариантов языковой социологии, построенной на принципах Гумбольдта, а совершенно определенным образом ориентированное альтернативное учение в рамках неогумбольдтианства, главной идеей которого становится уже не языковой народ (признаваемый в целом наиболее важной силой в процессе формирования личности, даже более могучей, чем происхождение), а нация как более высокая ступень (политического) самосознания народа. Шмидт-Рора интересует не проблема приоритета языкового народа перед остальными формами общественной жизни людей, а вопрос о том, чему отдать предпочтение как высшей ступени развития этой общественной жизни – расе или нации. В качестве единомышленников он называет Э. Гайслера, В. Шнайдера и Ф. Тирфельдера, Х. Клосса, одновременно характеризуя их как "аутсайдеров в научной жизни". Проблематика картины мира в данной концепции пала жертвой политических амбиций довольно талантливого лингвиста и предопределила судьбу и его концепции, и его самого.

Заключение

Немецким философам языка удалось в процессе дискуссий о скрепляющем духовном медиуме базовых человеческих коллективов – картине мира народов-носителей родного языка – определить каталог параметров такого коллектива, который способен создавать, обогащать и передавать по наследству этот медиум. Однако языковое сообщество испытало на себе судьбу своего pendant – период блистательных споров о духовных параметрах "языковой нации" сменился в 70-х гг. XX в. практически забвением этого существенного феномена духовной жизни человечества. Даже пробуждение лингвофилософского интереса к картине мира как таковой еще не повлекло за собой повторного открытия "духовного коммуниста" в отечественной философии языка и лингвосоциологии. Между тем, социальный аспект языковой картины мира, как показывает опыт дискуссий на эту тему в немецкой научной среде прошлого века, только и способен объяснить факт существования такого отличительного признака человеческих коллективов, как их способность воспринимать мир в конкретно-языковом преломлении, объясняющую в конечном итоге варианты и вариации на тему "концептуальной", "наивной" картин мира, образов мира и способов его концептуализации. В конечном итоге этот парный феномен "языковая картина мира – языковое сообщество" призван разъяснить нам смысл и суть концептуального наследия идиоэтнической философии языка XX века – признание исключительной ценности каждого языка как уникальной памяти данного языкового народа и как мерцающего ориентира на пути непременно особого у каждого народа освоения мира.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Апресян Ю.Д. 1995 – Избранные труды. Т. 2: Интегральное описание языка в системе лексикографии. М., 1995.
Арутюнова Н.Д. 1998 – Язык и мир человека. М., 1998.

- Бондарко А.В., Шубик С.А.* 2002 – Проблемы функциональной грамматики: семантическая инвариантность/вариативность. СПб., 2002.
- Булыгина Т.В., Шмелев А.Д.* 1997 – Языковая концептуализация мира. М., 1997.
- Вендина Т.И.* 1998 – Русская языковая картина мира сквозь призму словообразования (микроросм). М., 1998.
- Дюркгейм Э.* 1991 – О разделении общественного труда. Метод социологии. М., 1991.
- Закуткина Н.А.* 2001 – Феномен диалектной картины мира в немецкой философии языка XX века. Дис. ... канд. филол. наук. М., 2001.
- Караулов Ю.Н.* 1987 – Русский язык и языковая личность. М., 1987.
- Корнилов О.А.* 1999 – Языковые картины мира как производные национальных менталитетов. М., 1999.
- Кубрякова Е.С.* 1991 – Человеческий фактор в языке: язык и порождение речи. М., 1991.
- Лихачев Д.С.* 1993 – Концептосфера русского языка // ИАН ОЛЯ. 1993. № 1.
- Маковский М.М.* 2000 – Феномен табу в традициях и в языке индоевропейцев. М., 2000.
- Пименова М.В.* 1999 – Этногерменевтика языковой наивной картины внутреннего мира человека. Кемерово, 1999.
- Постовалова В.И.* 1987 – Существует ли языковая картина мира? // Язык как коммуникативная деятельность человека. Сборник научных трудов МГПИИЯ. Т. 284. М., 1987.
- Радченко О.А.* 1997 – Язык как мирозидание. Лингвофилософские основы неогумбольдтианства. Т. 1–2. М., 1997.
- Радченко О.А.* 2000 – Проблема языкового сообщества в немецкой философии языка первой половины XX века // ВЯ. 2000. № 4.
- Радченко О.А.* 2001 – Лингвофилософские опыты В. фон Гумбольдта и постгумбольдтианство // ВЯ. 2001. № 3.
- Степанов Ю.С.* 1997 – Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М., 1997.
- Телия В.Н.* 1996 – Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. М., 1996.
- Топорова Т.В.* 1994 – Семантическая структура древнегерманской модели мира. М., 1994.
- Хайруллина Р.Х.* 1996 – Картина мира в русской фразеологии. М., 1996.
- Шнем Г.Г.* 1927 – Введение в этническую психологию. М., 1927.
- Шнем Г.Г.* 1927а – Внутренняя форма слова (Этюды и вариации на тему Гумбольдта). М., 1927.
- Ammann H.* 1925 – Die menschliche Rede. Sprachphilosophische Untersuchungen. Bd. 1. Die Idee der Sprache und das Wesen der Wortbedeutung. Leipzig, 1925.
- Ammann H.* 1931 – IF. 49, 1931 – Rez.: L. Weisgerber. Muttersprache und Geistesbildung.
- Böhm M.N.* 1932 – Das eigenständige Volk. Volkstheoretische Grundlagen der Ethnopolitik und Geisteswissenschaften. Göttingen, 1932.
- Fichte J.G.* 1808 – Reden an die deutsche Nation (1808) // Fichte J.G. Sämtliche Werke. Bd. VII, Berlin, 1846.
- Freyer H.* 1929 – Gemeinschaft und Volk // Krüger Felix (Hrsg.) Philosophie der Gemeinschaft, Berlin, 1929.
- Freyer H.* 1931 – Einleitung in die Soziologie. Leipzig, 1931.
- Gipper H., Schwarz H.* 1966 – Bibliographisches Handbuch zur Sprachinhaltsforschung. T1 I. Bd. 1. A–G. Köln; Opladen, 1966.
- Hartmann N.* 1933 – Das Problem des geistigen Seins. Leipzig, Berlin, 1933.
- Humboldt W. von 1827–1829* – Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues (1827–1829) // Werke, hrsg. von A. Leitzmann, Bd. VI, Berlin, 1906.
- Humboldt W. von 1830–1835* – Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluß auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechtes (1830–1835) // Werke, hrsg. von A. Leitzmann, Bd. VII, 1, Berlin, 1907.
- Ipsen G.* 1931 – Sprache und Gemeinschaft // Bericht über den 12. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Psychologie in Hamburg, 1931.
- Ipsen G.* 1931a – Das deutsche Volkstum im Zeitalter Napoleons // Blätter für deutsche Philologie 5, 1931.
- Ipsen G.* 1933 – Programm einer Soziologie des deutschen Volkstums. Berlin, 1933.
- Lerch E.* 1934 – Zeitschrift für Französischen und Englischen Unterricht. 33, Hf. 2. 1934. – Rez.: G. Schmidt-Rohr. Unsere Muttersprache als Waffe und Werkzeug des deutschen Gedankens.

- Panzer F.* 1926 – Volkstum und Sprache. Rektoratsrede, gehalten bei der Stiftungsfeier der Universität Heidelberg am 22.11.1926. Heidelberg, 1926.
- Schmidt-Rohr G.* 1917 – Unsere Muttersprache als Waffe und Werkzeug des deutschen Gedankens. Jena, 1917.
- Schmidt-Rohr G.* 1931 – Von der stillen Bedrohung unseres Volkstums // Heilige Ostmark 7, 1931.
- Schmidt-Rohr G.* 1932 – Die Sprache als Bildnerin der Völker. Eine Wesens- und Lebenskunde der Volkstümer. Jena, 1932.
- Schmidt-Rohr G.* 1934 – Volkstumserhaltung durch Spracherhaltung // Muttersprache 49, 1934.
- Tönnies F.* 1887 – Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der reinen Soziologie. 1. Aufl. Darmstadt, 1887.
- Tönnies F.* 1918 – Menschheit und Volk. Graz; Leipzig, 1918.
- Vierkandt A.* 1923 – Gesellschaftslehre. Hauptprobleme der philosophischen Soziologie. Stuttgart, 1923.
- Vierkandt A.* 1931 – Handwörterbuch der Soziologie. Stuttgart, 1931.
- Weisgerber J.L.* 1925 – Sprache als gesellschaftliche Erkenntnisform. Eine Untersuchung über das Wesen der Sprache als Einleitung zu einer Theorie des Sprachwandels. Bonn, 1925. (Habilitationsschrift).
- Weisgerber J.L.* 1930 – Die Zusammenhänge zwischen Muttersprache, Denken und Handeln // Zeitschrift für deutsche Bildung 6, 1930.
- Weisgerber J.L.* 1930a – Sprache // Handbuch der Soziologie. Hrsg. von A. Vierkandt. Stuttgart, 1931.
- Weisgerber J.L.* 1931 – Persönlichkeits- und Volkserziehung durch die Muttersprache // Zur Grundlegung der ganzheitlichen Sprachauffassung. Düsseldorf, 1964.
- Weisgerber J.L.* 1932 – Muttersprachliche Bildung // Handbuch der Erziehungswissenschaft. T1. IV, Bd. 2. Die deutschsprachige Jugendbildung in ihren Grundlagen. München, 1932.
- Weisgerber J.L.* 1932a – Blätter für deutsche Philosophie 5, 1931–32. – Rez.: G. Ipsen. Sprachphilosophie der Gegenwart.
- Weisgerber J.L.* 1933 – Das Wörterbuch der sprachwissenschaftlichen Terminologie. Plan, Vorarbeiten, Ziel und Durchführung // Schmidt, Probe eines Wörterbuchs der sprachwissenschaftlichen Terminologie. Berlin; Leipzig, 1933.
- Weisgerber J.L.* 1934 – Die Stellung der Sprache im Aufbau der Gesamtkultur. Heidelberg, 1934.
- Weisgerber J.L.* 1934a – Die Sendung der deutschen Sprache für die Volksgemeinschaft // Die deutsche Schule (Hannover) 38, 1934.
- Weisgerber J.L.* 1934b – Der Beitrag der Sprachforschung zur Volkswissenschaft // Volksspiegel (München) 1, 1934.
- Weisgerber J.L.* 1934b – Sprachgemeinschaft und Volksgemeinschaft und die Bildungsaufgabe unserer Zeit. Frankfurt-am-Main, 1934.
- Weisgerber J.L.* 1936 – Sprache und Begriffsbildung // Actes du quatrième Congrès international des linguistes. Tenu à Copenhague du 27 août au 1-er septembre 1936. Copenhague, 1938.
- Weisgerber J.L.* 1939 – Die volkhafte Kraefte der Muttersprache // Beiträge zum neuen Deutschunterricht / Hrsg. von A. Huhnhauser et al. Frankfurt-am-Main, 1939.
- Weisgerber J.L.* 1941 – Die deutsche Sprache im Aufbau des deutschen Volksdenkens // Von deutscher Art in Sprache und Dichtung / Hrsg. im Namen der germanistischen Fachgruppe von G. Fricke, F. Koch, K. Lugowski. Bd. 1. Stuttgart; Berlin, 1941.
- Weisgerber J.L.* 1943 – Walhisk. Die geschichtliche Leistung des Wortes welsch // Rheinische Vierteljahrsblätter (Bonn) 13, 1943.
- Weisgerber J.L.* 1948 – Die Entdeckung der Muttersprache im europäischen Denken. Lüneburg, 1948.
- Weisgerber J.L.* 1950 – Die geschichtliche Kraft der deutschen Sprache. Düsseldorf, 1950.
- Weisgerber J.L.* 1951 – Das Gesetz der Sprache als Grundlage des Sprachstudiums. Heidelberg, 1951.
- Weisgerber J.L.* 1953 – Die sprachliche Zukunft Europas. Lüneburg, 1953.
- Weisgerber J.L.* 1963 – Die muttersprachlichen Bedingungen des geistigen Lebens // Sprache und Predigt. Ein Tagungsbericht / Hrsg. von M. Frickel, Würzburg, 1963.
- Weisgerber J.L.* 1964 – Die Sprache als Triebfeder in der Geschichte // Spiegel der Geschichte. Festgabe für Max Braubach zum 10. April 1964 / Hrsg. von K. Repgen, St. Skalweit. Münster, 1964.
- Weisgerber J.L.* 1966 – Die Sprachgemeinschaft als Gegenstand sprachwissenschaftlicher Forschung. Köln; Opladen, 1967.
- Weisgerber J.L.* 1971 – Die geistige Seite der Sprache und ihre Erforschung. Düsseldorf, 1971.
- Weisgerber J.L.* 1975 – Die anthropologische Tragweite der energetischen Sprachbetrachtung // Neue Anthropologie / Hrsg. von H.-G. Gadamer, P. Vogler. Stuttgart, 1975.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.): В десяти томах. Т. VI: (овадъ – покласти) / Гл. ред. И.С. Улуханов. М.: Азбуковник, 2000. 608 с.

Вышел из печати VI том "Словаря древнерусского языка (XI–XIV вв.)", который давно был ожидаем как специалистами в области исторического языкознания, так и всеми теми, кто интересуется этнолингвистическими материалами. Первые четыре тома СДРЯ были опубликованы в 1988–1991 гг. Прошли долгие 9 лет, прежде чем удалось возобновить издание СДРЯ, и оно свидетельствует о том, что научный потенциал палеорусистических исследований в эти годы не только не иссяк, но и возрос. Изменилась научная парадигма, и это сказалось на осмыслении основополагающих принципов исследовательского труда, разработанных под руководством первого главного редактора СДРЯ Р.И. Аванесова. В новышедшем томе СДРЯ полно и продуктивно проявилось сотрудничество лингвистов и источниковедов.

Редакционная коллегия Словаря и состав авторов словарных статей претерпели в новом томе довольно серьезные изменения, которые отчасти объясняются сменой поколений в отечественной русистике и источниковедении. На титульном листе VI тома имена многих ученых помещены в траурные рамки: ушли из жизни В.Л. Виноградова, В.П. Вомперский, Л.П. Жуковская, Н.П. Зверковская, Д.С. Лихачев, А.И. Толкачев, Н.И. Толстой, Н.В. Чурмаева, Д.Н. Шмелев.

Хотя в новом томе Словаря сохранено концептуальное основание первых изданий, во многом его научные параметры подверглись радикальному обновлению. Следует сразу же заметить, что начинания, призванные улучшить лингвистические характеристики Словаря, в VI томе проведены последовательно и полно. В этом несомненная заслуга новой редколлегии СДРЯ, которую возглавляет И.С. Улуханов.

Немаловажную роль в улучшении параметров СДРЯ сыграло включение в состав редакционной коллегии и авторского коллектива

В.Б. Крысько. Он не только составил "Дополнения и уточнения к списку источников", но и внес в данный том материал из новых источников и привел порядок цитат в статьях Словаря в соответствие с уточненными датировками источников. Кроме того, совместно с С.В. Дегтевым им были подобраны новые греческие параллели к источникам.

"Дополнения и уточнения к списку источников" имеют большой объем (с. 16–65) и содержат чрезвычайно важную историческую информацию. Их имело бы смысл издать также и отдельной книжкой. Тираж каждого из первых четырех томов Словаря составлял 26000 экземпляров, а тираж VI тома – всего лишь 1500 экземпляров. Цифры говорят сами за себя. Понятно, что новый том с "Дополнениями и уточнениями" смогут приобрести далеко не все, кто бы этого хотел, поэтому отдельное издание "Дополнений и уточнений" могло бы стать важным приложением к первым четырем разошедшимся томам СДРЯ. Однако наилучшим решением была бы допечатка всего тиража до прежних размеров или увеличение тиража.

Большинство материалов Словаря получило углубленную хронологическую характеристику – с точностью до полувека или даже четверти столетия, что стало возможным после публикации сводных источниковедческих каталогов, а также благодаря отдельным публикациям и консультациям источниковедов. Временные параметры источников в новом списке зачастую изменены весьма существенно. Ср. прежние и новые датировки, в частности, в следующих случаях: Ап XIV (1) vs. Ап 1389–1406; ГА XIII–XIV vs. ГА XIV₁; Гр 1189–1199 (новг.) vs. Гр 1191–1192 сп. 1259–1262 (новг.); Гр XIV (4, полоцк.) vs. Гр 1377–1387 (1, полоцк.); ЕвПант XII–XIII vs. ЕвПант 1148–1155; ИларПоуч XI сп. XII–XIII vs. ИларПоуч XI сп. сер. XIII; Кириер XII–XIII vs. Кириер XI–XII; ЛН XIII–

XIV vs. ЛН XIII₂ (л. 1–118 об.) и ЛН ок. 1330 (л. 119–166 об.); Мин (Путят.) ок. 1100 (май) vs. МинПут XI (май); Надп XII (15) vs. Надп X/XI; Надп XII (3) vs. Надп сер. XI; Парем XIV–XV vs. Парем XIII₂; Пр XIII vs. Пр XIV (1); Псалт 1292 vs. Псалт XIV₁ (1) и мн. др. Насколько серьезно в результате этого могут поменяться наши представления о хронологическом статусе памятников письменности, подтверждается также исключением ряда текстов из списка источников Словаря. Так, в VI томе сняты, в частности, следующие источники: Апок XIV, как оказалось, датируется не XIV, а первой третью XV в.; Гр 1269 (новг.) является фальсификатом; Дионареоп XIV в действительности датируется второй четвертью XV в.; Ев 1392 (2) – последней четвертью XV в.; Надп к. XIV (3) – второй половиной XV в. Вместе с тем с логикой подобных поновлений не всегда можно согласиться. Вряд ли целесообразно было снимать некоторые из расписанных в картотеке СДРЯ источников начала XV в. – например, таких как АввДороф к. XIV или Хрон XIV на том основании, что они датируются в действительности началом XV в. Рубеж веков не мог быть пограничным столбом для языкового сознания, которое в существенных своих чертах в начале XV в. принадлежит предшествующей, древнерусской, эпохе.

"Дополнения и уточнения к списку источников" фиксируют значительное расширение состава древнерусских памятников, материал которых представлен в Словаре начиная с VI тома. Появление сводных изданий древнерусской эпиграфики позволило включить в состав источников сотни древнерусских надписей. Учен накопленный за прошедшие годы обширный материал древнерусских записей, подписей и приписок, между которыми в Словаре начиная с VI тома справедливо проводится разграничение. Полностью включен в состав источников Словаря богатейший материал письменности на бересте по публикациям последних сорока лет. Таким образом, источниковедческая база словаря существенно увеличилась, и прежде всего за счет привлечения письменных памятников, ближе всего стоящих к древнерусской разговорной речи.

Отрадно заметить, что в томе "отдельные, древнерусские по происхождению, тексты религиозного содержания" – Слова Кирилла Туровского, Поучения Серапиона Владимирского, Чтение о Борисе и Глебе. Сделана попытка преодолеть главный изъян "Словаря древнерусского языка (XI–XIV вв.)" – отсутствие среди его источников множества памятников, относящихся к такой важной

стороне жизни древнерусского общества, как духовно-религиозное просвещение. Рукописные книги церковно-книжного характера уцелели в наибольшем числе. Это не должно снижать интереса к ним, поскольку, по справедливому замечанию Р.И. Аванесова, "для истории народного языка и исторической диалектологии богослужебные книги и другие книги высокой церковно-религиозной литературы... дают не меньший, если не больший материал, чем, например, грамоты и юридические документы" [Аванесов 1973: 10]. К сожалению, в исторической русистике долгое время существовал неоправданный нигилизм в отношении к церковнославянским памятникам как источникам сведений о языковой динамике. Система языковых представлений древнерусского общества воплотилась во всей совокупности созданных им письменных источников, и ее реконструкция возможна лишь при обращении ко всему их обширному многообразию. Поэтому в будущем неизбежно возникает необходимость издания словарных дополнений – после включения в лексикографическое описание большей части дошедших до нас книжных богатств Древней Руси.

Исследователям предстоит решить, материал каких церковно-книжных памятников может быть включен в число новых источников Словаря. Стремление представить древнерусскую лексику в чистом виде, вне южнославянского влияния подталкивает к историческому редуccionизму. Переводные памятники, материал которых уже был использован в Словаре, нередко восходят к южнославянским протографам. Естественное культурное воздействие греко-византийских и южнославянских источников представляет собой несомненный исторический факт, и его игнорирование лишь препятствует точности и адекватности научного описания. Нельзя забывать, что южнославянские протографы выступали и как емкое основание узуального закрепления общеславянской лексики. Вместе с тем нет сомнений в том, что приоритет в лексикографической работе должен принадлежать рукописным памятникам, имевшим устойчивое бытование именно в древнерусских землях. Неоднородность лексического состава может быть зафиксирована с помощью техники словарных помет. Материал вышедших томов не дает оснований исходить из церковнославянско-древнерусского двуязычия как реально-исторического факта: гомогенное разнообразие лексических форм не разрывало языкового сознания. А именно на это положение опирался Р.И. Аванесов, предлагавший создание особого цер-

ковнославянского словаря, который "был бы естественным продолжением словаря старославянского языка" и "дополнял бы словари древнерусского, старорусского, староукраинского и старобелорусского языков" [Аванесов 1966: 16].

При всей несопоставимости масштабов историколингвистической базы и научного уровня нового Словаря и классического труда И.И. Срезневского в исследованиях по исторической русистике не удастся обойтись без обращения к материалам Срезневского и следующим за ними данным "Словаря русского языка XI–XVII вв." В VI томе отсутствуют десятки лексем, которые засвидетельствованы у Срезневского по небольшому числу церковнославянских памятников XI–XIV вв. – Остромирову Евангелию 1056–1057 г., Изборнику 1073 г., Путятиной Минее XI в., Минеев 1095–1097 гг., Пандектам Антиоха XI в., Чудовской Псалтыри XI в., XIII Словам Григория Назианзина XI в., Синайскому Патерику к. XI в., Юрьевскому Евангелию 1119–1128 гг., Златоустрию XII в., Слово Ипполита Римского об Антихристе к. XII в., Апостолу 1220 г., Паренесиусу Ефрема Сирина 1269–1289 гг. и 1377 г., Псалтыри XIV₁ и др. VI том СДРЯ включает детально проработанные словарные статьи, которые представляют новые материалы по исторической лексикологии, словообразованию и грамматической семантике. Вместе с тем в нем отсутствуют, например, следующие словарные статьи: *огавити*, *оглаголатисѧ*, *огласовати*, *огнеметьньши*, *огнеслуженыи*, *огньникъ*, *одиначдыи*, *одѣло*, *ожалити*, *ожесточатисѧ*, *озаревати*, *оземлити*, *окърмление*, *окърмьчствовати*, *омрачевати*, *омулитисѧ*, *опрамитисѧ*, *опустѣние*, *оритель*, *осладовати*, *османути*, *оструити*, *оструивѣти*, *остудитисѧ*, *осѣѣти*, *отравьникъ*, *отѣвивати*, *отѣвиватисѧ*, *отѣвыкнути*, *отѣгонитель*, *отѣпрѣтати*, *отѣвхнути*, *отѣрасти*, *отѣродие*, *отѣселити*, *отѣступъ*, *отѣсълатисѧ*, *отѣцедосадитель*, *отѣчстволюбие*, *отѣшьльць*, *охапати*, *охладити*, *охластити*, *оцьтъньши*, *оцьѣжати*, *оцьѣлѣти*, *оцьѣстило*, *очарование*, *очесати*, *очесьньши*, *очистовати*, *очървление*, *набрадѣкъ*, *накърождение*, *палати*, *паскудьньши*, *пастушькъ*, *пастыреначальный*, *пекъ*, *перегннути*, *пивание*, *пипелование*, *пирьникъ*, *пирьньши*, *пиранинъ*, *пищевание*, *пищаньчивыи*, *пищаньчство*, *пищаньчствие*, *пламенити*, *плинути*, *плодородьствити*, *плѣтопавленьи*, *плѣсьнь*, *плѣсавица*, *побѣдовати*, *побѣдолюбие*,

побѣдоносньши, *побѣдотворьць*, *побѣждати*, *пованити*, *повапньити*, *повирати*, *повреждати*, *повъзюкати*, *повѣдь*, *повѣдьникъ*, *повѣстель*, *повѣстькъ*, *поглѣчати*, *погоньць*, *погосподьствовати*, *погребание*, *погрѣхъ*, *податьница*, *податьньши*, *подвигодавьць*, *подобитель*, *подобить*, *подобовредьньши*, *подобострастие*, *подоити*, *подражатель*, *подъжагати*, *подъжизьникъ*, *подъметъ*, *подънебесие*, *подъпрѣжъ*, *подъходъ*, *пожъртовати*, *позыбити* и др.

Подобные расхождения между словарями имеют и другую сторону. В СДРЯ материал словарных статей хронологически детально разработан. Лексические значения даются в порядке их первой фиксации. Однако эти первые фиксации лексем в СДРЯ зачастую значительно отстоят от более ранних фиксаций, которые представлены в церковнославянских памятниках русского извода. Ср., в частности, у Срезневского¹, а также в Словаре русского языка XI–XVII вв., с одной стороны, и в Словаре древнерусского языка XI–XIV вв., с другой: *оставлатисѧ* Остр. ев. 1056–1057 г. vs. ПрЛ 1282; *островъ* Гр. Наз. XI в. vs. Гр 1192–1210; *оструение* Мин. 1096 г. (окт.) vs. ГБ к. XIV; *оструение* Панд. Ант. XI в. vs. СбТР XII/XIII; *осъниту* Остр. ев. 1056–1057 г. vs. ГА XIV₁; *осѣзати* Остр. ев. 1056–1057 г. vs. ГБ к. XIV; *отрава* Пат. Син. к. XI в.² vs. КР 1284; *отреби* Изб. 1073 г., Панд. Ант. XI в., Апост. посл. по сп. 1220 г. vs. ГБ к. XIV; *отрокъ* Остр. ев. 1056–1057 г. vs. ЖФП XII, *отвѣратъ* Гр. Наз. XI в. vs. ГБ к. XIV; *отвѣрьшь* Гр. Наз. XI в., Златоустр. XII в. vs. ПрЮр XIV₂; *отѣганати* Мин. 1096 (сент.) vs. ГА XIV₁; *отѣключити* Пат. Син. к. XI в. vs. СБУв XIV₂; *отѣлагати* Панд. Ант. XI в. vs. КР 1284; *отлѣчити* Остр. ев. 1056–1057 г. vs. ЖФСт к. XII; *отѣметание* Гр. Наз. XI в. vs. ПрЛ 1282; *отѣмывати* Мин. 1096 г. (сент.) vs. КР 1284; *отѣмѣритисѧ* Юр. ев. 1119–1128 гг. vs. МПр XIV₂; *отѣнемочи (-щи)* Златоустр. XII в. vs. СбЧуд к. XIV (1); *отлѣгчати* Мин. 1097 г. vs. ЛЛ 1377; *оцьрнение* Панд. Ант. XI в. vs. ГБ к. XIV; *подънебесньши* Юр. ев. 1119–1128 гг. vs. Пал 1406; *пожържати* Мин. 1096 г. (сент.) vs. ГБ к. XIV; *подобити* Остр.

¹ Сохраняются сокращенные названия памятников, принятые в словаре Срезневского, с указанием уточненных датировок.

² Материал Синайского Патерики конца XI в., в котором немало восточнославянизмов, полностью расписан в картотеке СДРЯ, но в Словарь включены лишь записи писцов.

ев. 1056–1057 г. vs. ГБ к. XIV; *пожидати* Пат. Син. к. XI v. vs. ЛЛ 1377 и др.

Вместе с тем сотни слов, включенные в VI том СДРЯ, представлены впервые или впервые даны в столь ранних фиксациях. См.: *овѣлховати, овдовѣти, оглавыство, оглаголоватисѧ, огневидѣтъ, огненошьць, огнеслужитель, огнѣватисѧ, оголовь, оградъница, оградъничити, оградъничьство, огреновение, огрѣмѣти, огрѣбати, огрѣтисѧ, огуствѣвати, одарѣти, одивити, одии, одиначьство, одушевленъ, одѣждѣтисѧ, одьнордѣно, одѣванье, одѣлати, ожагати, ожатисѧ, ожененье, ожерельныи, ожеститисѧ, ожесточитисѧ, ожещение, оживати, оживлѣтисѧ, оживотворитисѧ, ожигати, ожиждовитисѧ, озаконенъ, озарѣтисѧ, оземьствованыи, оземьствоватисѧ, оземьствѣнъ, озѣрныи, озобильныи, озѣлоблѣтисѧ, окаменѣти, оканьствовати, оклевета, оклеветатель, оклеветовати, оклоснѣти, оковѣць, окольниш, окоповатисѧ, окрадати, окрадывати, окраплѣти, окрасоватисѧ, окращатисѧ, окрои, окроплѣти, округъшьствие, окружанье, окружение, окружье, окрѣвѣлѣти, окрѣвити, октѣбрьскыи, окупникѣ, окърнение, олена, оликестьи, олишатисѧ, олкарфось, оловѣница, олѣ, омазатисѧ, омахало, омахъ, омачатисѧ, омочати, омражатисѧ, омытье, омързовати, омързѣтисѧ, омѣшькати, опалание, опалитисѧ* и мн. др. В новом лексическом материале VI тома обращает на себя внимание прежде всего преобладание мотивированных слов, которые заполняют пустовавшие до сих пор клетки словообразовательных гнезд.

Обширнейший языковой материал (более 30000 слов), собранный авторским коллективом, опирается на рукописные источники, в массе своей впервые вводящиеся в столь масштабное лексикографическое описание. Техника и методика подачи словарных форм авторами тщательно отработаны. Как правило, в словарных статьях выявляется реальная семантическая сложность лексем. Тонкий анализ древнерусской лексики делает Словарь бесценным источником по палеорусистике. В Словаре детально рассматриваются многочисленные словесные формы, устанавливаются переносные и образные значения, выявляются фразеосочетания. Поскольку в VI томе привлечены дополнительные греческие источники, греческие параллели представлены в нем гораздо чаще, чем в I–IV томах, а это су-

щественно раздвигает горизонты исторической лексикологии. Иллюстрации Словаря отличаются таким разнообразием и полнотой, что могут быть использованы не только в исследованиях по лексической семантике, словообразованию и этимологии, но и в работах по исторической грамматике. Материал словарных статей позволяет получить представление о морфологической динамике словоформ некоторых типов в древнерусских рукописных источниках XI–XIV вв. Важную информацию содержит Словарь по проблематике становления глагольной категориальности (видовые и залоговые отношения). Вместе с тем грамматическая информация в Словаре могла бы быть более полной, потому что он опирается на картотеку со сплошной выборкой словоформ.

Не все статьи Словаря можно признать безупречными. Некоторые словарные статьи требуют уточнений. Приведем примеры.

1. В отдельных случаях в Словаре отмечается непоследовательность в определении частеречной природы лексем. В одну словарную статью в СДРЯ объединены слова разных частей речи (см., например, статьи *овѣ, оже, оли* и др.).

2. Лексема *одинъ* характеризуется как слово с числовым значением, а далее у него отмечается в общей сложности пять значений, среди которых есть не связанные со счетно-количественной функцией. Поэтому в этом случае необходимо констатировать либо частеречную транспозицию, либо переносные значения. Сокращение *числ.* расшифровывается в I томе как "слово с числовым значением". Слово *осмь* (числ.) характеризуется в Словаре, таким образом, не как числительное, а как "слово с числовым значением", в то же время слово *осмыи* – просто как прилагательное ("пр."). Налицо противоречие, которое далее усугубляется. Так, в статье *осмыи* количественные сочетания *осмыи на десѣте, полъ осма*, вопреки избранному терминологическому обозначению, определяются именно как составные числительные (как "часть составных числ."). В действительности прочная взаимосвязь количественных и порядковых числительных является внутривидовым фактором, определившим сам морфонологический облик славянских числительных в постиндоевропейскую эпоху (см. [Жолобов 2001]). Поэтому *осмь, осмыи, осмьдѣсятъи, осмьдѣсятъныи* и *осмьстѣтъныи* следовало определить как порядковые числительные, и тогда при отнесении сочетаний *осмыи на десѣте, полъ осма* к составным числительным не возникало бы необъяснимого противоречия.

В статье *осмь* древнерусское составное числительное *осмь на десѣте* (*осмь на десѣа*, *осмь на десѣтъ*) не приводится³, а как составное числительное характеризуется новообразованием (у зубецѣа поло гривнѣ новѣа и ножѣ во шми *нацѣтѣ* ГрБ № 750 н. XIV), которое скорее всего уже является композитом.

3. Страдательные причастия, в отличие от причастий действительного залога, выделены в отдельные статьи, что требует специального пояснения. В некоторых случаях возникает двусмысленная ситуация: в Словаре приводятся статьи со страдательными причастиями, при том что статьи с исходными глагольными коррелятами отсутствуют (ср.: *осмоленыи*, *отъньчаваемъ*, *пережатъ* и др.). Словоформы сравнительной степени прилагательных также даны в отдельных статьях⁴.

4. Словарь издан, и при работе с ним естественно ожидать уточнения к отдельным словарным дефинициям, которые будут учитывать внутреннюю форму лексем. Например, в статье *овощьнии* значение 'осенний', исходя из внутренней формы слова, следовало бы переформулировать как 'относящийся ко времени сбора плодов'⁵. По той же причине толкование слова *перегатити* – 'перекрыть гатью, устроить гать' – следовало бы предпочесть данной в Словаре дефиниции 'перегородить плотиною', а это уже может подразумевать иное понимание летописного сообщения. См.: по сем же Стѣславъ приѣха с Новгородци. и ради быша емоу братьѣа его. и *перегатитиша* Дрють. хотѣче ехати ко Дѣдѣви ЛИ ок. 1425, 218 (1180). Ср. тематически близкий контекст в статье *гать*: а межѣ ими

³ Ср., например: они *осмь на десѣте на наже паде стѣлпѣ* ЕвО 1056–1057, Лк 13, 4. Эта словоформа приводится отдельной статьей в Словаре русского языка XI–XVII вв. (вып. 13), но как композит *осмьнадесѣте*, что является довольно искусственной модернизацией.

⁴ В I томе эти установления редколлегии приводятся, но не комментируются.

⁵ При редакционном обсуждении данной рецензии была также отмечена следующая неточность в словарной статье: при цитировании контекста из ЛЛ 1377, 161 (1237) *положиша*. *Иербѣа ѣако швоцное хранилище* неправильно указан его псалтырный источник – должно быть Пс. 78, 1, а не Пс. 58, 1. К сожалению, это чтение не было приведено непосредственно по древнерусской псалтыри, разновременные списки которой в СДРЯ привлекались лишь ради записей и приписок.

рѣка мѣлка. и повелѣ Всеволодъ чинити *гати*, комуждо своѣму полку. и заоутра переидоша рѣку ЛЛ 1377, 103 об. (1144); ЛИ ок. 1425, 116 об. (1144). Слово *гать* в Словаре семантически отождествляется с однозвучной современной лексемой, которую имело бы смысл пояснить. В общепринятом употреблении *гать* – это 'настил из бревен или хвороста для перехода через топкое место', хотя у Даля отмечаются также значения 'загаченное место', 'насыпь', 'плотина'.

5. В некоторых случаях преувеличены возможности истолкования древнерусской лексики с помощью однокоренных слов современного языка. Так, объясняя древнерусское слово *озарение*, едва ли возможно ограничиться отождествлением его с однозвучной современной лексемой, потому что древнерусское слово имеет иные смысловые акценты: это 'просветление, освещение, сияние'. См.: [Феодор] ѣако нѣкыи шбыщии дарѣ шѣствоу сы. и мракоу належащемоу *шзареине* (δραυία) ЖФСт к. XII, 38–38 об. Древнерусский глагол *пережечи* толкуется как *разжечь*. Этого недостаточно, потому что русское слово многозначно. Древнерусское слово в разных примерах имеет однородную сочетаемость (*пережечи баню*, *истѣбѣку*, *мовницю*), и его следует, вероятно, понимать так: *пережечи* 'истопить, сильно нагреть'. См.: шни же *пережѣгоша* истопку. и *влѣзоша* Дервлане. начаша сѣа мыти ЛЛ 1377, 15 об. (945).

6. В Словаре выделено две статьи: *одежда*, *-ы* и *одежда*, *-ѣ* (-ѣ). Таким образом, предполагается, что здесь представлены два разных типа склонения – твердый и мягкий. Однако генетически это один и тот же тип с основой на *-ja. Поэтому в иллюстрациях первой статьи не оказалось реальных примеров твердого склонения. Напротив, в первом же приведенном в статье контексте находится форма род. п. ед. ч. на *-а* (<-ѣ), а не на *-ы*: не болши ли ти естъ пища дѣша. и тѣло *одеже(д)а* ПНЧ к. XIV, 88а.

7. В статье *онишоловичи* 'жители Заречья в Новгороде' как композит истолковано устойчивое сочетание. Синтаксическая двусложность данной словесной формы доказывается словарными примерами. См.: и оубиша мою(ж) проу(с) а концѣнѣ другиѣ. а *онѣхъ половищъ*. Ивана доушильцевичѣа. бра(т) ма(т)кѣв ЛН XIII₂, 90 об. (1218). Едва ли целесообразно отождествлять это речение с моделью типа *пятисот* (< *пѣти сѣтъ*), *пятистам* (< *пѣти сѣтомъ*), свойственной сложным числительным.

8. В статье *опракость* 'апракос, тип Евангелия или Апостола, в котором чтения расположены в порядке церковных праздников' толкование слова не дает ясного представления о функции названного типа книг и их отличия от двух других разновидностей – четвей и толковой. Известно, что апракос в этом ряду значит "богослужебный"⁶. Поэтому терминообозначение *опракость*, вероятно, следовало бы представить так: 'апракос; предназначенный для богослужения тип Евангелия или Апостола, в котором чтения расположены по неделям и дням церковного календаря'.

⁶ "Слово апракос от греч. ἀπρακτος "недельный" (ср. ссл. недѣля "воскресенье") указывает на то, что этот сборник рассчитан на применение в праздничные и воскресные, т.е. выходные, нерабочие дни. Однако по содержанию сборник шире своего названия, многие чтения предназначены для других праздников или даже будних дней... Поэтому определение "апракос" применительно к Евангелию и Апостолу равнозначно по значению определению "богослужебный" [Алексеев 1999: 13].

Ю.А. Рубинчик. Грамматика современного персидского литературного языка. М.: Издательская фирма "Восточная литература" РАН, 2001. 600 с.

Вышедшая в свет "Грамматика современного персидского литературного языка" представляет собой капитальное монографическое исследование, не имеющее аналогов ни в отечественной, ни в зарубежной иранистике. Ее по праву можно назвать полной грамматикой, в которой с научной глубиной и основательностью рассмотрены все главные черты грамматического строя персидского языка. Монография состоит из трех частей: "Фонетическая и морфологическая структура персидского слова", "Морфология" и "Синтаксис", каждая из которых подразделяется на главы и разделы.

В предисловии автор объясняет, почему он взялся за создание такого большого и кропотливого труда как создание полной грамматики.

Прежде всего это стремление обобщить многочисленные теоретические исследования последних трех-четырёх десятилетий по персидскому языку, выполненные в виде грамматик, монографий, научных статей и диссертаций, а также высказать свою точку зрения на решение многих актуальных проблем изу-

Все несомненные достоинства вышедшего VI тома "Словаря древнерусского языка XI–XIV вв." позволяют заключить, что он является важным достижением исторического языкознания и представляет ценное фактологическое и лексикографическое основание будущих исследований по палеорусистике.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Аванесов Р.И.* 1966 – Словарь древнерусского языка XI–XIV вв. Введение, инструкция, список источников, пробные статьи. М., 1966.
- Аванесов Р.И.* 1973 – К вопросам периодизации истории русского языка // Славянское языкознание. VII МСС: Докл. сов. делегации. М., 1973.
- Алексеев А.А.* 1999 – Текстология славянской Библии. СПб., 1999.
- Жолобов О.Ф.* 2001 – Древнеславянские числительные как часть речи // ВЯ. 2001. № 2.

О.Ф. Жолобов

чения персидского языка. К большим достоинствам "Грамматики" следует отнести то, что объектом ее изучения является современный персидский литературный язык (а в ряде случаев и обиходно-разговорный язык), который в определенной степени отличается от персидского языка классической литературы, описываемого в традиционных иранских грамматиках.

В Первой части автор рассматривает фонетическую и морфологическую структуру персидского слова, интонацию некоторых видов простого предложения, а также вопросы персидской письменности и орфографии. Следует заметить, что проблема персидского правописания активно обсуждается как в специальной литературе, так и в периодической печати, где читатели высказывают свое мнение по поводу орфографических новшеств, появляющихся на страницах изданий. Ю.А. Рубинчик внимательно анализирует случаи некодифицированного правописания, останавливается на спорных и трудных вопросах персидской орфографии, классифицирует

встречающиеся графические расхождения. Интерес к проблемам правописания и многолетнее наблюдение за конкретным языковым материалом вызваны прежде всего тем, что под его руководством был составлен двухтомный Персидско-русский словарь (М., "Советская энциклопедия", 1970 г.), выдержавший впоследствии три издания в нашей стране и ставший авторитетнейшим справочником для каждого ираниста. Уже тогда им были поставлены и решены многие вопросы правописания персидских слов, в ряде случаев отличавшиеся от традиционного написания, что соответственно вело к несколько иному, чем у иранских лексикографов, расположению лексических единиц в корпусе словаря. В качестве примера такого тщательного рассмотрения можно привести небольшой раздел в "Грамматике", посвященный особенностям произношения буквы "эйн" и орфографического знака "хамза" в персидском языке.

Первую часть монографии завершает совершенно новая для персидских грамматик глава, посвященная проблемам морфонологии. В ней устанавливается основной набор фонологических изменений в составе персидских морфем, рассматриваются проблемы морфонологии в связи с формообразованием и словообразованием. Главным среди морфонологических явлений персидского языка автор считает возникновение элентез при образовании морфем, изафетных конструкций, словообразовательных дериватов на стыках морфем как в исходе, так и в начале и внутри слова. Помимо такого широко распространенного явления в персидском языке, как элентезы, в этой главе рассматриваются изменения фонологической структуры слов арабского происхождения в результате прибавления суффикса множественного числа *-at*, альтернатия гласных в составе глагольной приставки *bə-* и частицы отрицания *na-*, а также роль словесного ударения в изменении морфонологической структуры слова.

Вторая и Третья части посвящены рассмотрению традиционных разделов грамматики – морфологии и синтаксису. В морфонологической части дана подробная характеристика всех частей речи, свойственных персидскому языку: существительного, прилагательного, местоимения, имени числительного, глагола, наречия, предлога и т.д. Их подробное описание предвзвешено обсуждением более широкой проблемы выделения именных частей речи, которая неоднозначно решается исследователями персидского языка, поскольку грамматическая принадлежность персидских имен определяется, наряду с формально-грамматическими, также семантическими и функционально-синтаксическими

критериями. В рамках научного решения проблемы выделения частей речи и отграничения одного лексико-грамматического значения от другого можно выделить два основных подхода: или эти слова представляют собой одну многозначную, полифункциональную лексему или мы имеем дело с несколькими разными, омонимичными лексемами. Кроме теоретической ценности, проблема критериев разграничения частей речи имеет и большое практическое значение для лексикографической разработки словарного состава в словарях различных типов, при обучении персидскому языку и составлению учебников и учебных пособий. Ю.А. Рубинчик выступает сторонником целесообразности разделения персидских имен по частям речи, однако оговаривает, что, например, между существительными и прилагательными нет непродоходимой стены и что в персидском языке можно выделить слова, отнесенность которых к той или иной части речи решается в зависимости от выполняемой ими функции в предложении, когда они получают соответствующие грамматические показатели лишь в условиях контекста.

Внимательное прочтение рецензируемой "Грамматики" приводит к пониманию того, что автор раскрывает многие грамматические категории по-новому, а ряд положений разработан им и представлен в монографии впервые. Одним из таких примеров может послужить научное обоснование категории выделенности, выступающее как показатель субстантивности. Хорошо известно, что до настоящего времени в грамматиках, издаваемых в Иране, постпозитивный выделительный артикль именуется как "неопределенный артикль", "артикль единичности", "артикль указательный", "определенный артикль" и т.д. Многофункциональность артикля и соответственно множественность его именованная порождают у изучающих персидский язык представление, что они имеют дело с несколькими грамматическими показателями, в то время как в плане синхронии в современном персидском языке он выполняет лишь одну функцию – выделение предметов и явлений из ряда им подобных.

Термин "выделительный артикль" был введен в научный обиход Ю.А. Рубинчиком более 40 лет назад в связи с изучением сложных предложений с придаточными определительными в современном персидском языке. В развитие этого подхода в "Грамматике" впервые формулируются правила употребления артикля в простом предложении после именных членов, а также после antecedента в сочетании с придаточными определительными.

В Третью часть "Синтаксис" включены три раздела: "Строение словосочетаний и предложений", "Простое предложение и его члены" и "Сложные предложения". До настоящего времени синтаксис оставался наименее изученным разделом грамматики персидского языка и только с появлением рецензируемой монографии она начала приобретать необходимую полноту и системность описания. Особо хочется отметить новую характеристику главных и второстепенных членов простого предложения, отличающуюся от их трактовок в имеющихся грамматиках и сопровождающуюся описанием разнообразия способов их выражения разными частями речи. Подробно также описаны различные фразеологизмы-предложения, впервые рассматриваемые в составе грамматики как один из ее полноправных разделов, а кроме того некоторые пограничные с фразеологией и синтаксисом области, к числу которых можно отнести фразеологизованные синтаксические структуры.

В целом необходимо сказать, что Ю.А. Рубинчик, пожалуй, впервые так полно и глубоко обсуждает вопросы активного влияния фразеологии на формирование грамматического строя персидского языка. В монографии убедительно показано, каким образом осуществляется это влияние на разных языковых уровнях, в частности на уровне частей речи, когда многие фразеологизмы с определенными семантическими и функциональными характеристиками входят в состав частей речи и практически приравниваются к лексическим единицам. Примерами такого проникновения могут служить сложные глаголы, моделированные и немоделированные наречные фразеологизмы и т.д.

Книга прекрасно издана при содействии Посольства Исламской Республики Иран в Российской Федерации. Набор языкового материала выполнен в персидской графике, а транскрипция – в латинице. Полное и систематичное описание практически всех разделов персидской грамматики, четкие определения грамматических категорий позволят в полной мере использовать ее для написания нового поколения учебников и учебных пособий по персидскому языку. Книга написана ясным русским языком, она будет полезна не только преподавателям и аспирантам, но и студентам на всех этапах обучения.

Поражает обилие иллюстративных примеров, подтверждающих каждое положение, выдвигаемое Ю.А. Рубинчиком, они взяты из авторитетных источников, в числе которых произведения современных иранских писателей – признанных мастеров слова.

Необходимо отметить, что многие идеи и трактовки различных грамматических категорий были высказаны Ю.А. Рубинчиком ранее в многочисленных публикациях. "Грамматика" занимает особое место в ряду его монографий, она подводит определенный итог многолетней научной и педагогической деятельности замечательного отечественного ученого-ираниста.

Выход в свет "Граматики современного персидского литературного языка" знаменует собой новый этап в развитии науки о современном персидском языке, создает прочную основу для его дальнейшего изучения.

А.А. Веретенников

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

28–30 мая 2001 г. Лабораторией типологического изучения языков ИЛИ РАН была проведена международная конференция "Категории глагола и структура предложения", посвященная 95-летию со дня рождения выдающегося лингвиста Александра Алексеевича Холодовича и 40-летию Санкт-Петербургской (Ленинградской) типологической школы, основателем которой был А.А. Холодович. Заседания конференции проходили в С.-Петербургском научном центре РАН и на филологическом факультете С.-Петербургского государственного университета.

Конференция позволила собрать вместе исследователей из разных стран (России, Белоруссии, Грузии, Германии, Канады, Польши, США, Финляндии, Франции, Чехии, Эстонии) и вновь привлечь внимание к вопросам, поставленным и разрабатываемым в Санкт-Петербургской типологической школе в течение четырех десятилетий.

На девяти пленарных заседаниях конференции было заслушано более 50 докладов, тематика которых так или иначе соотносилась со следующими проблемами: 1) творческое развитие научных идей А.А. Холодовича (принцип исчисления в типологической классификации, вербоцентрическая концепция предложения, теория диатез), 2) типология глагольных категорий (залог, вид, наклонение, эвиденциальность, таксис), 3) синтаксис сложного предложения.

Конференцию открыл В.С. Храковский (С.-Петербург), рассказавший об основных этапах истории С.-Петербургской типологической школы.

С.Е. Яхонтов (С.-Петербург) в докладе "Служебные слова и морфемы в изолирующих и других языках" сформулировал основные критерии, позволяющие выделить служебные слова и морфемы в языке изолирующего типа. К таким критериям доклад-

чик отнес включенность служебных слов (морфем) в закрытые списки, монофункциональность служебных слов, а также невозможность (или жесткую ограниченность) их замены в предложении. В докладе был сделан ряд наблюдений, существенных для формирования "типологического портрета" изолирующих языков.

В докладе И.А. Мельчука (Монреаль) "Towards a definition of voice and a calculus of voices" были рассмотрены центральные положения теории грамматического залога, у истоков которой стояли А.А. Холодович и И.А. Мельчук, а также приведено исчисление граммем, составляющих содержание категории залога (теоретически возможно 20 граммем, но 8 из них не реализуются).

Ж. Лазар (Париж) в докладе "What is transitive verb?", подчеркнув проблематичность определения понятия "переходный глагол" через обращение к конкретным грамматическим категориям (специфичным для каждого языка), предложил воспользоваться понятием "прототипического действия". Конструкция, служащая для выражения прототипического действия, получает название "основной двухактантной конструкции", являющейся (по определению) переходной в любом языке, а переходный глагол определяется как глагол, функционирующий в составе основной двухактантной конструкции.

В.С. Храковский в докладе "Концепция диатез и залогов (исходные гипотезы – испытание временем)" остановился на основных положениях теории диатез и залогов и обратил внимание на отдельные аспекты этой теории (в частности, проблему трактовки рефлексива и реципрока). Был сделан вывод о том, что ряд гипотез, сформулированных в рамках теории диатез и залогов, оказался жизнеспособен и учитывается современной лингвистикой.

В докладе Е.В. Падучевой (Москва) "Диатеза как параметр, выявляющий си-

темную организацию в лексике" было предложено уточнение понятия диатезы, которая рассматривается как набор семантических ролей участников ситуации с их коммуникативными рангами. Кроме того, в докладе была выдвинута гипотеза о том, что многие существенные аспекты лексической семантики могут быть представлены посредством оперирования глобальными семантическими параметрами, к числу которых принадлежит и диатеза.

В.П. Не дя л о в (С.-Петербург) в докладе "Полисемия реципрокального показателя в тюркских языках" показал, что в тюркских языках реципрокальный показатель выражает четыре значения: реципрокальное, социативное, комитативное, ассистивное, а также ряд менее продуктивных значений. При этом реципрокальное значение выражается во всех языках, а остальные – в различных комбинациях вместе с реципрокальным значением. Докладчик сделал предварительный вывод о том, что "в тюркских языках наблюдается сужение семантического диапазона и/или продуктивности значений реципрокального суффикса в направлении с востока на запад".

Е.Е. К о р д и (С.-Петербург) в докладе "Сложноподчиненные предложения с придаточным временем как ядро категории таксиса во французском языке" рассказала о структуре французских сложноподчиненных предложений с придаточными времени, составляющими ядро категории таксиса во французском языке (типология таксисных конструкций – тема, над которой работают сотрудники Лаборатории типологического изучения языков в настоящее время).

Целый ряд прозвучавших на конференции докладов был посвящен актуальным проблемам лингвистической типологии и грамматической теории.

В докладе А.П. Володина (С.-Петербург) "О некоторых импликациях в грамматической системе" была сделана попытка сформировать ряд имплицитивных утверждений, имеющих статус универсалий. Докладчик обратил внимание на три момента: 1) зависимость между линейной структурой словоформы и наличием/отсутствием в языке категории рода, 2) зависимость между количеством граммем, образующих в данном языке категорию числа, и количеством личных форм в составе полиперсональной парадигмы, 3) зависимость между наличием/отсутствием личной парадигмы в императиве глагола и наличием/отсутствием личной парадигмы в не-императиве.

В докладе В.А. П л у н г я н а (Москва) была рассмотрена группа глагольных значе-

ний, объединенных под условным названием категории "типа объекта", описывающей преобразованием актанта структуры предиката, при которой не столько меняется набор актантов, сколько вводятся дополнительные ограничения на заполнения той или иной актантажной позиции. Было указано на то, что первичным противопоставлением, существенным для данной категории, является противопоставление по переходности: «глагол, являющийся переходным, имеет возможность выразить целый ряд более тонких противопоставлений в рамках категории "тип объекта"».

С.А. Кры л о в (Москва) в докладе "Семантические роли как элемент общей и специальной типологии" затронул вопрос о критериях оптимальной дробности при выделении семантических ролей и при проведении различия между элементарной и обобщенной семантической ролью (гиперролью).

В докладе А.В. Б о н д а р к о (С.-Петербург) "Категории глагола и категориальные ситуации" рассматривалось понятие категориальной ситуации – одно из ключевых понятий в работах петербургской функциональной школы. Под категориальной ситуацией предлагается понимать "базирующуюся на определенной грамматической категории и соответствующем функционально-семантическом поле типовую содержательную структуру, представляющую собой один из аспектов передаваемой высказыванием общей сигнификативной (семантической) ситуации".

Доклад В.Б. К а с е в и ч а (С.-Петербург) "Сирконстанты и определения: синтаксис и семантика" был посвящен сопоставительному анализу сирконстантов и определений. Докладчик обратил внимание на то, что структурная необязательность сирконстантов и определений чаще всего сопровождается семантической "центральностью": эти элементы являются ядром ремы. С другой стороны, важной характеристикой сирконстанта является то, что, несмотря на свою факультативность, сирконстант может компенсировать эллипсис актанта.

Б. К о м р и (Лейпциг) посвятил свой доклад "Recipient person suppletion in the verb *give*: a preliminary typological study" рассмотрению редкого явления в языках мира – супплетивизма по отношению к грамматическому лицу реципиента при глаголе *дать*. Была выдвинута гипотеза о том, что диахронный источник супплетивизма по отношению к грамматическому лицу реципиента при глаголе *дать* надо искать в области дейксиса. Еще один возможный источник такого супплетивизма – вежливость.

Н.В. Перцов (Москва) в докладе "Об альтернативности в грамматическом описании русского глагола" обратил внимание слушателей на тот факт, что многие проблемы, связанные с описанием грамматики русского глагола, могут получать иную, отличную от традиционной интерпретацию. При этом исследователь обычно способен привести аргументы в пользу одной из альтернативных интерпретаций и "вынужден опираться на собственный лингвистический вкус".

В докладе М.А. Кронгауза (Москва) "Сценарий и семантическая структура предложения" было предложено описание семантического взаимодействия префикса и глагола в русском языке, основанное на понятие "сценария" (представляющего собой своего рода "семантический шаблон"). При этом каждому префиксу соответствует организованный в системе набор сценариев. В докладе была выдвинута гипотеза о том, что сценарий имеется не только у префиксов, но и у других единиц языка. Таким образом, семантическое представление фразы представляет собой взаимодействие сценариев.

Я. Панева (Прага) в докладе "Употребление категории времени в некоторых типах сложноподчиненных предложений", обратила внимание на то, что сформулированные ей ранее рекурсивные правила употребления времен в сложноподчиненных предложениях допускают отклонения, обусловленные подходом говорящего к структуре сложного предложения. Правила действуют, если придаточное предложение рассматривается как составная часть косвенной речи. Правила не действуют, если придаточное предложение рассматривается как комментарий говорящего.

Разнообразным теоретическим проблемам языкознания были посвящены следующие доклады:

А. Богуславский, М. Данелевичова (Варшава) "К вопросу о системе эпистемических предикатов с пропозициональной валентностью: 'верить, что' в его взаимоотношениях со 'знать'", В. Ворониц (С.-Петербург) "Towards a phonosemantic typology of RL-multiplicatives", Э. Генчева (Париж) "Interaction of voice and aspect in Slavic languages" Е.Ю. Каланина (Москва) "Выражение предикативных категорий и место связи в структуре именного предложения", С. Кароляк (Краков) "О зависимости между видом глагола и определенностью имени", Ю.П. Князев (Новгород) "Материалы к типологии многозначности: связь неопределенности с отрицательной оценкой", В.И. Подлеская

(Москва) "Глагольная категория переключения референции и ее типологические аналоги", Г.Г. Сильницкий (Смоленск) «К типологическому противопоставлению "экзоцентрических" и "эндоцентрических" языков», Х. Томмолла (Тампере) «О коммуникативной роли "условного" наклонения», Н.Р. Сумбатова (Москва) "Глагольная система и структура предложения".

Целый "блок" докладов был посвящен различным аспектам описания грамматики и семантики русского глагола: И.П. Кульмоя (Тарту) "О некоторых типах взаимодействия видовременных форм глагола с синтаксической структурой предложения в русском языке", Б.Ю. Норман (Минск) "Возвратные глаголы-неологизмы в русском языке и синтаксические предпосылки их образования", Е.В. Рахлина (Москва) "Плыть и плавать: семантика грамматических форм".

В ряде докладов, прозвучавших на конференции, затрагивались вопросы, связанные с трактовкой отдельных языковых явлений в языках различного строя: Н.В. Бартко (Москва) "Английские интеративные RL-глаголы и категория глагольной множественности", М. Лейнонен (Тампере) Syntactic convergence in Komi Zyryan and Northern Russian dialects, Е.С. Маслова (Сан-Франциско) "Перспектив и результаты: об одном случае семантического взаимодействия", И.В. Недялков (С.-Петербург) "Сложные валентностные и залоговые формы в тунгусских языках", А.К. Оглоблин "Преобразование предложения в атрибутивную группу в индонезийском языке", М.К. Сабанева (С.-Петербург) "Центростремительные тенденции в структуре позднелатинского предложения", М.М. Сахокия (Тбилиси) "Энклитические морфемы в диакронии персидского языка: типология личных маркеров", Е.К. Скрябин (Новосибирск) "Мансийский глагол и актуальное членение предложения".

Большое внимание на конференции было уделено проблематике, в русле которой Санкт-Петербургская типологическая школа работает на протяжении последнего десятилетия. Речь идет об изучении таких концептов, как условность, уступительность, таксис, эвиденциальность, реципрок и их реализаций в разноструктурных языках. Этим темам были посвящены следующие доклады:

Б. Вимер (Констанц) "Таксис и коинциденция в зависимых предикациях", С.Ю. Дмитриенко (С.-Петербург) "Формальная структура сложноподчиненных предложений в тайском языке (условность, уступительность, таксис)", И.И. Ибра-

г и м о в (С.-Петербург) "Синтаксис и семантика древнегреческой лексики *hómōs*", С.Г. К р а м а р о в а (С.-Петербург) "Конструкции с предикатным актантом и связующими служебными словами в индонезийском языке", Д.М. Н а с и л о в (Москва) «О корреляции "толкование глагола-залог" (на примере тюркских залогов)», И.А. Н е в с к а я (Новокузнецк), "Взаимодействие категорий эвиденциальности, миративности и опосредованности в шорском языке", Н.М. С п а т а р ь (С.-Петербург) "Кхмерские уступительные конструкции".

Несмотря на исключительно плотный график заседаний, почти все доклады сопро-

вождались дискуссией, которая продемонстрировала актуальность и глубину обсуждавшихся проблем.

В целом можно сказать, что конференция "Категории глагола и структура предложения" показала, что вопросы, изучавшиеся в Санкт-Петербургской типологической школе за 40 лет ее существования, по-прежнему остаются в центре внимания лингвистов, принадлежащих к различным школам и направлениям.

С.Ю. Дмитренко
(Санкт-Петербург)

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ
"ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ" В 2002 г.

С т а т ь и

А л п а т о в В.М. Пятьдесят лет журнала "Вопросы языкознания"	1
Б л а г о в а Г.Ф. О работе В.М. Жирмунского в журнале "Вопросы языкознания" и о его роли в подготовке "Диалектологического атласа тюркских языков"	1
Б о г о л ю б о в М.Н. Ригведа I, 105. Трита в колодеце	2
Б о г о л ю б о в М.Н. Авестийское название падающих звезд	4
Б о г у с л а в с к и й И.М. "Сандхи" в синтаксисе: загадка уже не	5
В е н д и н а Т.И. Словообразование как источник реконструкции языкового сознания ...	4
В и ш н я ц к и й Л.Б. Происхождение языка: современное состояние проблемы (Взгляд археолога)	2
В о л о д а р с к а я Э.Ф. Заимствование как отражение русско-английских контактов ...	4
Г р а щ е н к о в П.В. Родительный падеж при русских числительных: Типологическое решение одной "сугубо внутренней" проблемы	3
Д и т р и х В. Влияние языков американских индейцев на романские языки (II): "Общие языки": ацтекский, кечуа и тупи. Субстрат, адстрат или интерстрат?	2
Д о б р о д о м о в И.Г. Еще раз об исторической памяти в языке	2
З а л е в с к а я А.А. Некоторые проблемы теории понимания текста	3
З а л и з н я к А.А., М а л ы г и н П.Д., Я н и н В.Л. Берестяные грамоты из новгородских и новоторжских раскопок 2001 г.	6
З е л ь д о в и ч Г.М. Семантика и прагматика совершенного вида в русском языке	3
З о л о т о в а Г.А. Категории времени и вида с точки зрения текста	3
И с а е в М.И. Этнолингвистические проблемы в СССР и на постсоветском пространстве	6
И с а ч е н к о Т.А. Новый Завет в переводе иеромонаха Чудова монастыря Елифания (Славинецкого) последней трети XVII в. (Особенности перевода и языка)	4
К а л а ш н и к о в А.А., К у р к и н а Л.В., П е т л е в а И.П. Олег Николаевич Трубочев	3
К о в т у н о в а И.И. Проблема несобственно прямой речи в трудах В.В. Виноградова (Из истории отечественной научной мысли)	1
К о р я к о в Ю.Б. Языковая ситуация в Белоруссии	2
К р ы с и н Л.П. Лексическое заимствование и калькирование в русском языке последних десятилетий	6
К у с т о в а Г.И. О типах производных значений слов с экспериенциальной семантикой	2
Л а п т е в а О.А., Б л а г о в а Г.Ф., М а к о в с к и й М.М., С т р о к о в а Г.В. Как это было	1
Л у к и н О.В. Дискуссии о частях речи и "Вопросы языкознания" в 1950-е годы	1
М а к о в с к и й М.М. Индоевропейский корень: Форма и значение	3
М а к о в с к и й М.М. Семантика языческих культов (Мифопоэтические этюды)	6
Н е в е к л о в с к и й Г. Языковая ситуация на территории распространения южнославянских языков	2
Н ё р г о р - С ё р е н с е н Й. Референциальная функция русских местоимений (в сопоставлении с местоимениями некоторых других славянских языков)	2
Н и к о л а е в а Т.М. "Скрытая память" языка: попытка постановки проблемы	4
П о т а п о в а Р.К. Произносительная вариативность немецкой речи	6
П р о т а с о в а Е.Ю. Язык русской прессы Финляндии	5

Розина Р.И. Категориальный сдвиг актантов в семантической деривации	2
Романенко А.П. Советская словесная культура: отечественная история ее изучения	6
Рудницкая Е.Л. Синтаксический и семантический анализ предложений с опущением глаголов речи в корейском языке	2
Селиверстова О.Н. Когнитивная семантика на фоне общего развития лингвистической науки	6
Степанов Ю.С. Функции и глубинное	5
Строков А.Г.В. История нашей журнальной повседневности	1
Трубачев О.Н. Вместо предисловия	1
Трубачев О.Н. Опыт ЭССЯ: к 30-летию с начала публикации (1974–2003)	4
Урысон Е.В. Союз <i>ХОТЯ</i> сквозь призму семантических примитивов	6
Шаховский В.И., Жур а В.В. Дейксис в сфере эмоциональной речевой деятельности	5

Из истории науки

Благова Г.Ф. История среднеазиатско-тюркских литератур и история литературных языков в трудах А.Н. Самойловича послеоктябрьского периода	5
Бородин М.А. Пространство, территория, зона и ареал как лингвогеографические и ареалогические термины	2
Никитин О.В. Московская диалектологическая комиссия в воспоминаниях Д.Н. Ушакова, Н.Н. Дурново и А.М. Селищева (неизвестные страницы истории московской лингвистической школы)	1
Никитин О.В. Из истории лингвистической науки 1930–1960-х гг. (переписка С.А. Копорского с коллегами)	5
Потапов В.В. Рубен Иванович Аванесов (к 100-летию со дня рождения)	4
Радченко О.А. Понятие языковой картины мира в немецкой философии языка XX века	6
Толстой Н.И. Церковнославянский и русский: их соотношение и симбиоз	1

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Михальченко В.Ю., Крючкова Т.Б. Социолнгвистика в России	5
Потапов В.В. Многоуровневая стратегия в лингвистической гендерологии	1

Рецензии

Алпатов В.М. <i>Н.Б. Вахтин</i> . Языки народов Севера в XX веке. Очерки языкового сдвига	5
Веретенников А.А. <i>Ю.А. Рубинчик</i> . Грамматика современного персидского литературного языка	6
Верещагин Е.М. <i>Г.Н. Скляревская</i> . Словарь православной церковной культуры	4
Гак В.Г. Языки мира. Романские языки	4
Гюльмагомедов А.Г. Языки Дагестана	3
Девкин В.Д. <i>W. Müller</i> . Das Gegenwart-Wörterbuch. Ein Kontrastwörterbuch mit Gebrauchshinweisen	1
Добровольский Д.О. <i>K. Meng</i> . Russlanddeutsche Sprachbiografien	4
Дуличенко А.Д. Sprachen in Europa. Sprachsituation und Sprachpolitik in europäischen Ländern	2
Жолобов О.Ф. Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.): В десяти томах. Т. VI: (<i>овадь – покласти</i>)	6
Зайцева Н.Ю. <i>W.J. Hutchins (Ed)</i> . Early years in machine translation: memoirs and biographies of pioneers	3
Зайцева Н.Ю., Ю.А. Косарев. <i>Р.Г. Пиотровский</i> . Лингвистический автомат и его речемыслительное обоснование и Лингвистический автомат (в исследовании и непрерывном обучении)	2
Зеленин А.В. <i>Л.П. Крысин</i> . Толковый словарь иноязычных слов	1

К а л у ж с к а я И.А. О. <i>Mladenova</i> . Grapes and wine in the Balkans. An ethno-linguistic study	4
К о с т о в К. L. <i>Manuṣṣ, J. Neilands, K. Rudevics</i> . Čigānu-latviešu-angļu un latviešu-čigānu vārdnīca	2
М а к о в с к и й М.М. В.Д. <i>Девкин</i> . Очерки по лексикографии	5
О с и п о в а М.А. Е.А. <i>Земская, М.Я. Гловинская, М.А. Бобрик</i> . Язык русского зарубежья: общие процессы и речевые портреты	5
П е р ц о в Н.В. В.С. <i>Баевский</i> . Лингвистические, математические, семиотические и компьютерные модели в истории и теории литературы	3
С а в е л ь е в а Л.В. <i>Lea Siilin</i> . Отражение графико-орфографических норм церковно-славянского языка русского извода в житийной литературе второй половины XVI века (на материале Жития преподобного Александра Свирского)	3
Ш е с т а к о в а Л.Л. Н.А. <i>Кожевникова, Э.Ю. Петрова</i> . Материалы к словарю метафор и сравнений русской литературы XIX–XX вв. Вып. 1: "Птицы"	1
Ш и л о в А.Л. Русская топонимия в этнолингвистическом аспекте	3
Щ е к а Ю.В. <i>Ch. Schroeder</i> . The Turkish Nominal Phrase in Spoken Discourse	4
Э д е л ь м а н Д.И. И.М. <i>Стеблин-Каменский</i> . Этимологический словарь ваханского языка	1
Я н к о Т.Е. Новый журнал "Русский язык в научном освещении", № 1	3

Научная жизнь

Хроникальные заметки	1, 6
----------------------------	------

Некрологи

<i>In memoriam</i> академика Ференца Папла	2
Панов Михаил Викторович (1920–2001)	4
Шварцкопф Борис Самуилович (1923–2001)	4
Швейцер Александр Давидович (1923–2002)	5

CONTENTS

A.A. Z a l i z n i a k (Moscow), P.D. M a l y g i n (Tver), V.L. Y a n i n (Moscow). Birch codices from Novgorod and Toržok excavations in 2001; O.N. S e l i v e r s t o v a. The role of cognitive semantics in the general development of linguistic science; L.P. K r y s i n (Moscow). Lexical borrowings and calques in the Russian language of the last decades; E.V. U r y s o n (Moscow). The Russian conjunction *XOTЯ* in the light of semantic primitives; M.M. M a k o v s k i j (Moscow). Semiotics of heathen religious cults; R.K. P o t a p o v a (Moscow). Pronunciation variability of German speech; M.I. I s a e v (Moscow). Ethnolinguistic problems in the USSR and in post-Soviet Russia; A.N. R o m a n e n k o (Saratov). Soviet speech usage: history of its study in the USSR; **From the history of science:** O.A. R a d č e n k o (Moscow). The notion "image of the world" in German language philosophy of the XX century; **Reviews:** O.F. Ž o l o b o v (Kazan). Dictionary of the Old Russian language (XI–XIV centuries). Vol. IV; A.A. V e r e t e n n i k o v (Moscow). *Ju.A. Rubinčik*. Grammar of contemporary Persian literary language; **Chronicle features. Index of articles published in "Voprosy Jazykoznanija" in 2002.**

Технический редактор *О.Н. Никитина*

Сдано в набор 29.08.2002	Подписано к печати 21.10.2002	Формат бумаги 70 × 100 ¹ / ₁₆		
Офсетная печать	Усл.печ.л. 14,3	Усл.кр.-отт. 21,1 тыс.	Уч.-изд.л. 17,1	Бум.л. 5,5
Тираж 1466 экз. Зак. 6731				

Свидетельство о регистрации № 0110167 от 4 февраля 1993 г.
в Министерстве печати и информации Российской Федерации

Учредители: Российская академия наук, Отделение литературы и языка РАН

Адрес издателя: 117997, Москва, Профсоюзная ул., 90
Адрес редакции: 121019 Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка.
Телефон 201-25-16

Отпечатано в ППП "Типография "Наука", 121099, Москва, Шубинский пер., 6